

**ЗЛЫЕ ПЕСНИ ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ**

---

**ЯХАРОН**

---

**ЗЛЫЕ ПЕСНИ**

---

**ГИЙОМА**

---

**ДЮ ВЕНТРЕ**

---



---

**ВРЕМЯ И СУДЬБЫ**  
МОСКВА «КНИГА»

---



*G. du-Yintrais*



---

---

**Я. ХАРОН**

**ЗЛЫЕ ПЕСНИ**

**ГИЙОМА**

**ДЮ ВЕНТРЕ**

---

Прозаический

комментарий

к поэтической

биографии

---

---

**ББК 84Р7**  
**X 21**

*Я воспевал минувшие года,  
Теперь ловлю их отголоски жадно.  
От старых песен — пусть я пел нескладно —  
Вскипают слезы, новые всегда...*  
Луис Камонс

На фронтисписе в центре —  
Гийом дю Вентре,  
рядом — Юрий Николаевич Вейнерт,  
внизу — Яков Евгеньевич Харон

Разработка серийного оформления  
А. Т. Троянкера, Г. М. Грозной, Е. А. Родионовой

X 4702010000-059 Без объявл.  
002(01)-89

ISBN 5-212-00226-5

© Издательство «Книга», 1989

---

---

## ТРЕТЬЯ БИОГРАФИЯ

---

### ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ

---

---

Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?

Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пусть вам кварту крови четвертой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.

Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения — это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.

Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, патентом, справкой о реабилитации.

Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин“» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «ф» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удущья, перехватившего вздох легких.

Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути. Но, поскольку история, о которой я хочу вам поведать, не имеет прямого, логического, однолинейного измерения, начну с третьего конца.

Когда-нибудь, ну, не при нашей с вами жизни, несмотря на ее пробуждающий надежду поворот, при жизни наших внуков и правнуков человечество преодолеет распри и в новом, удивительном единстве своем захочет заново прочесть историю, избрав в качестве оглавления не хронологическую цепь войн и монархов, катаклизмов и классовых битв, а последовательную, никогда не прерывавшуюся череду вершин — деяний человеческого духа, которая одна только и способна привести человечество к осознанию себя как единства. И построит это будущее человечество музеем, в который со всех концов земли, из всех стран и континентов, будут привозить детей. Здесь, в залах этого музея, человечество выставит самые памятные, самые гордые свидетельства того, как вопреки всем мерзостям зла и вражды, сытой тупости и голодного отупения, сквозь все ночи мира светил людям бережно сохраняемый огонь добра, братства и творческой воли. Тут будут чертежи ракеты Кибальчича и нотные листы глухого Бетховена, сложенные крестом палочки, которые протянул английский солдат горящей на костре Жанне д'Арк, и записка Ленина, его охранная грамота Мартову, бегущему из России. В разделе рукописей, между дневниками Анны Франк и обгорелыми листами «Мастера и Маргариты», будет лежать небольшая, отпечатанная на розовой синьке книжка «Злые песни Гильома дю Вентре».

«Сбившись с поэтического тона», должен признать, что задача у меня как у автора предисловия нелегкая. Мне необходимо очертить перед вами, читатель, четыре биографии трех авторов этой книги. И поскольку, как уже сказано, я и сам причастен к некоторым событиям этих биографий и потому едва ли смогу удержаться от лирических отступлений, хочу сначала сухой протокольной прозой изложить здесь несколько необходимых фактов, прежде чем они вновь взвихрятся и сольются в то неразрывное единство, которое представляет собой открытая вами книга.

Яков Евгеньевич Харон, чье имя стоит на книге, — известный советский звукооператор, начинавший работу в кино фильмами «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». Он автор «Прозаического комментария» (так сам Харон назвал свою автобиографическую прозу) к пяти поэтическим тетрадям, принадлежащим перу Гийома дю Вентре — поэта, которого не было. Этого поэта придумали два молодых человека, сидя в лагере под названием «Свободное» на трассе нынешнего БАМа. Один из них — Харон, второй — Юрий Николаевич Вейнерт — потомственный интеллигент, профессию которого назвать довольно трудно, ибо академий он не кончал и главные свои знания и умения приобрел в ссылках и лагерях, где с небольшими переры-

вами провел свою жизнь с шестнадцати лет до трагического дня 1951 года, когда его не стало.

Таковы три автора.

Теперь о биографиях.

Жизнь Харона в какой-то мере станет вам известна из его собственного повествования, написанного по настоянию друзей и близких в 1965 году. Тогда все мы считали, что оно может быть и будет опубликовано. Мне только придется кое в чем его дополнить и расшифровать.

О жизни Юрия Вейнерта вы узнаете частично от Харона, а отчасти из воспоминаний его матери — Ядвиги Адольфовны Вейнерт, которые мы поместили в приложение.

Остаются биографии Гийома дю Вентре. Пока их две.

«...Вот она, — писал об одной из них Харон, — заветная коробка из-под какой-то подписной книжки — хранилище полулистков, перепечатанных в самом конце сорок седьмого. Мы были не только суеверны, но и предусмотрительны. Поэтому мы «уточнили» дату рождения дю Вентре, далеко не достоверную, — 1553; мы надеялись приурочить издание к четырехсотлетию. В какой-то мере — с поправкой на эти четыреста лет — мы, сами того не подозревая, оказались пророками: уж *раньше* пятьдесят третьего эта публикация никак не могла состояться. Но в пятьдесят третьем Юрки уже не было, да и я распрощался со всеми надеждами давным-давно, еще в сорок восьмом... Это — единственная наша с Юркой совместная проза, и уж по одному этому я ее обязан сохранить в неприкосновенности. Писалась она уже под конец, когда чувство исполненного долга наполняло нас радостью, и была это уже не работа, а веселая игра — мы резвились и валяли дурака, давали волю своей фантазии и хохотали, представляя себе возмущение ученых мужей — наших будущих читателей — «непростительными прегрешениями» против истории, лингвистики, стилистики и прочая, каковы прегрешения непременно ими будут обнаружены... Тем лучше!» \*

Эту первую биографию дю Вентре, которую сочинили ему авторы, мы тоже печатаем в приложении к книге, и она полностью принадлежит, с одной стороны, шестнадцатому веку, а с другой — весьма сомнительной вульгарной традиции отечественного литературоведения, которую авторы в ней пародируют весьма искусно. И если не знать, что такого поэта вообще не существовало в природе, можно вполне принять его жизнеописание за старомодный, но добросовестный экскурс в историю Франции и ее литературы.

Со времени предполагаемого четырехсотлетия дю Вентре прошло уже немало лет, но оно так и осталось неотпразднованным. Даже имя героя стали писать иначе: не Гильом, как это было в сорок седьмом, а Гийом, как это принято теперь, сорок с лишним лет спустя, а за пределами узкого круга поклонников его имя

---

\* Из черновиков. Архив семьи Харона (далее — АСХ).



по-прежнему неизвестно, да и сам круг стал за эти годы не шире, а уже: выбывали по возрасту те, кто слышал первые советы Гийома в «Свободном», в Москве, в Воркуте, в Ленинграде, — свидетели и участники другой биографии дю Вентре, той, которая началась в 1943 году, когда, разлив в кокили жидкий чугу́н из рога́ча и опустившись без сил на пол литейного цеха, построенного за месяц в заводе-лагере, двадцатидевятилетний Юрий Вейнерг сказал своему напарнику и ровеснику Якову Харону, глядя на льющийся чугу́н и красноватую окалину:

— Вот так Вулкан ковал оружие богу...

— Персей Пегаса собирал в дорогу, — отозвался Харон, от усталости с трудом ворочая языком.

Это начало второй биографии дю Вентре. Впрочем, ее можно назвать биографией сонетов, и продолжалась она до того дня, когда из печати вышел первый сигнальный экземпляр книги, которую вы держите в руках. Много лет назад, когда эта книга была еще скромной рукописью, в ней были такие строки:

«...теперь я познакомлю вас с самими сонетами — тетрадь за тетрадью, этап за этапом. Грешен: я тут малость подправлял, переставлял, шлифовал (всё хотелось — как лучше... Стало ли лучше, или я только напортил — не мне судить), кое-что отбросил, забраковав бесповоротно, а кое-что из прежде нами недоделанного доработал, «доведя до кондиции», — как мне кажется. По правилам этикета времен дю Вентре мне следовало бы тут заявить, что все хорошее, талантливое, яркое в этих стихах — от Юрки, а все грехи и промахи — на моей совести. Но Юрка, я знаю, мне этого не позволил бы и никогда не простил. Я вам потом еще подробно расскажу, как мы с ним работали (помните ответ Ильфа и Петрова?..), и вы меня поймете. Поскольку же и сейчас Юрка неизменно присутствует рядом со мной — это касается, впрочем, не только сонетов, но и всего остального в моей жизни и работе: он — моя совесть, — я смело выдаю вам эти 1400 зарифмованных строчек как итог нашего совместного с ним труда.

В антрактах между тетрадями я буду развлекать (или раздражать) вас прозаическим комментарием. Его можно и не читать: сонеты дю Вентре в нем не нуждаются, да и Юрка не давал мне никаких полномочий на подобные откровения... Тут уж я один несу ответственность» \*.

\* \* \*

На этом можно было бы поставить не три звездочки, а точку и дать читателю самому разобраться в литературных и исторических хитросплетениях этой книги. Потому что я лично уверен: дочитает он книгу до конца и все поймет сам — надо больше доверять читателю, тем более что Козьму Пруткову он читал, о

---

\* Из черновиков (АСХ).

театре Клары Гасуль тоже слышал, а если ничего не знает про Черубину де Габриак, то и беда невелика — в ликбез это не входит. Но берешь в руки прекрасные издания сочинений директора Пробринной палаты и видишь, что в каждом какой-нибудь почтенный ученый муж непременно излагает в предисловии, в послесловии ли историю того, как веселились в достославное время Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы. Равно как про Клару Гасуль обязательно сообщат, что настоящее ее имя вовсе Проспер Мериме. Даже про Черубину в литэнциклопедии дотошный читатель прочесть может, что появлением своим обязана она свободной фантазии Максимилиана Волошина. И непременно будет там написано, как от избытка сил, литературно-го веселья и мастерства рождались на свет литературные мистификации — плоды свободных занятий свободного ума в свободное время. И, следовательно, ничего особенного нет ни в Гийоме дю Вентре, ни в его сонетах. Просто еще один литературный факт.

Тут-то и явится тебе мысль странная, даже не мысль, а так, фантазия или страшный сон. А взять бы этих свободных фантазеров и посадить в лагерь или шарашку какую-нибудь. И после шестнадцатичасового рабочего дня дать им возможность сочинять веселые афоризмы, пьесы или стихи?!

«Такой эксперимент некорректен», — скажет ученый муж из тех, кому положено писать предисловия, отвечать за странные мысли или являться нам в страшных снах.

И ведь прав он, прав. Но что поделать, если жизнь время от времени сама ставит сей некорректный эксперимент, и не в страшном сне, а на самом что ни на есть яву. Помните, где писал «Дон Кихота» Сервантес? «Что делать?» — Чернышевский? Эксперимент, побочным результатом которого явился на свет Гийом дю Вентре, был поставлен в нашем отечестве с большим размахом и занял более полутора десятилетий. С различными подробностями его проведения вам не раз придется столкнуться на страницах этой книги. Поэтому не знаю, как там было бы с Алексеем Толстым или Проспером Мериме, а насчет дю Вентре позволю себе сделать один предварительный вывод: свободная фантазия свободного ума, видимо, может осуществить себя в стихах и в прозе даже в Свободном. Как я уже говорил, именно так назывался завод-лагерь — место рождения Гийома дю Вентре и его стихов.

Чтоб в рай попасть мне — множество помех:  
Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,  
Любовь к тебе и самый тяжкий грех —  
Неутолимая любовь к свободе.

\* \* \*

Яков Евгеньевич Харон родился в 1914 году в Москве в семье служащего. Родители его вскоре разошлись, и мама пошла работать машинисткой в советское торгпредство в городе Берлине — в те времена, как мы видим, посылка советских граждан за границу была еще не столь ритуальна, как в более поздние годы, и даже разведенная женщина с ребенком и незалеженным пятым пунктом могла уехать туда на работу в советское учреждение.

Там, в Берлине, в гимназии Харон выучил немецкий язык, которым до конца дней владел как русским, вступил в пионеры. Там в консерватории он встретил первую любовь, о чем вы прочтете в его книге, там же его осенила и любовь на всю жизнь, о чем вы тоже, вероятно, сумеете догадаться, но, коль скоро это не имеет отношения к главной теме книги, Харон говорит об этом вскользь, и я позволю себе его дополнить, ссылаясь на классиков.

Итак, 1926 год. Встреча Харона и его вечной и верной любви. Берлин. Кинотеатр, где идет премьера советского фильма «Броненосец „Потемкин“». Правда, Лион Фейхтвангер, описавший это событие в романе «Успех», больше интересовался тогда баварским министром, а не еврейским мальчиком из советского торгпредства, — но в данном случае это значения не имеет.

«...Приговоренный к смерти корабль начинает подавать сигналы. Поднимаются, опускаются, веют в воздухе маленькие пестрые флажки. «Орлов» (так в романе назван «Потемкин». — А. С.) сигнализирует: «Не стреляйте, братья!» Медленно плывет по направлению к своим преследователям, сигнализируя: «Не стреляйте!» Слышно, как тяжело дышат люди перед экраном. Напряженное ожидание почти нестерпимо. «Не стреляйте!» — надеются, молят, жаждут всей силой своей души восьмьсот зрителей берлинского кинотеатра. Неужели министр Кленк — кроткий миролюбивый человек? Вряд ли оно так. Он здорово посмеялся бы, узнав, что о нем можно даже предположить что-либо подобное. Он грубый, дикий, воинственный человек, не склонный к нежности. О чем же думает он, в то время как мятежный корабль плывет навстречу заряженным пушечным дулам? И он тоже всей силой своего бурного сердца жаждет: „Не стреляйте!“»

А вот как вспоминает об этом историческом эпизоде старший преподаватель ВГИКа Яков Харон в письме, адресованном своей аспирантке: «...фильм Эйзена \* был в Германии разрешен без демонстрации, а музыка Майзеля, специально к нему сочиненная, была запрещена! Если не верите мне, прочтите об этом «историческом курьезе» у столь любимого вами Линдгрена на стр. 145 его книги «Искусство кино»...

...Штука-то вся в том, что «тапер» был немец. И если всякие там восстания по поводу червивого мяса («У нас такое не-

---

\* Так называет Харон Сергея Михайловича Эйзенштейна.

возможно!») в далеком 1905 году, в еще более далекой России с ее медвежьими шкурами и нравами и т. д. не вызывали особых опасений со стороны немецких цензоров, то уж музыка Майзеля, опиравшаяся на немецкую традицию и на столь живые еще в памяти зрителей 1926 года революционно-песенные мотивы и ритмы, только что — в 1923 году — расстрелянные в упор во время подавления памятного Гамбургского восстания, — эта музыка была отнюдь не такой уж безопасной, особенно в сочетании с фильмом «Потемкин». И об этом именно сочетании, о звукозрительной ударной силе фильма уже впрямую пишет Эйзенштейн с присутствием ему «без ложной скромности».

Вот так-то, голубушка. Рассказываю вам об этом не как теоретизирующий «старший преподаватель», а просто как очевидец — я ведь был на той знаменательной берлинской премьере «Потемкина». А Линдгрэн не был; ему вы верите, а мне — нет. Почему?»

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, именно с этого дня любовь к советскому кинематографу, личная пристрастность его к судьбе, гордость за его вершины и ответственность за его ошибки стали доминантой в жизни Харона. Помните, у Тютчева: «и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертье пил». Это насчет того, кто посетил сей мир в его роковые минуты. Не проходит даром. Пригубить напиток высочайшего искусства в минуты его высшего признания — это не прошло для Харона даром, и я тотчас вернусь к этой теме, если вы позволите мне нарушить ход рассказа одним небольшим лирическим отступлением.

Пятнадцать лет назад, поменяв незадолго до того литературную ниву на кинематографическую, я пришел к Харону за благословением. Я хотел написать сценарий о Гийоме дю Вентре. Харон сидел на постели с заложенными за спину подушками, на удивление небритый — это помню отчетливо, потому что до того вообще никогда не видел его небритым, а «после» не было — через несколько дней его не стало. Время от времени его душил кашель. Полученный в лагере туберкулез успешно побеждал наше всеобщее бесплатное медицинское. Яков Евгеньевич никак не склонен был всерьез разговаривать на тему о Гийоме — как и все уже сделанное, это его мало интересовало.

— Если ты считаешь, что это еще кому-то интересно — бог поможь, — пользуй, — вот, пожалуй, и все, чем он позволил себе прервать прочитанную мне в ту последнюю нашу встречу лекцию. Лекция, которую читал Харон, знавший свою судьбу и спокойно к ней готовый, была о способах предупреждения зачатия с привлечением японских гороскопов, немецких научных выкладок, биологии парнокопытных и ссылок на персонально им, Хароном, изобретенную систему подсчетов, позволяющую математически точно предсказать пол будущего младенца, чем на моей памяти с неизменным успехом пользовались многочисленные потенциальные мамы киностудии «Мосфильм» и ВГИКа. Кстати, Харон не был бы Хароном, если, изобретя этот perso-

нальный компьютер, не попробовал бы применить его к чему-нибудь классическому. Он, например, утверждал, что, согласно его не дающей сбой системе, у героев Льва Николаевича Толстого дети рождались в точном соответствии с генетическим кодом родителей, а у персонажей Ивана Сергеевича Тургенева всякий раз там, где должно было родиться дитю определенного пола, все наврано, и дите рождается, вопреки логике жизни, пола противоположного. Хотя мне и тогда, и позже теория представлялась жизненно важной, запомнил я ее плохо и так и не научился применять. Не то чтобы я его плохо слушал, скорее — плохо слышал, я ведь знал, что он умирает.

Харон всегда иронизировал над теми, кто считал его неисправимым оптимистом. Я был и остался одним из них. Все дело в том, что оптимизм Харона не был свойством его ума, оптимизм был скорее присущ всему его существу, его способу жить, какими бы малоприятными гранями жизнь к Харону ни оборачивалась. Мне больше не довелось встретиться в жизни с человеком, который восемнадцать лет тюрьмы, лагеря, ссылки считал бы затянувшейся нелетной погодой и сетовал на то, что эти годы можно было употребить с большей пользой для дела. Да, да, и карусельный станок, и Гийом дю Вентре, и все прочее, сделанное в этих условиях и вполне достойное именоваться чудом человеческой, почти — а собственно, почему «почти»? — воистину возрожденческой отдачи, он считал отлучением от той — самой главной — своей любви, отлучением от звукового кинематографа. Жизнь дважды испытывала его профкомпетентность, и оба раза он выдержал это испытание. В сорок седьмом, вернувшись после первых 10 лет, он вошел в свой звуковой кинематограф, как входит в родной дом человек, вышедший на полчаса прогуляться, — ему было в нем все ведомо и профессионально подвластно. Вернувшись второй раз еще через восемь лет (на свободе он не провел и года), он снова оказался профессионалом первой руки, способным и к совершенствованию своего дела (о чем говорит медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи), и к передаче своего опыта — лекции во ВГИКе, беседы о звуке на 4-й программе ТВ и прочая, и прочая.

Что это — застой в теории и практике звукооператорской профессии или счастлирое умение не отстать от времени? Или, может быть, это, вопреки всякой технике, вневременное свойство человека искусства оставаться им, если искусство это ты носишь в самом себе? И в этом смысле строки дю Вентре, напоминающие шумовую композицию:

Ночь. Тишина. Бой башенных часов...  
Их ржавый стон так нетерпимо резок:  
В нем слышен труб нетерпеливый зов  
И злобный лязг железа о железо, —

это не только стихи, но еще и упражнения пианиста, лишенного рояля, — дробь пальцами по лагерной доске, профессиональная тренировка звукооператора? Или просто доказательство не-

возможности сломить человеческий дух ничем, кроме прямого убийства?

Так вот, благословение Харона я получил, но ни сценария, ни пьесы не написал. Л ведь все было так хорошо придумано: два ироничных циника изобретают себе поэта, а поэт — порождение их фантазии — вдруг оказывается романтиком, выдавая тем самым потаенную возвышенность их душ. Само по себе это было и драматично, и парадоксально. Но сколько я ни думал, сколько ни рассказывал «замысел» друзьям в надежде с ходу, импровизационно вскочить в ускользящий от меня поезд решения, — не мог преодолеть одной родовой особенности этой истории: она должна была происходить в лагере — и нигде больше.

А лагерь — это было нельзя и в том семьдесят третьем, и вплоть до недавнего времени. Все мыслимые ситуации, доступные моему воображению, я перебрал — все, кроме лагеря, было вранье, история переставала «работать».

Что за проклятье такое этот архипелаг Гулаг — нерасторжимая часть душевной смуты и моего поколения, и поколения моих сыновей — грозный фантом генной нашей памяти?

Человеку, чтобы изжить свой страх, необходимо сначала решиться и назвать его. Может быть, это характерно и для человечества? И в конце 50-х вместе с поднявшимся из небытия архипелагом потому и возникла «лагерная литература»? В моем представлении это понятие имеет никак не меньшее право на существование, чем «деревенская проза» или «городской фольклор». Она начиналась для нас, читателей, с «Одного дня Ивана Денисовича» и стихов Заболоцкого «Где-то в поле возле Магадана», она была предуготовлена песнями про Ванинский порт и про то, как мы бежали по тундре, по широкой дороге... Она, наконец, уже не для всех, но все же в те времена для многих, продолжалась «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург и рассказами Варлама Шалимова, написанными тогда же, но не напечатанными нигде кроме Самиздата и только сейчас приходящими к читателю через журнальные публикации. Когда зарождавшемуся потоку была поставлена официальная плотина, он ушел под землю и, поддерживаемый неутоленной болью читательской совести и беззаветной смелостью безмянанных машинисток, бурлил в укрожных ящиках письменных столов. В него вливались новые и новые ручьи, и, в конце концов, стоило времени открыться шлозы, он снова выплеснулся на поверхность в наши дни. Однако ни в первую оттепель, ни нынче поток этот внутренне не был един. Наряду с названными мною появлялись и другие книги, тоже свидетельства очевидцев, кем лагерь был воспринят или, по крайней мере, описан не как всечеловеческое общенациональное бедствие, а как некое специфическое испытание партийной совести и партийной нравственности, побуждавшее героев (не только в смысле героев книг, но и в прямом, словарном смысле этого слова) совершать там, в лагере, поступки с особым значением. Я не имею права быть кому бы то ни было судьей. В конце концов, абсолютное большин-

ство книг о лагере написано людьми, там побывавшими, и дело их взгляда, и дело их совести писать о том, что они пережили там, как они считают нужным. «Так наз. лагерная тема, — пишет Варлам Шаламов, — это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, и пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно». Просто в повседневной жизни мне доводилось видеть, что, как только нравственность и совесть начинают подразделяться по ведомствам, это приводит ко лжи, к безнравственности и бессовестности. И едва ли лагерный опыт, сколь бы ни был он отличен от нашего повседневного, может изменить эту закономерность. Поэтому мне кажется важным в этом очевидном и, видимо, принципиальном разногласии прояснить позицию Харона.

«...Ну разве не жаль будет, если из обширной уже мемуарной литературы, и так и этак освещающей те безвозвратные времена, — цитирую это письмо Якова Евгеньевича, и меня так и подмывает (это уже в наши-то дни!) вставить перед «безвозвратными временами» хотя бы сдерживающее «надеюсь», но хароновский оптимизм бескомпромиссен, — ты только и усвоишь, будто делились мы там на «работяг» и «придурков», на «настоящих стойких» (вся настоящесть и стойкость которых предположительно в том и заключалась, что они «ничего не подписывали») и на «сломившихся ненастоящих» (поскольку они, сукины дети, что-то там подписывали), или еще: что были там «урки», «блатные» — такие бяки, свалившиеся с Марса или засланные к нам с не открытых еще островов Юмби-Тумби, — словом, не нашего роду-племени, не нашей отчизной рожденные, вскормленные и воспитанные... И будто стойкие занимались изнурительным трудом — принципиально! — и никаким другим, недоедали, недосыпали, не играли, не сквернословили, не выпивали, не воровали, не роняли ни при каких обстоятельствах своей настоящесть, так что даже трудно поверить, что у них не отросли ангельские крылышки. И что они, как и подобает святым, ну ни капельки не причастны к тому, что с ними — и не с ними одними — приключилось, равно как не причастны они к появлению на свет божий блатарей и прочих исчадий ада...

...Дело, конечно, не в урках, не в стойкости, не в «подписанье», хотя и об этом я мог бы спеть тебе арию. Хочешь, я тебе сразу все выложу, зайду с козырей? Изволь. Юрке было что подписывать — он ничего не подписал. Мне было нечего подписывать — я подписывал всё что угодно. Там мы оба начинали на общих — я тебе как-нибудь расскажу, с чем это едят, — а потом оба были придурками — да еще какими! — но только одно я могу пожелать моему сыну: пусть он хоть к концу своей жизни научится так вкалывать, как нам довелось; но только избави его Аллах от доставшихся нам мозолей, ожогов, ссадин и кровоподтеков» \*.

---

\* Письма (АСХ).

В возражение Харону, объективности ради, процитирую еще раз Шаламова, его опубликованные в «Новом мире» фрагменты «О прозе». «Автор «КР» (Колымских рассказов) считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

Где же среди этих координат сама книга Харона, его лагерь, его опыт, такой, каким он его помнил и написал? Собственно, ради этого и затеян весь разговор о лагерной литературе. И это не праздный вопрос: когда время позволило извлечь хароновскую рукопись вместе со стихами из-под спуда, я показал ее нескольким очень уважаемым мною редакторам литературных журналов. Но они отказались от такой публикации. Я был удивлен и разочарован их незаинтересованной сдержанностью. И только рассмотрев это их решение в оси названных мною координат, я, кажется, понял: хотя рукопись «Злых песен» несомненно принадлежала к общечеловеческому, а не ведомственному руслу лагерной литературы, она имела слишком необычный, нерастворимый цвет. Рядом с теми же «Колымскими рассказами» Шаламова лагерь, через призму хароновской памяти, может показаться забавным, нестрашным и уж по меньшей мере кощунственно легкомысленным.

Если не знать, что любимым литературным героем Харона был Иосиф Швейк, если не прислушаться к его предупреждению, что сходство свое с бравым героем Гашека он объяснял «...сходством если не самих наших приключений, то уж характера нашего восприятия таковых... Отличительная черта подобного восприятия — непреоборимая потребность обобщать, стремление уйти от угрозы уникальности, избежать исключительности, беспрецедентности постигшей тебя, пусть даже редкостной, неприятности или хоть смертельной опасности...» \* Или уже в тексте самой книги не обратить внимания на такое признание: «От трагического до смешного, как известно, — один шаг, и я, кажется, так устроен, что делаю этот шаг с особой радостью, хотя бы самому мне и пришлось быть объектом осмеяния — какая разница?!» — то можно и вправду подумать, что либо лагерная ноша, доставшаяся Харону, оказалась легче прочих, либо наружная легкомысленность его манеры изложения свидетельствует о недостаточной серьезности самого автора.

Мы вообще если уж беремся вскрывать темные стороны жизни, то непременно с помощью тяжелых предметов вроде булыжника или метательных орудий типа гаубицы; вы не замечали, как тяжелеют басни Лафонтена в крыловских переложениях? «Печаль моя светла» — на это во всей русской литературе отвалился только Пушкин.

---

\* Из черновиков (АСХ).



Вот и уважаемым редакторам не хватило, как мне кажется, этой, всю, целиком, жизнь принимающей мудрости. И еще — отчасти — чувства юмора. Да и стихи дю Вентре им, видимо, хотелось бы видеть вооруженными не только французской легкомысленностью, но и серьезными социальными аллюзиями... Впрочем, о стихах чуть позже. А пока, чтобы вы могли оценить всю бестрепетность хароновского юмора, могу добавить, что официальное заявление свое о приеме в Союз композиторов Харон назвал «Челобитная для пишущей машинки соло», назвать иначе не захотел и в Союз композиторов принят, разумеется, не был.

Яков Евгеньевич Харон и Юрий Николаевич Вейнерт — настоящие российские интеллигенты. Нет этому слову никакого разумного объяснения в словарях, где интеллигентность пожизненно связана с умственным трудом, а тем самым (утверждается или подразумевается) — с высшим образованием и им же и стреножена по рукам и ногам. Коль скоро ни у того, ни у другого этого вожделенного законченного высшего не было и в интеллигентности им словарь отказывает, я вынужден сделать попытку предложить здесь свою, не словарную формулировку этого понятия, ну, скажем, как рабочую гипотезу.

Интеллигент — это человек, чей гуманизм (т. е. уважение к инакомыслию, инакочувствию и инакожитию) шире, чем его собственные убеждения.

Вот это качество, как мне представляется, и составляет первооснову мировоззрения авторов дю Вентре и «прозаического комментария» к «Злым песням». Отсюда и могущее показаться примиренческим их отношение к уркам, к лагерному начальству, к придуркам и прочим радостям лагерного существования.

И еще одно. Когда-то глубоко мною почитаемый поэт Борис Слуцкий, говоря о первых ласточках лагерной литературы, сказал: «Это пока только литература барабанной шкуры. Настанет день — появится и литература барабанных палочек». Мне очень нравилось это изречение, оно казалось мне пророческим. Но вот прошли годы, а литература тех, кто бил или хоть кем били, не появляется, множится лишь все та же часть, написанная людьми, на чьих шкурах выбивали барабанную дробь. И я начинаю сомневаться в пророчестве Слуцкого. Все-таки если мир или какая-то его часть разделены лагерной колючей проволокой или тюремной решеткой, то, видимо, талант обречен быть среди попираемых, среди поднадзорных, среди битых. И нет ему места среди тех, кто вольно или невольно становится попирающим, охраняющим, бьющим. Заключение — талантливее тюремщиков, и в этом трагедия и тех и других и всего времени, которое попустительствовало такому разделению людей.

\* \* \*

В 1932 году Харон возвратился в Москву. Перефразируя Маяковского, можно сказать: идти или не идти — такого вопро-

са для него не было. Он пришел на Потылиху, куда в те времена еще не доходил трамвай и в непогоду надо было месить пешком грязь от самого моста Окружной дороги. В первой шумовой бригаде будущего «Мосфильма» он встретил двух приятелей, о которых с любовью вспоминает на страницах книги: Женьку — Евгения Ивановича Кашкевича — впоследствии, как и сам Харон, одного из лучших звукооператоров «Мосфильма» и Боба — Бориса Савельевича Ласкина — будущего известного юмориста, сценариста «Карнавальная ночь». Кстати, упомянутая Хароном «сестренка системы Женя» — двоюродная сестра Бориса — моя мама. Теперь читатель, надеюсь, простит мне изобилие лирических отступлений: я ведь был знаком с Хароном задолго до собственного рождения. И потому да простится мне вольное рассуждение об этом странном поколении, поколении моих родителей.

Причем особенно привлекает меня одно его уникальное, ныне почти вытравленное качество, которому мы с вами обязаны многим, в том числе и появлением на свет Гийома дю Вентре. Харон в одном из писем так определил интересующее меня свойство: «...удивляться хоть какой эрудированности не полагалось: это свидетельствовало бы о собственном невежестве, а в те годы невежество считалось еще предосудительным». Жажда знать и умение учиться — вот главные приметы тех, кто родился между 10 и 17 годами двадцатого века. Я кинорежиссер, а не обществовед и потому не берусь судить, что породило эту черту: то ли детство, совпавшее с величайшими социальными катаклизмами, то ли еще не выветрившийся дух академического знания, в конце концов этими катаклизмами вытравленный, — во всяком случае, большинство людей этого поколения обладали совершенно недоступным мне спектром человеческих знаний. И ведь никак не скажешь, что жизнь их к этому подталкивала наличием каких-то особо благоприятных условий — скорее наоборот. Харон, с его тремя курсами Берлинской консерватории и немецкой гимназией, где он влюбился в генетику, — скорее исключение, чем правило. Но ведь не там же его учили устройству двигателя внутреннего сгорания или технологии литейного дела? А Вейнерт? Вейнерт, который первый раз отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки, кончил в промежутках между отсидками ФЗУ и один курс Ленинградского института железнодорожного транспорта? Его университеты, правда, более разнообразны: «В это время я была у него в Малой Вишере, — вспоминает его мать, Ядвига Адольфовна, — маленький городишко, скорее село, деревенские домики, грязь, немощные дороги, и на каждом шагу то научный сотрудник Эрмитажа, то известный историк, то профессор университета — «бывшие». Или о свидании в Мариинске: «...Юра, самый младший из группы ссыльных, был тепло встречен. Сначала все были на общих работах, тащили из замерзшей земли турнепс и свеклу, потом были на строительных работах. В группе строителей счастливо сочетались: архитектор, музыкант и художник-живописец. Жадный на всякие знания, особенно по разным

видам искусств, Юра оказался благодарным учеником. Глотал, пожирая, все, о чем говорилось, вырабатывал свою точку зрения, свой собственный вкус...»

Но ведь не уникамы они двое, хотя такого диапазона знаний и умений и в этом поколении достигали немногие. Ведь и мое поколение уважение к чужому умению и даже восторг перед ним сохранило, вспомним хоть Беллу Ахмадулину: «Чужое ремесло мной помыкает». Но восторг перед чужим мастерством не был связан с потребностью освоить его. А вот Харон в книге пишет: «Всю жизнь, сколько я себя помню, это казалось мне величайшим счастьем — уметь что-то делать. Не как-нибудь, не тяп-ляп, а по-настоящему, красиво, легко, свободно, виртуозно. Разницы в профессиях для меня в этом отношении просто не существовало. Красивая работа столяра или пианиста, токаря или живописца, слесаря-лекальщика или хирурга — все мне казалось равно прекрасным и вызывало горячую зависть. «Вот бы мне так» — пожалуй, наиболее постоянный лейтмотив моих заветных дум и мечтаний в течение долгих лет, чуть ли не всей жизни». В начале своего предисловия я уже говорил о некоторых умениях звукооператора Харона: скажем, хромировать бабки или заделывать лунки под взрывчатку; из книги вы узнаете о многих других: делать противостолбнячные уколы и играть Моцарта на рояле сухо, «без чувства», — как на клавишине, дирижировать началом 8-й симфонии Брукнера и учить школьников физике и математике; от себя могу добавить и те, о которых в книге не нашлось места упомянуть: сочинять коктейли, печатать на машинке, писать зубодробительные статьи о природе кинодраматургии и серьезные исследования о природе звука. И это еще далеко не всё. Наверное, только на крутом переломе эпох рождаются поколения, которым так щедро отпущен талант всему научиться, суметь всё, что требует от них жизнь. Но уж зато и требования были под такую эпоху: война, лагеря, великая коллективизация, великая индустриализация. Их эпоха не давала им, да и сама не знала, передышки — может быть, поэтому меньше всего они были философами. Если они чувствовали разрыв между перенасыщенностью времени и неустроенностью души — они писали стихи.

\* \* \*

Харон был арестован летом 1937 года. Двадцать три ему исполнилось уже в Бутырской тюрьме. Юрий Вейнерт — в очередной раз — двумя годами раньше. Если об обстоятельствах ареста Харона вы прочтете в этой книге, то аналогичные обстоятельства в жизни Юры Вейнерта заслуживают того, чтобы о них рассказать в предисловии, тем более что вместе с ними войдет в наше повествование и маркиза Л., которой посвящены многие лирические сонеты будущего Гийома дю Вентре.

Итак, молодой человек влюбился в девушку, отношения их были возвышенны и несколько литературны, потом она познакоми-

мила его со своей подругой, и тут произошло то, чему наилучшее описание мы находим у М. А. Булгакова: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих». Подругу звали Люсей — это имя не раз еще встретится вам на страницах книги. Молодой человек, уже имевший к тому времени две ссылки за плечами, отличался тем не менее романтической порядочностью, которая оказалась свойственна и двум подругам, составившим остальные вершины любовного треугольника, тем более напряженного, что подруги жили в одном городе, а юноша — в другом.

Все друг другу во всем признались, благородное желание сохранить дружбу и свойственная юности того поколения страсть к самопожертвованию породили общую для троих душевную смуту. А в результате — объяснение подруг и самоотреченная совместная телеграмма предмету их разделенной любви: «Мы свободны будь свободен и ты». Вот за эту телеграмму его и арестовали.

Когда в стихах дю Вентре и комментариях Харона вы будете часто встречаться со словом *свобода*, пусть не будет забыт вами текст этой телеграммы.

Вообще, как вы уже, видимо, заметили, слово «свобода» и его производные витают над этой историей как призрак судьбы и как парадокс времени. Так и хочется вспомнить дю Вентре:

Пять чувств оставил миру Аристотель.  
Прощупал мир я вдоль и поперек  
И чувства все порастрепал в лохмотья —  
Свободы отыскать нигде не мог.

Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,  
Шестое чувство — вечно голодало.

\* \* \*

Так что же они такое — эти стихи, рожденные «во глубине сибирских руд»? Откуда они, какова их не только человеческая, но литературная ценность, к каким образцам восходит их поэтическая генеалогия, и, наконец, как вообще могли они появиться на свет в зауральском лагере с их латынью и французским, с их Шатильонами и Жаками Бономами, с Гасконией и Дуврскими скалами? Что в них серьез, а что игра? Они — порыв истинного поэтического чувства или упражнения изощренного ума?

На часть этих вопросов предисловие, надеюсь, уже ответило. Главный из оставшихся без ответа — зачем? Зачем он им нужен был там, этот веселый и трагичный, отчаянный и нежный француз с его сонетами?

«Эти стихи, — пишет Харон, — были для нас не целью, а средством». Если б они были целью — никогда не взвалили бы

они на себя такую ношу. Надеюсь на нашу догадливость, Яков Евгеньевич не поясняет, средством чего или от чего. Ну что ж, попробуем догадаться.

Среди любимых фильмов Харона была одна английская картина, не шедшая у нас в прокате, но киношникам хорошо известная: «Мост через реку Квай». Вот что написано об одном из ее эпизодов в книжке Харона «Записки звукооператора», вышедшей в 1987 году, через много лет после его смерти: «Шли издалека пленные, целая воинская часть. Жара страшная, ноги в ссадинах и ранах, глотки пересохли, но... честь полка требует, чтобы даже в плену строй не нарушался. Играть некому, петь — нет сил, вот и насвистывает себе полк походную песню, этаким довольно примитивный английский фокс-марш, чтобы хоть как-то в ногу идти».

И дальше — в лагере: «Командира пленной части, пожилого полковника, японцы пытаются взять измором: его содержат в жестяной конуре под палящим солнцем без воды и пищи. Когда он уже вроде бы сломлен окончательно, его выводят — вернее выволакивают, ибо сам он передвигаться не в состоянии, на аудиенцию к начальнику лагеря. Это наблюдает «забастовавший» полк. И начинает тихонько насвистывать тот самый марш... Этот посвист возвращает постепенно полковника к жизни, к мобилизации сил, необходимых, чтобы выпрямиться...» Я намеренно обрываю цитату, ибо, по мне, все здесь уже сказано: вот этим самым неумирающим фокс-маршем и был для авторов Гийом дю Вентре. Не английским, так французским — это уже дело вкуса. И насвистывать-сочинять его приходилось самим. Тут, конечно, разница, но ведь и лагерь не чужой — свой, и температура другая. А суть — та самая.

«Главное изменение в людях, — пишет о лагере Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», — состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой природы, личности и силится, росло чувство судьбы». Сонеты Гийома дю Вентре не давали ослабеть в авторах чувству своей особой природы и бросали вызов судьбе — в этом их главный смысл, главное их значение и главное их достоинство.

А стихи там — разные. Хорошие и не очень, пронзительно нежные, заразительно веселые и слегка вымученные, литературно ученические. Впрочем, не рецензию я пишу, а о недостатках своих сонетов и критике их вам расскажет сам Харон в последней части своей книги, и, замечу кстати, хотел бы я, чтоб мне назвали еще одного автора, который с таким упоением восторга рассказывал о критике им написанного.

И все-таки: почему француз, почему XVI век и почему, наконец, именно сонет — форма, как известно, не из самых простых и популярных? Ответ на первый вопрос столь, как мне кажется, прост, что даже неловко: кто был первым героем нашей мальчишеской дружбы, образцом благородного рыцарства — д'Артаньян, не так ли? Ну вот вам и весь ответ. Впрочем, если вам боль-

ше по вкусу Атос или Сирано де Бержерак, я лично не стану с вами спорить — пусть будет по-вашему.

И XVI век с его Варфоломеевской ночью — тоже из Дюма, только из «Королевы Марго» да из «Хроник времен Карла IX» Проспера Мериме, но под сильным влиянием сходства его с современностью, особенно в той ее части, которая началась для Харона в 37-м. С той разницей, что времена Генриха Наваррского позволяли хотя бы определить позицию в происходящем избиении инакомыслящих, а в 37—38-м и далее «папистов» от «гугенотов», как правило, ничто не отличало, кроме временного служебного положения в этой всеобщей варфоломеевской ночи.

И, наконец, почему именно сонет? Здесь я уже не так уверен в ответе. Но, учитывая мое близкое знакомство с одним из авторов, рискну предположить: именно потому, что это трудно по форме, требует особых навыков и мастерства. Потому и было столь привлекательно и заманчиво доказать самим себе, что и это умеешь делать «не как-нибудь, не тяп-ляп, а по-настоящему, красиво, легко, свободно, виртуозно».

А кроме всего прочего — поэзия для интеллигентов поколения Харона и Вейнерга вообще была непременной составляющей воздуха, которым они дышали, как кислород или азот. И снова в доказательство этого приведу отрывок из не вошедших в эту книгу заметок Харона. Судите сами: «Тоска по добротной любовной лирике обнаруживалась, как я сейчас понимаю, — писал Харон, — хотя бы в той жадности, с какой мы выколупывали и коллекционировали в памяти ее изюминки из новейшей поэзии, чтобы при случае принести их в дар любимой, как наши отцы и деды подносили цветы. Подношение цветов в пору разворачивания борьбы за индустриализацию и особенно накануне отмены карточной системы хоть и наблюдалось, но все же считалось нами пережитком... Куда более уместным казалось нам — и было довольно широко распространено в наших кругах — сообщить девушке, как бы между делом, доверительно, но совершенно бесстрашно: «Всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал». А клятвенным заверениям в любви до гроба мы предпочитали что-либо в таком духе: «Тело твоё я буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу». Соответственно и девушка не восклидала с жеманной ухмылкой: «Ах, оставьте, как можно-с!» Ей полагалось сохранять невозмутимый скепсис, недоверчиво покачать головой и мрачно парировать: «„А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы“, так что лучше брось трепаться».

В этом хароновском воспоминании есть один мотив, очень характерный и для сонетов дю Вентре, — этакое молодое пижонство, желание блеснуть поэтической цитатой, латинским изречением, французским «мо». Кто готов бросить в них за это камень — валяйте, я не стану их защищать, тем более что и, по моему

собственному ощущению, лучше всего им удалась сонеты, где душевный посыл ведет к поэтическому результату напрямую, без ерничества или сопутствующих усилий «показать образованность».

Только при этом давайте учтем, что цитировать Дюма и Мериме приходилось в Свободном исключительно по памяти, французских справочников или латинских словарей в заводе-лагере тоже не было предусмотрено, и даже ноты для лагерной оперы, как вы прочтете у Харона, отыскивались по случаю у бабушки-поселенки, которая закрывала ими кадушку с водой. Не знаю, если б у нас с вами был такой культурный запас, мы, может, тоже бы не удержались — похвастались.

«Чем богаче эстетический опыт индивидуума, тем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее, — сказал в своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский, чей личный опыт в иных исторических обстоятельствах сходен с хароновским, и добавил: — ...свободнее — хотя, возможно, и не счастливее».

Немногие события в жизни Гийома дю Вентре уподоблены обстоятельствам жизни его авторов. Заключение в Бастилию, изгнание из Франции — вот, пожалуй, и все. Зато в зеркале характера дю Вентре отражаются их черты: и молодость, и бесшабашный атеизм, ироничность, задиристый, не признающий запретов юмор, неприхотливость в житейских обстоятельствах и даже уверенность в незаурядности своего предназначения. Пусть не так отчетливо и резко, но отразился в сонетах и разнбой их чувств (ведь писался дю Вентре не один год): грусть и жажда мщенья, тоска несвободы и жар схватки со злом, моление о справедливости, страх перед беспамятством близких, счастье полученного письма, горечь измены... Чувства сосуществовали и составляли жизнь авторов, — овеществленные в стихах и собранные в тетради, они становились биографией героя. Только не следует воспринимать сходство их чувств и биографий слишком буквально. Очень соблазнительно в строках: «дрожи, тиран, перед моим пером» или «но я тобой, король-мясник, не побежден» — и еще в десятках подобных строчек вычитать их ненависть к Сталину или, на худой конец, к Ежову с Берией. Можно, и, вероятно, многие из тех, кому предстоит прочесть эти строки впервые, поддадутся этому соблазну. А, по-моему, делать этого не стоит. Не стоит им навязывать нашу сегодняшнюю «мудрость». Свобода и тирания — вечное противоречие, вечная боль человеческой души и, следовательно, — вечная тема. «Стихи заводятся от сырости, от голода и от войны и не заводятся от сытости, и не выносят тишины. Без всякой мудрости и хитрости необходимо душу вытрясти при помощи карандаша. Если имеется душа» — это определение Слуцкого кажется мне куда более точным разъяснением, откуда они брались — сонеты дю Вентре со всеми их эскападами, драмами, любовью и враждой.

Ну, а если вы все-таки не можете обойтись без похожести, то, пожалуйста, она тоже есть, но другая. Готовя к изданию на

инженерных синьках первые сорок сонетов, уже переписанных каллиграфическим почерком Вейнерта на специально вынесенных из КБ восковках и кальках, авторы остановились перед необходимостью снабдить свое издание портретом героя. Тогда они взяли Юрину фотографию, недогнувшей рукой пририсовали ему усы и мушкетерскую эспаньолку и — в бой. Так что сходство есть, прямое портретное сходство.

\* \* \*

В конце 47 года, отсидев свои сроки, Харон и Вейнерт уехали из Свободного, увозя 4 экземпляра книжки дю Вентре с готовыми 40 сонетами. Нельзя сказать, что они чувствовали себя свободными как ветер, так как жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах им не разрешалось. Проведя контрабандой несколько дней в Москве, они разъехались. Вейнерт устроился в Калинин на вагоностроительном, Харон отправился в Свердловск — на киностудию. И если б судьба недвусмысленно не напомнила им о себе, боюсь, что вторая биография дю Вентре могла бы на этом оборваться. Ну в самом деле — продолжать писать сонеты, находясь на воле, со всеми ее проблемами и соблазнами... Впрочем, как сказал поэт, «что ж гаданье, спиритизма вроде...» Гадать нет надобности, судьба, в обличье определенного ведомства, как я уже сказал, призвала их снова, не подвергнув даже годичному испытанию свободой.

— Я как-то никогда не делал людям сознательных гадостей, — рассказывал однажды при мне Харон. — В Свердловске, когда ходил, как положено, отмечаться, — отношения с местным майором были самые патриархальные. Раз опять нужен родине — взяли бы и вызвали. А пришли под утро, какой-то капитан, да еще с криком, с матом, с расстегиванием кобуры. Я очень обиделся. И когда он меня доставил к знакомому начальнику майору, я тому: так и так, при обыске даже не обратили внимания на опасную бритву, с помощью которой я мог запросто лишить вас ваших доблестных помощников. Наклепал на капитана. До сих пор неловко, хотя насчет бритвы это была чистая правда.

Теперь их ждал уже не лагерь, а бессрочная ссылка. У Харона в местечке Абан, в Зауралье, у Вейнерта — на шахте в каких-нибудь четырехстах километрах. В четырехстах непреодолимых километрах.

Сонеты рождались порознь и совершенствовались в письмах. А жизнь авторов, теперь, увы, не скрепленная единством места, шла разными руслами. Харон работал счетоводом, преподавал в школе, вел автотракторный кружок и даже ставил спектакли в самодеятельности. Спектакли имели успех и на областных смотрах, правда, постановщика туда не выпускали. Харона спасали работа и легкомыслие. У Юры была только работа. И тоненькая ниточка писем не выдержала. О том, как он погиб, вы



прочтете. Харон узнал об этом с большим опозданием — письма из ссылки в ссылку ходили не быстро.

Тот сценарий, который я сочинил много лет спустя, должен был заканчиваться так: когда один из двух героев-авторов погибал, Гийом дю Вентре снимал усы и эспаньолку и садился на место погибшего друга — сказка кончалась, романтический антураж терял свою прелесть, возвращалась проза — лагерь, быт, конец стихов.

В жизни все обстояло иначе: дю Вентре и его сонеты именно в те годы торили свои первые робкие дорожки к читателю. Через мою маму, через Григория Львовича Рошалья и Веру Павловну Строеву — известных кинорежиссеров — единственных друзей, с кем Харон поддерживал переписку (мама его умерла еще до войны), через мать и друзей Юры Вейнерта эти стихи — воистину пути поэзии, как пути господни, неисповедимы — попадали в новые руки, в новые места. Ну, например, на Воркуту, в лагпункт «Кирпичный завод», там их читали женщины, собравшись после работы «на общих». Там их впервые услышала и будущая жена Якова Евгеньевича — Стелла Корытная, в просторечии Света. Когда спустя несколько лет они познакомятся у нас с мамой в доме, Якову не придется тратить своих мужских чар, окажется, что Гийом дю Вентре уже проложил тропинку к ее сердцу.

Харон вернулся в 54-м. Жил он у нас, и главное, чем был первое время занят, — перепечатывал на машинке, доделывал, шлифовал сто сонетов Гийома дю Вентре. Это был его долг перед памятью Юры. Поразительно все-таки сосуществовали в нем легкомыслие и основательность. Он не разогнулся, пока не собрал в томик форматом в полмашинописного листа все сто сонетов. И не скрепил их только появившимися тогда блокнотными пружинками, для чего собственноручно и многократно проколол верх и низ левого обреза каждой им перепечатанной страницы. Это было второе издание сонетов дю Вентре и первое полное собрание его сочинений. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.

На этом, собственно, следовало бы кончить предисловие. Но мне бы не хотелось, чтобы у читателя создалось впечатление, что, собрав в книжку сонеты дю Вентре, Харон закончил главное дело своей и Юриной жизни («и духовно навеки почил»). Нет и еще раз нет. Дю Вентре был в их жизни малым эпизодом, важным, многое в ней проявившим, но эпизодом — и ничем иным.

А впереди у Харона было еще 18 лет свободы, с женитьбой и рождением сына, с поездками в Италию и Германию, с заседаниями конгрессов и кафедр, а главное — 18 лет кино — любимой работы, оторвать от которой его мог только полученный в лагере туберкулез. И как лагерю мы обязаны появлением на свет Гийома дю Вентре, так первому серьезному приступу чахотки — комментарием к Гийому, который мы все заставляли его писать, несмотря на его стойческое сопротивление. И все-таки не наши

подталкивания и понукания, а физическая невозможность более рационально употребить время болезни подвигнула Харона на это дело.

Но ни сонеты, ни появившийся, наконец, в 65 году комментарий, который мы, при полном безразличии к этому самому Харону, в первые годы после его написания усиленно популяризировали среди друзей и знакомых, издателя найти уже не смогли — время застоя заdraивало люки один за другим. Быть реабилитированным было можно, но говорить об этом следовало только в анкетах.

Даже сейчас мне трудно поверить, насколько мало это значило для самого Якова Евгеньевича. Стоило врачам ослабить хватку или просто бдительность, он летел на свою любимую Потылиху и там в павильоне, в аппаратной, в ателье озвучания или перезаписи преспокойно забывал о валяющейся в столе рукописи. Там, на студии, в полную меру проявлялся далеко не легкий его характер. Посудите сами, какво работать с человеком, который пусть не навязывает этого вам, но тем не менее непреклонно подходит к будущей картине с мерками высших шедевров звуковой киноклассики. И этими мерками меряет не столько даже замысел, сколько каждую воплощающую его деталь, будь то звучание шестой скрипки в оркестре или скрип тележного колеса. Эта его абсолютная неспособность к самой невинной халтуре иногда порождала шедевры, но значительно чаще — в нашем поточном производстве — приносила конфликты. Среди шедевров есть и «Дневные звезды» Игоря Таланкина, фильм, где снимался эпизод убийства царевича Димитрия в Угличе, — так что в начале предисловия я ни на йоту не отступил от истины, сказав, что Харон при этом присутствовал. Есть даже фотография, где он стоит над трупом царевича и держит в руках не то пузырь, не то какой-то иной сосуд с кинокровью.

Причем поразительно то, что шедевра он ожидал (и готов был ради него разбиться в лепешку) не только от работ мосфильмовских «полковников» и «генералов», но и от своих студентов — выпускников ВГИКа. И глядя на Харона, никто не сумел бы определить ранг режиссера, с которым он работает. У него были пристрастия, но рангов он не признавал. Многие на «Мосфильме» и во ВГИКе по сей день вспоминают его с любовью и печалью, но никто из тех, с кем он работал, никогда не читал сонетов и практически никогда не слышал от него о лагере, хотя был Харон и словоохотлив, и речеобилен. Он не любил это время, и, как бы ни показались вам веселыми отдельные сонеты и залихватскими комментарии, — это горький опыт и горький рассказ.

А все-таки:

Пока из рук не выбито оружие,  
Пока дышать и мыслить суждено,  
Я не разбавлю влагой равнодушья  
Моих сонетов терпкое вино...

И дальше:

В дни пыток и костров, в глухие годы  
Мой гневный стих был совестью народа,  
Был петушиным криком на заре.

Плачу векам ценой мятежной жизни  
За счастье — быть певцом своей Отчизны,  
За право — быть Гийомом дю Вентре.

Простите мне последнюю, крохотную проволочку. Осталась еще история золотых часов, тех самых, подаренных мне в 47-м. У кого Харон их купил, кто гравировал на них мои инициалы и почему именно такой подарок решил он сделать восьмилетнему, никогда не виденному им мальчишке — об этом в семейной истории за давностью лет сведений не сохранилось. Таскать их в школу, в свой второй класс мне не приходило в голову. И часы были переданы во временное владение моей тетушке, которая носила их в сумочке на работу до того самого дня, пока не была арестована, осуждена на 20 лет и отправлена в лагерь, в Воркуту, ну да, вы верно догадались, на лагпункт «Кирпичный завод», где женщины, собравшись после работы «на общих», иногда читали сонеты дю Вентре. Так что часы, отобраанные у нее при аресте, вернулись в черную бесконечность, именуемую судьбой или Гулагом, тем самым подчеркнув еще раз, что только духовное вечно или, если хотите, что не горят только рукописи — остальное преходяще.

А теперь, уважаемый читатель, переверните эту страницу. Вы услышите, как зазвучит медь оркестра, ведь вы совершаете таинство первооткрытия: именно с этого, долгожданного и торжественного, события и начнется третья биография  
Гийома дю Вентре.

---

Гонорар за эту статью автор  
передает в фонд по созданию памятника-мемориала  
жертвам сталинских лагерей.

*А. Симонов*

# Сонеты дю-Вентре



Перевод  
с французского  
Ю. Вейнерт.

Вступительная статья,  
общая редакция  
и комментарии  
Я. Харон.

---

На правах рукописи

В нашей книге воспроизведены титул «первого» издания и шмуцтитулы тетрадей стихов, выполненные Ю. Вейнертом в лагере.

Сонеты дю-Венстре

Петрадь I

МАКАРИУСЕ



*Маркизе Л.*

Над городом лохматый хвост кометы  
Несчастья предсказывает нам.  
На черном бархате небес луна  
Качается кровавою монетой.

Вчера толпе о преставленьи света  
На паперти Нотр-Дам вещал монах;  
Есть слух, что в мире бродит Сатана,  
В камзол придворного переодетый.

В тревоге Лувр. Король — бледнее тени.  
В Париже потеряли к жизни вкус.  
И мне, маркиза, не до развлечений!  
Покинув свет, тоскую и молюсь:

Тоскую — о возлюбленной моей,  
Молюсь — скорей бы увидаться с ней!

*Агриппе д'Обинье*

Что нужно дворянину? — Добрый конь,  
Рапира, золота звенящий слиток,  
А главное — бургонского избыток,  
И — он готов хоть в воду, хоть в огонь!

«Ты пьян, Вентре?» — Подумаешь, позор!  
Своих грехов и мыслей длинный свиток  
В бургонское бросаю, как в костер, —  
Кипи и пенясь, солнечный напиток!

Когда Господь бургонского вкусил,  
Он в рай собрал всех пьяниц и кутил.  
А трезвенников — в ад, на исправленье!

Я в рай хочу! пусть скажут обо мне:  
«Второй Кларенс, — он смерть нашел в вине» —  
Еще вина! В одном вине спасенье!

*Генриху Наваррскому*

Псалом затянет патер большеротый —  
Католики, кряхтя, бредут в костел.  
Костлявый пастор проповедь повел —  
И в храм ползут уныло гугеноты.

Пол-Франции на исповедь идет,  
Пол-Франции толпится у обедни,  
А нам смешны божественные бредни:  
Я не католик, ты — не гугенот.

Карл Валуа предпочитает мессу?  
Пусть нюхает кадил воюющий дым!  
А нам начхать — Женева или Рим:  
Ведь мы с тобою влюблены в принцессу...

Святошам выбрать бога нелегко,  
У нас с Наваррский бог один — Марго!

Меня учил бродячий менестрель,  
Учили девичьи глаза и губы,  
И соловьев серебряная трель,  
И шелест листьев ясеня и дуба.

Я мальчиком по берегу бродил,  
Внимая волн загадочному шуму,  
И море в рифму облекало думу,  
И ветер сочинять стихи учил.

Меня учили горы и леса;  
С ветвей свисая, мох вплетался в строки.  
Моих стихов набрасывала кроки  
Гасконских утр прозрачная краса.

Меня учил... Но суть совсем не в этом:  
Как может быть гасконец не поэтом?!

«Аз есмь Господь...» — Слышал. Но сомневаюсь.  
 «Не сотвори кумира...» — А металл?  
 «Не поминай мя всуе...» — Грешен, каюсь:  
 В тригоспода нередко загибал.

«Чти день субботный...» — Что за фарисейство!  
 Мне для безделья всякий день хорош.

«Чти мать с отцом...» — Ч т у . —

«Не прелюбодействуй...»

От этих слов меня бросает в дрожь!

«Не убивай...» — И критиков прощать?!

«Не укради...» — А где же рифмы брать?

«Не помышляй свидетельствовать ложно...»,

«Не пожелай жены, осла чужих...»

(О, Господи, как тесен этот стих!)

Ну, а жену осла-соседа — можно?

*Маркизе Л.*

Моих посланий терпеливый лепет —  
 Каскад страстей, любви смиренный вздох —  
 Вас не повергли в долгожданный трепет:  
 Сонеты, рифмы — об стену горох!

Одними многоточьями моими  
 Я вымостил Вам новый Млечный Путь  
 (Куда уж тут с простыми запятыми!),  
 Но Вас они не тронули ничуть.

А эти — как их? — знаки восклицанья? —  
 Вам, черствая, смешны мои страданья?  
 Что гибель Трои мне? Что Вам Вентре?..

В последний раз молю Вас, дочь у т е с а , —  
 Взгляните: я согнулся в знак вопроса!  
 ...Один ответ: холодное тире.



---

**КАРТЕЛЬ**

---

Вы оскорбили, сударь мой, меня,  
Назвав Гийома дю Вентре — писакой.  
Пускай его сонеты — пачкотня,  
Но я за честь его полезу в драку!

Конечно, выходка осла смешна.  
Но этот — дворянин, он шпагу носит!  
Пусть все ослы за Вас прощенья просят, —  
Вас не спасет Ослиный Сатана!

Моя картель — не клякса на бумаге:  
Пустить Вам кварту крови quartой шпаги  
Поклялся тот, кто Вами оскорблен.

Почтительно Вас жду. Да, между прочим:  
Поскольку спор наш к рифмам приурочен,  
Оружье — перья, место — Пти Мэзон.

**ВЕРНЫЕ ПРИМЕТЫ**

---

Когда борзых Ваш ловчий кличет рогом,  
А заяц вдруг перебежит дорогу —  
Диана Вас обманет: в этот день  
Уйдет бесследно от собак олень!

Когда, спешащего на randevу,  
Обгонит поп (во сне иль наяву) —  
Одумайтесь! Вернитесь, Бога ради:  
Ревнивый муж с кинжалом ждет в засаде!

Перед несчастьем или неудачей  
Луна — как кровь, и в полночь филин плачет.  
Внимайте тайным голосам примет.

Вот давеча: осел кричал до хрипа —  
И — верно! — в этот самый час Агриппа.  
В ужасных муках сочинил сонет.

---

**ГЕНРИХ СЧАСТЛИВЫЙ**

---

Три Генриха бредут Булонским лесом,  
Охотой и жарой утомлены.  
Три Генриха болтают про принцессу,  
В которую все трое влюблены.

Божится первый: «Хороши бретонки,  
В нормандок сотни раз я был влюблен, —  
Но не найти во Франции девчонки  
Прекраснее малютки Марготон!»

Второй орет: «А взгляд ее лукавый!  
А голос! Звонкий, как лесной ручей!  
За то, чтобы Марго была моей,  
Отдал бы я свою Наварру, право!»

А третий? Третий промолчал в ответ...  
Об этом я и написал сонет.

---

**МОЙ ДУХОВНИК**

---

«Вы вязнете в грехах, мой сын, поныне, —  
И день и ночь твердит мой духовник. —  
Все — суета, один Господь велик,  
И глас Его — родник в мирской пустыне.

Земная жизнь — обман, греховный миг!  
Загробную расплату забывая,  
Проводят дни и мальчик, и старик, —  
А между тем нас гибель ожидает!

Тщету гордыни, пьянство и разврат  
Постом, мой сын, в себе искореняйте.  
Скорбите о грехах, молитесь, кайтесь,  
Дабы не ввергнуться в кромешный ад!»

И вот — скорблю: как королевский шут,  
Грехи... в бургонском утопить спешу!

---

**ВЕСЕЛЫЙ БЕРНАРДИНЕЦ**

---

Господь наш воду обратил вином  
Не для того, чтоб пересохла глотка!  
Когда-то Ной... Пойдем со мной, красотка!  
Но почему все ходит ходуном?

Молитесь, дети, Господу... Те Deum! \*  
Сгинь, ведьма! Ты не девка, ты — суккуб!  
Брат Франсуа, ты вечно пьян и глуп.  
Пей, да спасет тебя Святая дева!

Пойдем, Сюзон! Твой страх, моя овечка, —  
Ни Богу кочерга, ни черту свечка:  
Твои грехи я отпустил давно...

Жениться не велят христову брату? —  
Не надо! Хватит нам мирян женатых!  
...А дьявол — в укус превратил вино...

---

**СУМЕРКИ**

---

Прощальные лучи кладет закат  
На розовеющие черепицы;  
Еще блестит сквозь сумерки река,  
А в переулках полутьма клубится.

Лазурь небес лиловый шелк сменил,  
И угасают блики в стеклах алых,  
На балюстрады Нотр-Дам взгляни,  
На каменное кружево порталов:

Там пробудились мудрые химеры!  
В оскале хитром обнажив клыки,  
Они глядят на город в дымке серой,  
От любопытства свесив языки...

И впрямь, занятно поколение наше:  
Король — смешон, шут королевский —  
страшен...

---

\* Начальные слова молитвы и литургии (лат.).

---

**МОЙ ЗАИМОДАВЕЦ,  
ИЛИ КЛЕВЕТА НЕБЛАГОДАРНОГО**

---

В библейских рощах Тигра и Евфрата,  
Где возвышался золотой телец  
(Богатства символ, чванства и разврата),  
Меж прочих жил отъявленный подлец.

Когда Господь, разгневанный вселенной,  
Обрушил гнев небес на Вавилон,  
Бежать успел один лишь старый слон,  
И на спине его — подлец отменный.

С тех пор в Париже, не страшась тюрьмы,  
Подлец паук раскинул паутину.  
Меня он выжал досуха, скотина, —  
Он кровь сосет! Но... он дает займы.

Поэты Франции! Доколь терпеть пиавку?!  
На штурм! На Мост Менял! В седьмую лавку!

---

**BENEDICTUS \***

---

Благодарю тебя, Создатель мой,  
За то, что под задорным галльским солнцем  
(Под самой легкомысленной звездой!)  
Родился я поэтом и гасконцем!

За страсть к Свободе, за судьбы стремнины,  
За герб дворянский, за плевки врагов,  
За поцелуи женские, за вина,  
И за мое неверие в богов,

За мой язык французский, злой и сочный,  
За рифм неиссякающий источник, —  
Твои дары пошли поэту впрок!

Мне на земле не скучно, слава Богу, —  
Неплохо ты снабдил меня в дорогу!  
Одно забыл: наполнить кошелек.

---

\* Благодарственная (латинская) молитва.

## ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Мне хочется лежать в моей Гаскони  
 В могиле скромной, в глубине лесов,  
 И слушать, как столетний ясень стонет,  
 И слышать шелест трав и свист щеглов...

Нет, — в даль глядеть с высокого обрыва  
 На горизонт, изогнутый дугой,  
 Чтоб предо мной о скалы в час прилива  
 Дробился бы безудержный прибой...

Нет, нет! На всем скаку, с мечом прадедов  
 В слепой отваге на врага лететь!  
 Услышать, падая: «Сакр Дьё! Победа!»,  
 Под лязг мечей и копий умереть!

Ну, а пока я жив — с Жерменной нежной  
 Лежать бы я хотел. Но — безнадежно!

## MEA CULPA! \*

*Маркизе Л.*

Чтоб в рай попасть мне — множество помех:  
 Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,  
 Любовь к тебе и — самый тяжкий грех —  
 Неутолимая любовь к Свободе.

Ленив я. Каюсь: здесь моя вина.  
 Горд. Где найти смирение дворянину?  
 Как обойтись французу без вина,  
 Когда он пил на собственных крестинах?

Любить врагов? Об этом умолчу!  
 С рожденья не умел. И не жалею.  
 В любви к тебе признаться? Не хочу:  
 Тебе признайся — будешь мучить злее.

Отречься от Свободы? Ну уж нет:  
 Пусть лучше в пекле жарится поэт!

\* Моя вина, я сам виноват (*лат.*).

Когда актер, слюной со сцены брызжа  
 И петуха пуская на верхах,  
 Вентре читает — смех берет и страх:  
 Как я талант свой глупый ненавижу!

Когда восторженно мне шепчут вслед  
 Забытые поклонниками дамы:  
 «Взгляни, *ma chère*, — Вентре! Ну да,  
 тот самый...  
 Красавец, правда? но, увы, поэт!»

Или король потреплет по плечу:  
 «Любовник Муз!» — что делать мне? Молчу  
 Со стиснутыми в бешенстве зубами.

«Стихи, стихам, стихами, для стихов...»  
 Побрал бы черт всех этих знатоков!  
 Меня давно тошнит от них... стихами.

*Маркизе Л.*

Мне недоступен ход светил небесных —  
 Я тайны звездочетов не постиг.  
 И в черной магии я ни бельмеса,  
 И даже белых не читаю книг.

Гадать на пальцах — не в моей натуре.  
 И если вдруг подскажет гороскоп,  
 Что на Земле произойдет потоп,  
 Когда к Тельцу приблизится Меркурий, —

Не стану гоготать, как римский гусь,  
 Ни сна, ни аппетита не лишусь,  
 Не откажусь и от спиртных напитков:

Зачем считать созвездья в небесах?  
 На что мне тексты обветшалых свитков?  
 Свою судьбу прочту — в твоих глазах.

Когда-нибудь все брошу и уеду —  
По свету Синюю страну искать,  
Где нету ни солдат, ни людоедов,  
Где никого не надо убивать.

Там не найдешь евангелий и библий,  
И ни придворных нет, ни королей.  
Попы там от безденежья погибли,  
Зато Вентре в почете и Рабле.

Там в реках не вода течет, а вина;  
На ветках — жареные каплуны  
Висят, как яблоки... Париж покину,  
Но не найду нигде такой страны!

А если б и нашел... вздыхаю с грустью:  
Французов и ослов туда не пустят!

Над Францией — предгрозовая тишь...  
Что будет? Голод, мор, война, холера?  
Над бездною качается Париж —  
Так на волнах качается галера:

Уключин скрип, усталых весел всплеск,  
И монотонно-горестное пенье  
Галерников, прикованных к сиденьям,  
И моря нестерпимо знойный блеск...

Надежды нет: с плавучею тюрьмой  
Рабы навек повенчаны Судьбой  
И с ней погибнут — нет пути иного!

...Вот так и я погибну, мой Париж:  
Утонешь ли в крови или сгоришь —  
Я телом и душой к тебе прикован!

---

---

## ГЛАВА 1

---

— Сми-иррр-на-а! А-атставить разговорчики! Шичас буду называть хвामीле, каждый должен отвечать: имя-от'сва, год рожденья, кем сужден, статья и срок, понял? Абрамов!

— Сергей Иванович. Тысяча девятьсот второй...

— Ну?

— Остального, виноват, не знаю.

— Телехенция, мать вашу... Три простые вещи у мозге держать не можете! Повторяю вопрос: кем сужден, статья, срок. Понял? Давай.

— Ты шо — нерусский? Не помнишь, хто те срок дал?

— Я не был ни на каком суде. Мне неизвестно, судили ли меня заочно, а если судили, то кто именно. И срок мне неизвестен. Уверяю вас, не стал бы я...

— А-атставить разговорчики! Ув етапе у тя паморки отшибло. Слухай сюды и запоминай — сгодится, ще не раз спросють: Тройка, ка-ер, десять лет. Повтори.

— Тройка... Ка-эр... Де... десять... Десять?!

— Борисов!

— Иван Сергеевич, тысяча восемьсот девяносто пятый.

— Ну, давай дальше.

— Дальше не знаю.

— Должен знать: Тройка, ка-ер, десять лет.

— Какая тройка?

— Быкновенная. Ты шо — з луны свалился? Васильев!

— Николай Петрович, девятьсот девятый, ничего другого мне не докладывали.

— Ну, дык я те доложу: Тройка, ка-ер, червонец. Васин!

— Игнатий Фролыч, девяносто второй, э-э... Тройка?

— Ну!

— ...Ка-эр?

— Ну?

— Десять лет!

— Не-е, восемь. Хватит с тебя. Волков!

— (Пулеметом:) Ван-Ваныч, десятый, тройка, ка-эр, десять!

— О! А то — «не знаю, не знаю»! У нас енти номера не проходят. Востриков!



Теперь ответы сыплются горохом, с нарастанием какого-то веселья и радостного облегчения: наконец-то хоть что-то становится известным, — а как это много для человека, больше всего истомленного долгой, ох, какой долгой безвестностью!.. Ответы угадываются безошибочно — и в этом сказывается безошибочность произведенной сортировки: в этапе мы ехали еще вперемешку с «бытовиками» — и лишь изредка проводящий перекличку («поверку») поправляет: восемь. Восемь или десять — велика ли разница? Разве вечность бывает большей или меньшей?

«Тройка» — это мы слышали еще в Бутырках, это понятно. Не совсем понятно другое: «Ка-эр». Интересно, как оно пишется: «К.Р.» или, может, «К/р»? «Контрреволюционер»? — непохоже: слишком уж торжественно... «Капитальный ремонт»?.. «Крутой режим»?.. Так до сих пор я этого и не выяснил; по-моему, этого никто точно не знает. Хотя все знают, что, например, «КРД» означало контрреволюционную деятельность, «КРТД» соответственно еще и троцкистскую, а уж значение каждого из чуть ли не двух десятков пунктов статьи пятьдесят восьмой знали на зубок, так сказать, «с пеленок» — с первых же недель за решеткой. Позже, уже на этапе, мы познакомились с другими любопытными звукосочетаниями — например, с изящным обозначением женщин и девочек, ехавших в параллельных с нами эшелонах, — «ЧСИР»: член семьи изменника родины. Это было понятно — не только в лингвистическом, но и в более широком смысле, поскольку было известно, что сын за отца не отвечает. Насчет дочери или жены никаких подобных установок не было, поэтому никто на сей счет претензий не выражал. А наше «Ка-эр» так и не привилось в быту — ни у нас, ни у тех, кто нас охранял, — так что те и другие пользовались общепонятным и более удобным уменьшительным: контрики. Контрик, оставь сорок — яснее ясного: уважаемый, сообразованно уступить мне 40 процентов от вашей благоухающей самокрутки...

Если б попытаться выразить мое отношение к событиям тридцать седьмого — вернее, к той грани, которая коснулась лично меня, — то картина получилась бы несолидной и даже кощунственной. Но у каждого человека есть ведь только его собственное мировосприятие, иначе жить было бы невозможно. Выслушав чей-либо ответ, представляющийся наименее удовлетворяющим заданному вопросу, можно, разумеется, воскликнуть: «Ты что — идиот?».

Это будет, пожалуй, нормальной реакцией. Но столь же нормально и естественно, что, скажем, Швейк тотчас обрадуется вашей догадливости: «Так точно, идиот, ваше благородие!» А что ж ему, в споры вступать?

В добром бородатом анекдоте рассказывается, что по перрону вдоль поезда, готового отправиться, бежит взволнованный детина и истошно орет: «Рабинович!.. Рабинович!..» В окне одного из купе появляется молодой человек: должно быть, ему любопытно взглянуть, что там случилось. К нему подбегает детина: «Вы Рабинович?» — «А что?» — «А вот что!» — говорит детина, отвешивая пассажиру увесистую затрещину. А поезд тем временем уже тронулся и набирает скорость. Молодой человек падает на скамью и заливается счастливым хохотом: «Ох, не могу!.. Ха-ха, вот дурак-то!.. Ха-ха-ха: никакой ведь я не Рабинович, я — Иванов! Ха-ха!..»

Не знаю, всем ли этот анекдот кажется смешным. У меня он вызывает сочувственную улыбку, и только: как близко, как понятно мне поведение молодого пассажира! Как похоже это на мои собственные ощущения тридцать седьмого и долгих последующих лет! Та же, по сути, неистребимая жажда познания (если угодно, называйте ее идиотским любопытством или любым симптомом духовной неполноценности, я-то знаю, что это — любовь ко всему живому, ко всякой жизни!), то же радостное недоумение при встрече с непонятным, неизвестным, необычным, не укладывающимся в элементарные нормы и трафареты, наконец, та же готовность к любым издержкам: подумаешь, дали по морде — зато как интересно посмотреть на живого роконосца или инога беднягу, рвущегося сокрушить неизвестного ему врага!.. И уж совершенно железная уверенность: я-то не Рабинович, хоть тресни, хоть сжигай меня живьем на костре!

Кстати, о кострах. Костер разжечь — самое первое дело на скальных работах, например на реке Уссури, в шестидесятиградусный мороз. Тут и охранник погрееется, тут и перекур бригады, тут и замеры записываются. Подойдет ли прораб или другой кто из начальства — бригадира сюда же, к костру: сколько шурфов с утра, сколько внизу надробили кувалдами, сколько вывезли на тачках к погрузочной эстакаде, то да се, как с табачком... Приходит однажды начальник лагпункта. Мы видим его впервые, он нас — тоже. Мы для него еще совсем внове: сплошные «ка-эровцы», первый этап в эти места. Прежде тут работали «быто-

вики». Всматривается наш начальник в непривычные лица — хоть и небритые, хоть и в однородных ушанках, хоть на этой работе, да при кормежке, да в такой мороз, да сразу же после двухмесячного этапа, да после в среднем годичной тюрьмы, — хоть эти лица сейчас и не ах как похожи на роденовский бюст Бернарда Шоу или на гольбейновского Неизвестного патриция, все же в них чудится начальнику что-то любопытное, загадочное, достойное рассмотрения. «За что попали?» — дружелюбно адресует его меховая рукавичка к одному из бушлатов. Тот пожимает плечом: мол, долго рассказывать, да и то объяснить невозможно, сам ничего не понимаю. Но начальник, видимо, привык если не к такому, то к какому-то другому запирательству, нежеланию распространяться на щекотливую тему. Он не сдается: «Да вы не стесняйтесь, тут все — заключенные, мало ли что в жизни бывает. Много ли дали вам?» — «Десять». — «А вам?» — «Десять». — «И вам столько?» — «Мне — восемь». — «За что же вам такое снисхождение, ха-ха?» Смешок все поддерживают: гляди ты, понимает, должно быть, что тут чистая лотерея... И постепенно завязывается разговор. Любопытно, что разговор этот — достаточно общий, ибо не даты, имена или номера домов интересуют ведь начальничка (как, разумеется, и каждого из нас), а нечто общее, типическое, характерное. Этого товару у нас — хоть отбавляй: процедура допросов и протоколов настолько стереотипна, что, услышав первые две-три фразы очередного рассказа, любой из нас может запросто продолжить его... вплоть до первой нашей переклички, на которой мы так лихо отгадывали срок, статью и кем сужден...

Наступил уже вечер, вохровцы, как я сейчас понимаю, немного нервничали (в темноте вести людей в зону, километра за четыре, — удовольствие малое), а начальничек все не отпускал нас. Костер полыхал, на нас опускался звездный купол, к которому возносились из пламени встречные звезды, и это создавало какой-то, возможно, атавистический, к пещерным пращурам восходящий, но все же очень устойчивый, всем людям присущий «дранг цум фойер» — тягу к домашнему очагу, к камину, что ли... Давно уже кончились обе пачки «Казбека», которыми нас угощал начальник, он дымил махоркой, кем-то из нас предложенной, завернутой в бумажку, оторванную от газеты, опять же он нам подарил: бумага, особенно газетная, была самым дефицитным товаром. В наши рассказы он вставлял точные,

меткие реплики, костер своим потрескиванием подтверждал присутствие какого-то редкостного контакта и взаимопонимания меж людьми, разделенными сейчас разве что прискорбными общественно-политическими границами-недоразумениями, но никак не материальными стенами, не классовыми, кастовыми, идеологическими или этическими барьерами. Он понимал нас, казалось, с полуслова, и это было особенно дорого нам, потому что иначе как полусловами и полупафами и говорить-то тогда не приличествовало: полностью произносить определенные суждения мог лишь враг, дурак или провокатор, — а тут не было ни тех, ни других, ни третьих.

Последним исповедоваться довелось мне. В бригаде я был самым молодым (в Бутырках исполнилось мне двадцать три), кроме того, я был единственным музыкантом по образованию и кинематографистом по профессии — сочетание достаточно редкое не только для тех мест. Начальничек все силился что-то понять: вероятно, возможность вредительства и диверсии на столь неподходящем поприще, как звуковое кино... Я старался, как мог, рассеять его подозрения, устремлявшиеся в совершенно фантастические русла. Пришлось импровизировать некую экспресс-популяризаторскую лекцию об организации кинопроизводства, а поскольку он то и дело вставлял вопросы, свидетельствовавшие об искренней его заинтересованности в тех или иных частностях, — останавливаться на деталях, убедительных примерах из виденных им фильмов и т. д. Все это переплеталось с ходом следствия по моему «делу», никакого отношения к кино не имевшему: там речь шла о нашем берлинском пионеротряде, а эта тема — Берлин, консерватория, баррикады на Веддинге, расстрел демонстрации в Гамбурге, красные фронтовики, наглеющие фашисты, — это все вело еще дальше, и конца-края нашей беседе у костра не предвиделось. Наконец, мы как-то закруглились, встали, побросали снега на костер — чтобы зря топливо не переводить — и стали собирать инструменты, готовясь к походу домой, в зону. «Н-да-а», — задумчиво протянул начальничек и, глубоко вздохнув, похлопал меня очень участливо по плечу: «Не надо было воровать, браток!»

Потом-то, много позже, я как-то допетрил, что мыслями он был где-то очень далеко и в свою прощальную реплику вложил автоматически некую сентенцию, которой, вероятно, заканчивал свои беседы по душам с нашими предшественниками, бытовиками. А в ту минуту я только открыл

рот да так его и не закрывал, кажется, до самой вечерней баланды... С тех пор я, как нетрудно догадаться, больше не «исповедовался» — в предчувствии подобной концовки меня одолевал приступ смеха в ту же секунду, как я собирался открыть рот, чтобы что-то такое выкнуть из «автобиографии», связанной с моим «делом».

От трагического до смешного, как известно, один шаг, и я, кажется, так устроен, что делаю этот шаг с особой радостью, хотя бы самому мне и пришлось быть объектом осмеяния — какая разница?! Смех — величайшая привилегия человека, никакое животное, хотя бы и двуногое, на смех не способно. Смех — высшее проявление гуманизма и вообще любви к ближнему: вдумайтесь, почему вы рассказываете близким и случайным знакомым анекдот? Не потому ли, что хотите рассмешить человека, доставить ему толику радости?

Каюсь: из всех человеческих чувств я больше всего ценю чувство юмора. Не уверен, что это очень похвально, но что поделаешь? Я не встречал веселых подлецов, как не встречал весельчаков, способных на подлость. Это — феномен чисто вероятностный, одна сплошная случайность, я в этом не сомневаюсь. Но лично меня касающаяся вероятностная закономерность, в силу которой я, например, никогда не выигрываю по лотерейным билетам, сколько бы я ни покупал их и к каким бы ухищрениям ни прибегал (все номера подряд, или только нечетные, или только такие, сумма цифр которых равна семи или тринадцати...), или в силу которой сдача буквально каждого фильма, к созданию которого я в какой-то мере причастен, происходит не иначе как двадцать пятого числа, или в силу которой даже единственный комар, каким-то чудом оказавшийся в местности примерно стокилометрового радиуса, если это местность дачная, а я, зная это, все же зачем-то поперся т у д а , — непременно прилетит, чтобы ужалить именно м е н я , — в силу этой закономерности я не только ненавижу всякие дачи и пейзажи (кроме морских и высокогорных), но и весьма равнодушен к людям, лишенным чувства юмора. Особенно ценю я Galgenhumor — юмор висельника, как гласит не очень удачный русский термин. И утешаюсь тем, что я не одинок в подобной симпатии, не исключение, совсем не редкостный оригинал.

Иначе не встретились бы мы с Юркой: просто прошли бы мимо, не удостоив друг друга особого внимания, какими бы взаимно привлекательными прочими чертами ни обла-

дали. Иначе не сошлись бы мы с Аркадием \* еще на московской «пересылке» и не пережили бы (я, во всяком случае, не пережил бы) нашего фантазмагорического этапа — в белых брючках, в нетопленых теплушках, без жратвы и вообще безо всего, кроме нескончаемого времени... Всерьез такое вынести нельзя (или можно — но разве что ценой превращения в бесчувственное животное; или же в сознании служения великой идее, ради которой стерпишь что угодно, или же, наконец, в состоянии естественной или искусственной прострации... но в моем случае ничего из перечисленного даже и в намеке не было). Иное дело — пройти парочку кругов трагикомического ада, ада фарсового, хотя бы и в роли актера или маски, которой более чем реалистическая постановка предписывает сложные и даже замысловатые мизансцены...

Но я напрасно так уж сгущаю краски. Я мог бы сослаться на более ранние и более безмятежные воспоминания, характерные все тем же отношением к жизни и к юмору как одной из важнейших ее составляющих. Знакомство с новыми истинами и новыми людьми, с новыми местами и с новой работой — все это происходило у меня с непременной примесью чего-нибудь смешного. Даже с прекрасным полом знакомился и сближался я большей частью — да нет же, при чем тут несерьезность? — каким-нибудь шутейным или розыгрышным способом. Хотя бы с той же Женей.

Такое уж у нас было правило: завидев кого-то из друзей на улице или в общественном месте, доставить себе, ему и окружающим пару веселых минут. Если, забравшись в трамвай или троллейбус, ты замечал в другом его конце кого-то из дружков, сам бог велел тебе затеять бузу: начать сетовать на вечные беспорядки на транспорте, на распушенность и безответственность кондукторов... Кондуктор, конечно же, тут же лез в бутылку: «Чем это вы недовольны, гражданин?» — «А зачем вы позволяете пьяным ездить в трамвае? Вон посмотрите-ка: этот тип сейчас начнет блевать, ишь как его качает!»

«Тип», действительно, сильно качался — попробуйте не качаться, когда трамвай раскачивается на всех парах! Он глупо улыбался и пробовал урезонить тебя: брось, мол, Яшка, хватит, люди и в самом деле еще подумают... И тут

---

\* Аркадий Акимович Штейнберг (1913—1984) — советский поэт и переводчик.

начиналось самое испытание: не поддаться, не улыбнуться и виду не подать! «Какой я вам Яшка, нахал вы этакий! Кондуктор, вы что — не видите?» Кондуктор сдавался: «Гражданин, давайте сойдем на следующей...» «Гражданин» — в амбицию, весь трамвай делится на два воюющих лагеря, и вот уже кондуктор хватается за свисток...

В транспорте без кондуктора, согласитесь, нет уж того веселья... Да, я ведь собирался про знакомство с Женей! Тоже неплохо было сыграно. Подхожу однажды к нашей проходной, еще на Лесной улице, и вижу со спины нашего Боба (рост — метр девяносто пять) беседующим с невысокой девушкой в кожаном пальто и берете. Подхожу, похлопываю его по плечу и говорю сквозь зубы: «Пройдемте-ка, гражданин, тут недалече». Боб включается в игру, даже не оглядываясь: «Да я... да мы вот только...» — «Гражданин, — я неумолим: — вас что, постановление наркомата не касается? Позвольте-ка ваши документы, и давайте отойдем, вы же знаете, тут нельзя останавливаться!»

— Мы не знали, товарищ, — вмешивается девушка, но я на нее даже внимания не обращаю. Я беру Боба под локоть и тащу его к проходной. Девушка инстинктивно хватается за другую его руку, наконец Боб решает сжалиться над ней:

— Познакомься, Женюра, это наш курьер из бухгалтерии, немного невменяемый, я тебе о нем рассказывал, — Яша Харон. А это моя сестренка системы Женя. Маленькая, но все уже понимает.

Маленькая Женя все понимала, но меня она, кажется, до сих пор считает немного невменяемым. По меньшей мере — неисправимым оптимистом...

Со Светой мы познакомились еще смешнее — на огромном расстоянии друг от друга, можно сказать, почти так, как фронтовики знакомились с девушками из глубокого тыла, по переписке с фотокарточками. В нашем случае не было ни переписки, ни фотокарточек, вообще ничего похожего не было. Был некто Гийом дю Вентре, самый веселый наш выдумщик и мистификатор, — но об этом попозже, ладно?

С золотоволосой Дорой Шмидт, впоследствии всемирно известной пианисткой, я был однокашником по консерватории, и наше знакомство протекало тоже довольно весело. Собственно, даже смешно. О самом знакомстве будет тоже рассказано в свое время, а сейчас — эпизод из дальнейшего, когда мы уже были немного знакомы и вели студенческий флирт. Однажды позвал меня к доске Пауль

Хиндемит \*. Вообще-то читал он нам факультативно архивную дисциплину — «Музыка фильма», но на сей раз дело было в тот период, когда он заменял больного профессора Гмайндля по курсу «Анализ формы». А в этом жанре Хиндемит был так великолепен, что на его лекции сбегалось народу больше, чем вмещала аудитория... Ну, вызвал он меня и еще двоих и предложил нам проинструментировать на доске нехитрую коду, сыгранную им на рояле. Мне, помнится, досталось инструментовать «в стиле Палестрины», парню на второй доске — «в стиле венских классиков», третий должен был имитировать «поздних романтиков». Такие игры-импровизации пользовались у нас большой любовью: тут можно было блеснуть, сверкнуть и вообще продемонстрировать, как у тебя мозги действуют. В педагогическом таланте Хиндемита было, несомненно, много общего с Эйзенштейном, во всяком случае, в их методике активизации студенческой аудитории были определенные приемы и способы, свидетельствовавшие о конгениальности. Узнал я об этом много позже, когда познакомился с Эйзенштейном, — увы, слишком недолгим и беглым было это знакомство...

Выполнив под одобрительные смешки и подсказки аудитории наши нехитрые задания и получив блистательные поправки Хиндемита, вызывавшие уже просто взрывы смеха — настолько они были остроумны, беспощадны и вместе с тем тонки, — мы могли возвратиться на свои места, и лектор тоже вернулся на кафедру. Я задержался за его спиной и — не знаю уж, какой бес меня за руку дернул, — написал в верхнем правом углу доски внезапно пришедшее мне на ум и, как мне показалось, весьма остроумное словцо: D'ora — транскрипцию имени Дора, долженствовавшую означать что-то вроде «из золота». Очень довольный собой, я вернулся на свое место в амфитеатре аудитории — оно было позади Доры. На моем столе уже лежала ее тетрадка с переписанными с досок примерами. Над моим примером слово D'ora было тоже вписано, но перечеркнуто, а над ним значилось: *adorée* (обожаемая). Вот как мы развлекались...

О триумфе Доры на Женевском конкурсе пианистов я узнал уже из газет — на Дальнем Востоке, в обстановке, где само выражение «играть на рояле» означало нечто иное: операцию по нанесению дактилоскопических оттисков в формуляр арестанта.

---

\* Немецкий композитор, дирижер и муз. теоретик (1895—1963).



Это обозначение, к слову пришлось, мне тоже очень нравилось, и не мне одному, иначе оно не пользовалось бы столь устойчивой популярностью.

Из ранних впечатлений запомнилась мне еще одна забава — в Таганке, на «пересылке». Там каждому новенькому камера давала справку насчет здешних порядков и настоящий совет — стучать в дверь, вызывать дежурного по корпусу и требовать — не иначе: требовать! — чтобы его отвели в кино. Новичок поначалу, конечно, не верил. Но постепенно одно за другим сбывались все предсказанные ему на данный день обязательные ритуалы: в таком-то часу — двадцатиминутная прогулка, в таком-то — баня, и т. д., не говоря уже о железном порядке выдачи хлеба, сахара, баланды и кипятка. Строго по графику всю камеру водили и в уборную. Наконец, под вечер кто-нибудь «спохватывался», что новенький так и не побывал в кино: камеру водили туда якобы утром, когда он еще не прибыл... А кино-то, брат, только раз в две недели бывает... Да, жаль: раз положено, должны отдать, — это ведь все равно что пайка или прогулка, — да только теперь уж навряд ли... Впрочем, попробовать-то можно: собери свои вещички, вызови дежурного (сегодня дежурит добренький) и скажи ему: готов, мол, в кино, — меня только в полдень привели, с этой камерой не успел. Он мужик ничего, дежурный-то, глядишь, он тебя с другой камерой сводит.

И вот солидный дядя, вконец задуренный предшествующими допросами, перевозками в «черном вороне» (иначе: в «белой вороне», как мы называли машины, закамуфлированные надписью: «Хлеб»), теснотницей наших общих камер и неотступными мыслями о семье, о сослуживцах, да мало ли о чем еще... этот дядя решает, что не мешало бы, действительно, на часок отвлечься, забыться, уйти в царство киношной жизни — раз уж реальная жизнь оставлена в недостижимых далях... Раз положено, значит, начальство, видимо, считает эту порцию духовной культуры минимально необходимой для сохранения заключенного в человеческой норме. А начальство лучше знает, ему виднее. Убедив самого себя такими рассуждениями, солидный дядя надевает пиджак, кепку, собирает в импровизированный «сидор» свои нехитрые пожитки (зубную щетку, полотенце, махорку, пару сухарей... Зачем, собственно, надо брать с собой «вещи» в кино, об этом он даже не задумывается: он уж привык ко многим тюремным несуразностям, удивляться и переспрашивать — моветон, простительный

«свеженькому» только что «с воли», но совершенно неприличный для старожилы) и, подойдя к обитой железом двери, энергично колотит в нее кулаком. На первый зов никто, конечно, не отзывается: это ему тоже известно, поэтому через минуту он повторяет свой стук, а еще через минуту, повернувшись к двери спиной, колошматит в нее каблуком. Вскоре слышен лязг волчка: дежурный смотрит в глазок. Отскочив, как положено, шага на два от двери, чтобы дежурному всего его видно было, новичок поднимает свой узелок и кричит: «Готов!». Дежурный опускает заслонку волчка, бросает через дверь что-то вроде: «Погоди малость» — и уходит. Уходит надолго. Минут через десять в углу камеры начинается тихий диспут — тихий, чтобы новичок его не услышал, но не настолько тихий, разумеется, чтобы он совсем уж ничего не уловил. И новичок улавливает: спорят о том, придет ли дежурный за ним или же забудет. Кто-то говорит, что надо бы, дескать, напомнить о себе, а кто-то возражает: последний, мол, сеанс все равно уже начался...

Новичок этой пытки не выдерживает и снова принимается колотить в дверь. Наконец она открывается, и на пороге появляется дежурный — не в самом радужном настроении, ибо весь день он только и бегает от камеры к камере. Камер много, он один. Этих — на прогулку, тех — в сортир, из этой камеры — на допрос, в эту — с допроса, тут — дезинфекция, там — очередной «шмон»... В общем, никто из нас дежурному не завидует. И вот начинается:

— Чего тебе?

— Готов я, гражданин дежурный!

— Чего — готов-то?

— А меня позже привели. Не попал я по графику в кино с данной камерой, гражданин дежурный. Если можно, очень просил бы вас, поскольку ведь каждому заключенному полагается...

Дежурный долгим усталым взглядом рассматривает новичка, потом, вскользь оглядев камеру, корчащуюся в приступе беззвучного хохота, близкого к истерике, почти беззлобно обещает в переводе на цензурный язык — оставить всю камеру на недельку без прогулки, чтобы впредь не повадно было, и т. д.

В подобных шутках кино было чисто случайным словом, и к сфере моей любимой музыки они, разумеется, никак не относились, если взять за скобки спекуляцию — в данном случае — на общечеловеческой тяге к кинозрелищу.

хотя бы и в столь неподходящей обстановке. Но было для меня в тюрьме и много чисто кинематографических — «звукозрительных» и просто звуковых — неожиданностей, не побоюсь сказать: радостных первооткрытий, совершенно невообразимых за пределами тюремной камеры. Основа и тут была, как положено, более чем серьезной, иной раз вполне трагедийной; однако финал бывал часто достаточно веселым — пусть с поправкой на «юмор висельника». Чего стоила хотя бы наша, внутренняя, арестантская «переключка»!

...Непонятность, непостижимость происходящего, неизвестность, чем «все это» кончится, — вот, пожалуй, самые неприятные психические моменты для участников первых «волн» тридцать седьмого. Вполне естественно, что количественные показатели проводившейся кампании представлялись нам чуть ли не решающими: нельзя было представить себе, что в XX веке возможно что-то похожее по масштабам на Варфоломеевскую ночь, не говоря уже о несопоставимости этих явлений: там ведь были враги, противники, неприятели, а здесь... Так или иначе, но мы почему-то были убеждены, что ленинское «чем хуже, тем лучше» в какой-то мере приложимо и к судьбе нашего поколения и что чем больше народа окажется в нашем абсурдном, дурацком положении, тем скорее «наверху» станет понятна и эта абсурдность, и ее вредность. Наивность наша сейчас совершенно очевидна, мы и тогда понимали, что уповаем на не слишком-то прочную надежду, что просто хватаемся за соломинку — за неимением иного объекта для хватания. А эта соломинка требовала в свою очередь какой-то конкретности, каких-то более или менее реальных цифр, способных либо подтвердить нарастание потопа, либо же указать на спад волны, на постепенное или внезапное прекращение кампании. А где было взять такие цифры?

Цифры носились в воздухе — в буквальном смысле слова. Их надо было только улавливать, слушать, складывать, умножать. Заключенному всякой приличной тюрьмы — а Бутырки были тюрьмой образцовой — известны по меньшей мере следующие цифры: количество людей в его камере (величина переменная), количество камер в его коридоре, количество таких коридоров в корпусе, этажность каждого корпуса, количество корпусов. Для получения более или менее приемлемых данных о контингенте тюрьмы, о движении ее населения и т. п. надо было только вводить коррективы в первую величину. Это было не так-то просто,

показатели для данной камеры могли быть совершенно произвольными и не совпадать с пропускными показателями других камер. Следовательно, необходимо было вести «оперативный учет» не только своей камеры, но хотя бы еще всех камер своего коридора, — тут уж стали бы возможны среднеарифметические данные, на которые можно положиться. И вот мы добывали эти данные — из воздуха, чисто акустически. К обеденному часу вся камера замирала, замирал весь коридор, пожалуй, вся тюрьма: все слушали и считали. Вот где-то вдали гроыхнул засов — открылась дверь коридора. Затем в течение некоторого времени шла неразборчивая возня, смесь недифференцируемых позвякиваний, побрякиваний, скрежетаний бачков, перетаскиваемых по каменному полу, — раздача баланды, операция, для наших целей неприемлемая. Но вслед за баландой в обед полагалась еще и каша, и тут-то начиналась арифметика. Дело в том, что порцию каши нельзя переправить из бачка в миску иначе как черпаком. А поскольку каша крепко залипает в черпаке, необходимо как следует стукнуть опрокинутым черпаком по каждой миске. Раздатчику баланды и каши некогда разводить церемонии, у него вон сколько людей, накормить-напоить их всех — тоже уматься дай боже. Поэтому каждое движение у него рассчитано: трах! — порция, трах! — вторая... трах! — шестьдесят седьмая. Пауза, скрежет передвижки бачков, потом невнятная раздача баланды, а потом снова: трах! — первый, трах! — второй... Итого сегодня сто двадцать седьмой камере натраховано восемьдесят три порции каши. Всего, стало быть, по корпусу с его четырьмя этажами и тремя блоками... Итого по вверенной нам тюрьме...

Послеобеденный анализ данных: предположительное движение контингента и т. д. Кибернетического счетного устройства у нас не было, но мы вводили в наши расчеты все же достаточно много поправочных данных. Дневные перемещения плохо поддавались учету, слишком много тут было «помех» — прогулок, оправок и прочих процедур, за шумом которых пропадали какие бы то ни было полезные сигналы. Зато ночью слышимость была отличная, а по характеру и ритмическому рисунку манипуляций с дверью мы безошибочно определяли любые перемещения персонажей. Сперва раздавался вдали условный стук в дверь коридора, ведущую на лестницу: это пришел разводящий или сопровождающий. К двери подходил наш коридорный, впускал пришельца, закрывал за ним дверь, потом они

вдвоем шли к какой-нибудь камере. Тут надо было различать три разные звуковые композиции, соответствующие действиям определенного ритуала, изученного нами в совершенстве. Вот дверь камеры открылась и через несколько секунд снова закрылась, затем громкие шаги удалялись к выходу (громко топать — святая обязанность заключенного, равно как не попадать в ногу с идущим рядом с ним: он знает, что это необходимо всем «слушателям»...). Такой рисунок означает вот что: коридорный открыл камеру и шепотом — чтобы не слышали соседние камеры — назвал фамилию. Названный так же тихо назвал свое имя и отчество. Коридорный сказал: «Пошли належке». Стало быть — на допрос здесь же, в следственный корпус. Сунуть ноги в башмаки без шнурков (шнурки, пояса, галстуки и иные подозрительные предметы отбирались при входе в тюрьму) — дело одной секунды, так что коридорный ожидал вызванного у открытой двери. Иное дело, если он открывал сперва форточку. Тут он мог сказать вызванному либо «Соберись без вещей» — то есть на допрос придется куда-то ехать в «белой вороне», — либо «Соберись с вещами» — это уж насовсем: в другую тюрьму, или на этап, или на свободу, или на... на тот свет. Закрыв форточку, дежурный ждал, пока «собравшийся» не постучит изнутри: готов, мол.

Хорошо прослушивалось и прибытие новеньких, они еще шагали остороженько, стесняясь шуметь и тревожить сон тюрьмы... Но эта их осторожность нас только забавляла. Завтра в обед мы их пересчитаем, как миленьких: каша-то им тоже положена. А к вечеру они уже получат необходимую дозу начального образования и будут исправно топтать, как слоны, и никто им этого не запретит, потому что обувь не зашнурована и никаких претензий к походке не принимается.

Уходившие на допрос — «налегке» или «без вещей» — возвращались рано или поздно, и получаемая через них информация (устная или в виде наглядных пособий) была достаточно интересной, хотя никаких подробностей о содержании допроса обычно никто не рассказывал, да это мало кого интересовало, каждый был занят собственным «делом». Но нам хватало сведений о форме допроса и о встречах — в битком набитых машинах, на «вокзалах», как назывались коллекторы-распределители, куда свозили и откуда увозили подследственных. А как быть с теми, кого уводили «с вещами»?

Тут дело было посложнее, но совсем уж в неизвестность никто все же не уходил. Через какое-то время — иногда довольно длительное — дверь камеры открывалась, и появлялся дежурный по корпусу. Он подзывал к себе старшего по камере и осведомлялся, действительно ли здесь находился заключенный такой-то. Получив утвердительный ответ, дежурный сверялся с бумажкой и просил посмотреть, не осталось ли на том месте, где лежал бывший, шерстяного одеяла или какой-то другой вещи. Дежурный, впрочем, получал всегда положительный ответ и большей частью даже требуемую вещь: такая мелочь с лихвой окупалась полученной информацией. Сама же информация расшифровывалась через две минуты после его ухода весьма просто, в прямой зависимости от названия предмета. Кальсоны, рубашка и вообще белье означали, что нашего товарища перевели в другую тюрьму или в другую камеру. Верхнее платье и обувь — что он на «пересылке» и готовится к этапу. Полотенце, носки и другая мелочь, заранее обусловленная с соседями по нарам, представляли достаточный простор для иных сообщений. Редкие случаи выхода на свободу подтверждались уже более сложным способом, к которому были причастны, сами того не ведая, наши родные, чаще всего — жены, мужьям которых разрешалось получать от них денежные переводы. Тут была тоже арифметика...

Подследственному заключенному разрешалось получать с воли денежную «передачу» в размере 50 руб. в месяц. Деньги принимались три раза в месяц по симметрично расположенным числам, на каждое из которых были распределены те или иные буквы алфавита: заключенный, фамилия которого начиналась, скажем, на букву «М», мог получить денежную передачу (в виде справки-квитанции, которую можно было либо хранить, либо реализовать в тюремном ларьке) 5-го, 15-го или 25-го числа, а на букву «Н» — 6-го, 16-го и 26-го, и т. д. Первую передачу неразумная жена, обрадованная уже тем, что она хоть разыскала своего мужа, ухлопывала нередко сразу же, словно праздничный салют или максимально возможное доказательство своей любви и преданности. Но вскоре она умнела, общаясь с другими женами и матерями, и переводила уже не 50 рублей целиком, а трижды в месяц, частями, причем непременно «круглыми»: например, 15, 20 и снова 15. Получатель ежеледекадно получал хоть какой-то минимум информации: жена (или мать, или хоть кто другой в доме) жива, здорова, все

более или менее в норме, особых событий не произошло. Если же вдруг поступала «не круглая» сумма, — считай, что-то стряслось...

И вот изредка — очень изредка — случалось, что кто-нибудь, получив очередную денежную передачу, лаконично ронял: Николаев на воле. Никто не переспрашивал и не сомневался, каждый знал эту технику: каким-то чудом освободившийся Николаев набрал вызубренный номер телефона своего случайного соседа по камере и сказал, удостоверившись в том, что говорит с кем-то из его родных, примерно вот что: слушайте, не перебивайте и вопросов не задавайте. Ваш Петя (Митя, Гоша) жив, здоров, настроение бодрое, он вас любит и нежно целует. В следующую передачу просит ровно двенадцать рублей пятьдесят копеек. И вешал трубку. Даже не слишком быстро соображающая жена в конце концов понимала, что ничем не рискует, переводя именно такую сумму: никто ее не спросит, почему именно столько, а не сколько-нибудь больше или меньше. Лишь бы месячная сумма уложилась в максимальную норму — 50.

Понимали ли мы, что все эти наши хитрости шиты белыми нитками, изобретены еще при царе Горохе и тюремным властям и рядовым тюремщикам известны не хуже нас? Разумеется, понимали... И то обстоятельство, что никто всерьез не пресекал эти хрупкие нити информации, хотя всеми и соблюдалась видимость строжайшей бдительности касательно нашей полной изоляции и разобщения, вселяло в нас тоже немалую долю оптимизма. Мне довелось повидать и испытать достаточно, — я хочу сказать: достаточно доказательств в пользу аксиомы, что тюрьма и лагерь, в общем-то, мало похожи на санаторий или дом отдыха. Но мне сильнее запомнились не теневые стороны, а проблески человечности там, где человечности не предусматривалось и не предполагалось. Это ведь очень любопытная штука: пожалуй, единственно мыслимая сфера, в которой гуманизм может проявляться как раз в известной пассивности, в незамечании просветов и щелочек, присущих и самой глухой стене...

Я думаю сейчас о той огромной услуге — не только конкретному заключенному, но и всему человечеству, — которую оказал одному музыканту его тюремщик, разрешив ему взять с собой в глухую, по рассказам, темницу его скрипку. Сидел он не в нашей камере, не в нашей тюрьме, не в нашем государстве и не в нашем столетье, не говоря уже о том, что и статья у него была другая, хоть срок и был

наших примерно масштабов. Но все эти частности к делу не относятся. Не будь у него — по милости его гуманных тюремщиков — скрипки, мы так и не узнали бы ни имени, ни музыки Паганини. О творчестве дю Вентре я мог бы рассказать еще более достоверные факты с аналогичным выводом, но всему свое время. Крупнейшие революционеры прошлого и настоящего создавали и создают в тюрьме философские работы, научные исследования, художественные произведения потрясающей силы и немеркнувшего исторического значения. Кибальчич, Фучик, Джалиль в этом славном ряду не исключение, а правило; стало быть, правило и та пусть только капелька человечности тюремщиков, благодаря которой мы узнали эти имена и их последние дела, мысли, заветы живым.

Это никак не умаляет человеческого подвига самих героев. Оставаться человеком до конца — не всегда легко и, главное, часто представляется не столь уж важным. Если меня через час повесят, так ли уж важно, что я сейчас запою: Марсельезу или, напротив, «Боже, царя храни»? И все же Человек подтверждает свое гордое звание тем, что до самого конца остается верен своим убеждениям, нравственным критериям, своему гимну. Сегодня все уже знают предсмертные слова многих крупных военачальников: перед дулами винтовок они славили не бога, не маму, а партию. Могли ли они надеяться, что эти слова станут известны кому бы то ни было? Думаю, что не только надеялись, но даже были в этом твердо уверены. Их вера в Человека — тому порука.

Был у меня какое-то время соседом по камере Владимир Давидович Б., родной брат крупнейшего советского адвоката, имя которого упоминается сразу же после Плевако \*... Брату не повезло: он был востоковедом, знал в совершенстве японский, китайский, корейский, провел на дипломатической работе за нашими восточными рубежами лет восемнадцать. Этого было достаточно, объяснял он нам, новичкам( чтобы его «отправили на луну». К моему приходу в камеру он там справлял очередной юбилей: 30 месяцев предварительного заключения, допросов и всех прочих удовольствий. Он был превосходным рассказчиком, много и хорошо переводил из восточной поэзии, обладал незаурядной памятью и приятным, общительным характером.

---

\* Федор Никифорович Плевако (1842—1908) — известный русский юрист, адвокат.



Между вечерней баландой и отбоем, прекращавшим громкие разговоры, у нас бывал ежевечерний «голубой огонек», как это сегодня называется: кто-нибудь рассказывал, докладывал или декламировал. Люди бывали интересные, из самых разных областей науки, промышленности, из армии, авиации и флота, из медицины, геологии, архитектуры... и даже генетики. Так что репертуар нашей вечерней самодеятельности был не просто развлекательным, но еще и очень поучительным. Категорически возбранялись темы политические и вообще упоминание чего бы то ни было, связанного прямо или косвенно с темой тюрьмы, следствия и т. п.

Владимир Давидович рассказывал часто и охотно, напрашивался, так сказать, вне очереди: не сегодня-завтра меня уведут и шлепнут, говорил он с мягкой улыбкой, так что давайте, пока не поздно, я расскажу вам о китайском театре, о вулкане Фудзияма или о японской поэзии. Слушали его с огромным интересом, а мы, его ближайшие соседи, еще и днем не упускали возможности пообщаться с ним: его спокойствие, какая-то внутренняя собранность и цельность, любовь к шутке, отзывчивость — все это и нас успокаивало, приободряло, морально поддерживало. Платили мы ему тем, что пытались, в свою очередь, и его поддержать. По наивности мы полагали, что лучше всего с этой целью убеждать его, что никто его расстреливать не собирается, что раз уж его так долго держат под следствием, то никаких особых грехов за ним, очевидно, не числится... Владимир Давидович был не только старше нас, и не просто опычнее: он провел свою жизнь в более высоких сферах и лучше нас понимал механику тридцать седьмого. То, что нам казалось еще прихотью, игрой судьбы, случайностью, чем-то изменчивым, обратимым, он знал как железную закономерность, как неизбежность. Поэтому он прекращал наши утешения какой-нибудь остроумной цитатой из Конфуция, а однажды сказал нам, что придет подтверждение своей гибели — с того света. Тогда мы этому не придали серьезного значения, но очень скоро поняли, что он не шутил и действительно позаботился о том, чтобы камера не пребывала на его счет в неведении. В один прекрасный вечер, как гласит идиотская формула, Владимира Давидовича вызвали «с вещами», и он, сохраняя свою спокойную улыбку, просил не поминать его лихом, пожелал нам более светлой участи и спокойной ночи: иными словами, чтобы в эту ночь никого больше не вызывали... А рано утром у нас в камере начался шмон — вне всякого графика и какой-то

небывалой мощи. Нас даже перевели в одном нижнем белье в другую камеру, обыскав предварительно с непривычной тщательностью, чего прежде и позже не делали: обыски производились обычно более чем формально и в нашем же присутствии.

Шмон длился часа полтора, не менее. Наконец он кончился, нас вернули в камеру, и мы начали приводить в порядок наши казенные и личные пожитки, перевернутые вверх дном и вывернутые наизнанку. Когда мы остались одни и все стихло, сосед мой сказал с горькой торжественностью: прими, господи, и помилуй душу раба твоего... Владимира Давидовича, царствие ему небесное.

Никто не сказал «аминь» и ни о чем не спросил: куда спешить-то? Все равно рано или поздно все узнается и успеется. И мы узнали: накануне он сказал соседу, что намерен перед казнью кому-нибудь, что-де правда восторжествует, что на этот счет он оставил «завещание в верных руках». Судя по двенадцатибалльному шмону, он выполнил это веселое намерение... и в этом, если угодно, и состояло его гуманистическое завещание, стоящее многих письменных... В обед возле нашей камеры черпак трахнул по миске на один удар меньше вчерашнего, так что и в остальных камерах имелась возможность отметить уход в неизвестность еще одного Человека.

А потом привели новичков, жизнь продолжалась, мы слушали «газету»... Газета — штука тоже весьма любопытная. Конечно, не сама газета, а то, как, оказывается, поразному читают ее люди и что они в ней вычитывают. На воле об этом как-то не задумываешься, как, впрочем, о многом другом. Но сперва немного о чувстве новичка — из собственного опыта.

Уверенность — нет, точное знание, что я «не Рабинович», ни с какого боку-припеку не причастен к чему бы то ни было, за что можно бы арестовать и репрессировать человека, определяло мое самочувствие не только в ту памятную ночь с тридцать первого августа на первое сентября, когда нас разбудил не звонок, а непонятный стук в дверь и предводитель группы людей в военном и в штатском, установив мою личность, осведомился, грамотен ли я, а получив утвердительный ответ, показал мне под целлулоидом в своем планшете «Ордер на обыск и арест» такого-то, то есть меня. Эта уверенность в том, что я — это я, а не какой-нибудь изменник и враг народа, не покидала меня еще и в машине, и на Лубянке на первом допросе, и после допроса,

когда появилось уже, правда, какое-то ощущение тумана и мистики, но все же сохранилось в неприкосновенности чувство — ну, ладно, пусть будет по-вашему, оптимизма. Хорошо, пусть неисправимого, не в терминах дело. Так вот: в камеру я вошел с твердой убежденностью не только в своей невинности и непричастности к чему бы то ни было, но и с естественным, как мне казалось, предположением, что передо мной — те самые враги, изменники, предатели, террористы и диверсанты, которых, слава богу, изловили и обезвредили наши бдительные органы, руководимые железным наркомом — «ежевыми рукавицами». Я стоял у двери, озираю эту неожиданно многочисленную толпу людей, расположившихся в не слишком удобных и далеком не изящных позах, тесно, как в переполненном трамвае в часы пик. «Вот они какие, голубчики!» — думал я, переводя взгляд с одного на другого и ловя себя на мысли, что здорово они все-таки маскируются, черти: хоть бы одно «преступное» лицо, хоть бы один по-ломбровски «ярко выраженный тип» социальной или иной неполноценности!..

Меня едва удостоили беглого взгляда. Должно быть, я произвел впечатление человека, заслуживающего доверия, потому что кто-то сразу же спросил меня: «Ну, что там в газетах? Вы ведь с воли, по лицу видно... Так что же пишут?» — «Оставь его, — вмешался кто-то, — пусть малость очухается. Не видишь разве — человека схватили случайно, ни за что ни про что, и с врагами народа он встречается впервые... Дай оглядеться парню!» — Как ни тесно было в камере, люди еще малость сдвинулись и освободили мне крохотное местечко у самой параша. Я и не думал садиться: стоит ли пачкать белые брюки (тот август был жаркий, мы еще ходили в белом), если меня должны выпустить — не через час, так через два или три!

Вот за эти два или три часа моей жизни я, признаюсь, до сих пор внутренне стыжусь. Есть у меня, как у любого человека, еще и другие кляксы и пятнышки, которых, по сути, тоже стыдиться надо бы, но все остальное я себе как-то прощаю — невелики они, эти грешки, да и давно уж искуплены... А вот чувство своего априорного превосходства над людьми в бутырской камере, чувство, внушенное мне не столько самомнением, сколько казавшейся мне очевидностью, что раз их посадили, то и говорить не о чем, они же враги! — вот этого я себе никогда не прощу. Может статься, именно потому не прощу, что, несмотря на свою тогдашнюю молодость, я себя, тогдашнего, отнюдь не счи-

таю таким уж беспросветным дурачком. Мне кажется, что я многое, если не все, схватывал тогда на лету, не то что сейчас... А вот поди ж ты!

Я стоял у параши, одной рукой поддерживая свои белоснежные брюки, лишённые ремня и верхнего крючка, а в другой держа полотенце, зубную щётку, пачку папирос и спички — вещи, чуть ли не насильно навязанные мне домочадцами, как навязан был мне и пиджак (зачем — в такую теплынь, когда известно, что я вернусь через часа два, ну, от силы — три?!). Спасибо ещё оперуполномоченному: это он настоял, а то ни за что бы не взял я ничего с собой. Ведь взять что-то — это же все равно что признать, что я могу «там» задержаться, попасть, чего доброго, в тюрьму!.. Да вы что, шутите? И своих домочадцев я дико невзлюбил на какое-то мгновенье — вот именно в ту минуту, когда они проявляли такую заботу обо мне и любовь: значит, допускали-таки возможность, что меня не отпустят немедленно!?

Уполномоченный только сказал: «Возьмите, запас ведь кармана не жмет. Ведь можете и на сутки задержаться, и на дольше, всяко бывает...» — «А может и зонтик захватить?» — решил я съязвить, но уполномоченный никакого юмора не понимал — то ли вообще, то ли в данной служебной ситуации, этого сказать не берусь. Ответил он, во всяком случае, очень спокойно: «Зонтика не положено, а валенки можно». Валенки у меня, слава богу, не было. И поехал я налегке, набросив на плечи пиджак — первый попавшийся, серый в крапинку. Мне за него на первой же пересылке целых три пайки хлеба и пачку махорки дали — вот какой пиджак был!

Вот и стоял я в своем пиджаке и спадающих брюках, курил и бдительно вслушивался во вражеский негромкий разговор у моих ног — до самого обеда. К баланде и каше я, конечно, и не притронулся — один их запах и вид вызывали во мне неприязнь, — и обед мой стоял нетронутым на столе, когда все уже поели и дежурный перемыл миски и ложки. Потом он вытер руки, порывшись в своем барахле, достал что-то и с этим чем-то стал пробираться ко мне, аккуратно переступая через ноги и туловища. «Возьмите и поешьте, — сказал он, протягивая мне кусок хлеба, — пайку вы получите только утром». Я поблагодарил и сказал, что не голоден. Дежурный кивнул понимающе, вернулся к столу и положил там хлеб к моим двум мискам, а потом пошел на свое место. Я стоял, курил и ждал, что меня вот-вот вызовут. Допросят по форме. Извинятся. Отпустят.

Ладно уж, пусть без извинений, работы у них вон ведь сколько, разве я не вижу, не понимаю — долго ли промахнуться, прихватить ненароком и невиновного. Лес рубят...

Дверь отворилась, но не для меня. Вошел — или ввалился — седоволосый человек в военном кителе, не хранившем уже и следов каких-либо знаков различия, отличия и просто приличия: это были уже лохмотья. Он шатался, едва держась на ногах. Его тут же подхватили с двух сторон, усадили, дали ему напиток, дали и закурить, хотя ни о чем он не просил и вообще не проронил еще ни слова. Курил он с видимым наслаждением: закрыв глаза и растягивая удовольствие, но часто и нервно зевал. Раз или два он вскидывал взгляд к мискам на столе, но тотчас снова опускал веки. Кто-то тихо спросил меня: «Вы правда не голодны?.. Товарищ вон прямо с конвейера, ему бы поесть перед сном». Я только кивнул головой. Про конвейер — в подобном контексте — я прежде не слыхивал, но все же понял, что речь идет о допросе, состоящем, возможно, не только из вопросов и ответов, и что самый термин свидетельствует о хорошо отработанном, отлаженном технологическом процессе. Военному передали миски, он бросил мне усталую улыбку — «Спасибо, дружок!» — и принялся за еду с аппетитом, показавшимся мне не столько завидным, сколько непонятым, неуместным, настораживающим и даже пугающим. «Хороший мужик и достойно ведет себя, — услышал я доверительный полушепот моего соседа слева, внизу: — узнаете его? Да-да, кто мог бы подумать! Еще не так давно его назначили нашим военно-воздушным атташе в Италию, дали орден и подходящее звание...» Он назвал фамилию летчика-испытателя, известную каждому советскому школьнику.

Ноги у меня уже гудели, я опустил на корточки, тщательно подтянув брюки на коленях, чтобы складка не портилась. «Да вы бы присели, товарищ, успеете еще настоять с я, — советовал мне мой общительный сосед. — А брючки, в случае чего, можно ведь и погладить, и в стирку, не правда ли?» — «Сущая правда», — подумал я и решительно уселся на пол, прислонясь спиной к параше: пусть не сочтут меня за чистоплюя и маменькиного сынка. Сразу легче стало, и не только физически. «Ну вот, а теперь дозвольте представиться: начальник Медсанупра Кремля, разумеется, бывший, но все же медик, так что, если вдруг занеможет-ся, вы, пожалуйста, не стесняйтесь». Он внятно назвал свою фамилию. Я оценил деликатность, с какой он избег формулы «давайте знакомиться», и хотел было тоже отрекомендо-

ваться, но доктор, кажется, на это не рассчитывал, он продолжал без антракта: «Под следствием четырнадцать месяцев: пять в Лефортове, восемь во Внутренней, сорок суток в пугачевской одиночке, а вчера вот — сюда. Смилоствовался мой почему-то, уже не скажу, к добру ли это... Так что, как видите, от параши недалеко еще ушел, хоть общего стажа вроде хватает». Признаться, я не понял и половины. Не знал я еще, что Лефортово — военная тюрьма, а Внутренняя — на Лубянке, да и с пугачевской башней познакомился позже, в Октябрьские праздники. Я лишь смутно догадывался, кто таков «мой», которому, оказывается, можно смилоствоваться, но не мог взять в толк (и не хотел спрашивать), зачем нужно переводить подсудимого из тюрьмы в тюрьму и как это следствие может тянуться больше года: кто же не знает, что предельно допускаемый срок — четырнадцать дней? Одно я отметил без сомнений: что новичку приходится торчать возле параши, что постепенно арестанты передвигаются по направлению к окну, видимо, по мере ухода из камеры одних и поступления других. Что ж, вполне разумно и справедливо: последний пришедший вчера еще гулял по Москве, дышал озоном, ел за столом с белой скатертью и спал в чистой постели — может, даже с женой или любовницей, А кто тут подольше, тому и свежего воздуха и света больше положено, раз уж другие блага отсутствуют. Отсюда и система передвижения. Но я-то, я-то продвигаться никуда не собирался, наоборот: чем ближе к двери, тем скорее выйду. Не прошло и трех дней, как я, побывав на первом всамделишном допросе и вообще войдя в курс, коренным образом перевоспитался и переориентировался — и насчет продвижения, и насчет баланды и прочих радостей бытия, но в тот первый день...

«Я тут долго не пробуду, — испытывая некоторую неловкость и как бы извиняясь, говорил я симпатичному доктору. — Понимаете, произошло какое-то дурацкое недоразумение». Я готов был подробно рассказать доктору — вероятно, свою незапятнанную биографию, ибо больше рассказывать мне, в общем-то, было нечего. Но чуткий доктор избавил меня от этого. «Конечно, конечно, дурацкое, вот именно, — живо подхватил он. — И дай бог, чтобы вас поскорее отпустили. А пока вы еще не ушли, сделайте милость, скажите хоть в двух словах: что там, на в о л е, — не сплетни, не слухи, понимаете, а только официальные сведения из газет и по радио, новости искусства, спорт, какие новостройки, какие события в мире... Вы ведь читаете газеты?»

Отвечал я более чем сдержанно, односложно. Читаю. Шестая партия с доктором Ласкером отложена в ничейном положении. Открыта новая станция метро — Смоленская. Опубликованы основные данные принятого по конкурсу проекта Дворца Советов. Днепропетровский завод осваивает для строительства новую марку сверхпрочной стали — ДС. Статуя Ленина на вершине здания будет стометровой, в верхней ее части разместится библиотека. Опубликован документ, излагающий программу совместных действий социалистов и коммунистов Испании. В Мадриде — без особых перемен, а под Сарагосой упорные бои. Наши взяли какой-то сильно укрепленный пункт — не то Кон... не то Кен... — «Кинто?!» — перебил меня радостный возглас седого военного, — я думал, он спит давно.

...Боже, как стыдно, когда вспоминаешь! Сколько бы отдал я дней свободы (больше давать нам нечего было!) за возможность вернуться к газетам хотя бы последней недели, чтобы не выглядеть таким ничтожеством — в собственных глазах! Сколько бы я запомнил, вы зубрил, специально отыскал в подшивках, если б мог знать, как это важно!..

Я ронял свои намеренно скупые слова равнодушно и нехотя, и вроде бы тихо, но слышали и слушали меня, кажется, все. Чуть ли не каждое сообщение вызывало почему-то чью-либо особую заинтересованность, кто-то заметно оживлялся и одаривал меня совсем непонятной улыбкой благодарности. Доктор понял мое замешательство и стал вполголоса комментировать: оказалось, что плотный старичок с белой калининской бородкой клинышком, радостно закивавший головой при упоминании Дворца Советов, — академик такой-то, заместитель начальника этого строительства по научной части. А вон тот дядя в выцветшей гимнастерке — начальник Главугля такой-то. Реакцию седого военного, вернувшегося «с конвейера», мне объяснили два слова доктора: «Сын у него... там...»

Неисповедимы пути твои, господи! Недели, кажется, через три, когда я изрядно продвинулся и от парашаи, и в образовательном отношении, внес уже свою посильную лепту в духовную пищу камеры, обстоятельно и увлеченно рассказав о звуковом кино и, в частности, о работе с оркестром, ко мне подсел худощавый мужчина невысокого роста с на редкость живыми глазами и такими же руками:

— Вы давеча обронили интересное замечание об акустике струнно-смычковых. — Говорил он абсолютно пра-

вильно, но с едва уловимым акцентом. — Вам случаем не доводилось специально заниматься этим вопросом — акустикой скрипки?

Я сказал, что немножко в курсе опытов, проводившихся в электроакустической лаборатории Берлинской консерватории.

— У доктора Траутвейна? — живо подхватил собеседник.

— Да, у автора «Граутониума», если вы слышали.

— Ну, как же! А вам со скрипками «Гра» встречаться не доводилось?

— Еще бы! Я присутствовал даже при знаменитом испытании: за занавесом играли шесть скрипачей — на Страдивари, Гварнери, Амати и на трех скрипках «Гра», и эти последние набрали больше очков, чем классические.

— Ладно, давайте знакомиться: Фридрих Гра, до недавнего времени — сотрудник ЦАГИ, мы там те же законы (помните? полировка деки...) на пропеллерах испытываем... Испытывали... Теперь уж без меня испытывают: я перешел в шпионы...

...Боже, как стыдно, когда вспоминаешь! Я-то, грешным делом, полагал, что «Гра» — это какое-нибудь шифровое обозначение вроде нашего АНТ или там ГУМ...

Вскоре я сменил папиросы на махорку: дешевле и приятнее. Рассматриваю как-то пачку и замечаю (должно быть, вслух), что упаковка точно такого же характера, как у осьмушки чая. Неужто, думаю (или, вернее, рассуждаю вслух), и махорку стали на блаховских машинах расфасовывать? Машина-то умная и дорогая, мы на экскурсии были, знаешь, целый блаховский цех — огромное работающее предприятие, а людей почти не видно...

— А ты у него самого спроси, — кивнул мой сосед на какого-то старичка (я его, помнится, почему-то считал за священника, хотя был он без бороды и в обычной одежде: черт его знает, почему приписываешь иной раз человеку какую-то профессию или сферу деятельности).

— Почему у него? — переспросил я. — Работал на чайной фабрике? Так я ж про махорку!

Сосед посмотрел на меня то ли с презрением, то ли с состраданием, потом сказал: — Это Блах. Да, тот самый.

...Потом был еще крупный биолог из киевского ВИЭМа, мы с ним обсуждали проблемы генетики, я ведь еще в школе увлекался — смешно сказать! — евгеникой... Потом был известный архитектор. Потом был очень смеш-



ной гномик-толстовед: мы все допытывались у бедняги, какие листочки — кленовые или березовые — предпочитал Лев Николаевич для подтирки, и он давал нам на этот счет самые исчерпывающие справки. Потом был пожилой мастер-сталевар, ничем вроде бы не прославившийся, а сюда попавший из-за того, что во время оно с переляку примкнул к «рабочей оппозиции», о которой я, признаться, ни до, ни после ничего не слышал, а этот мастер если и слышал что, то знал к моменту нашего знакомства уж верняком не больше моего. Потом были крупные и не очень крупные деятели Коминтерна — все больше поляки, венгры. Рослый красавец, о котором говорили, что он из ЦК польской компартии, раза два в день возмущался (с характерным ударением на предпоследнем слоге):

— Какая х...вина опять ходила в сапогах по нарам?!

Нары были, впрочем, чистой условностью: их задолго до нас разобрали и вынесли, а взамен положили вдоль стен листы фанеры, фанера все же считалась за нары, которых не хватало, многим приходилось лежать на каменном полу. Система продвижения от параша «вверх» предусматривала, разумеется, и переход — со временем — с голого пола на фанеру. Это уж был высший класс.

...Я слушал эти имена, смотрел на этих людей и чувствовал себя ничтожеством, полным нулем: они все — кто-то и что-то, а кто никто и ничто, тот хоть к «рабочей оппозиции» причастен или хоть спал со шпионками, как этот Поль: был у нас такой пижонистый лопух, дурак дураком, фотограф по профессии, — так его прихватила случайно милиция в кустах на Ленинградском шоссе, где он предавался любви с какой-то красивой, по его описанию и представлению («ляжки — во!»), дамой. Вспугнул их свет фар милицейского мотоцикла. Она, дура, вскрикнула, а то бы их и не заметили, говорит Поль. Еще он говорит, что ее-то отпустили, а его забрали — из-за фотоаппарата, а теперь говорят, что она шпионка и что он снабжал ее фотографиями военных объектов.

У меня и такого не было. То есть фотоаппарат был, но его и не тронули и не упоминали. Его и потом не упоминали, я это только к тому, что, когда я сопоставлял себя со своими товарищами по камере, я казался себе пылинкой, пустым местом, форменным недоразумением. Странно, не правда ли: я и на воле встречался с большими людьми, и даже знаменитостями, учился у них и работал, но никогда

не ощущал ничего похожего на «Minderwertigkeitskomplex» — комплекс собственной неполноценности. А тут вдруг почувствовал.

Я потом еще часто убеждался в том, что чувство это было, в общем-то, вполне справедливым, хотя подтверждения лежали уже в совсем иных сферах. Ну, например, когда мы жили в вагончиках на реке Уссури и я в первый раз остался дневалить, я потратил весь день и выбился из сил, пытаюсь нарубить дров, чтобы истопить к возвращению бригады печку-буржуйку. Дрова были совсем рядом, в пятидесяти шагах от наших вагонов: сплошная роща каких-то длинных жердей толщиной с мою кисть, без единой веточки или сучка, — впрочем, я и сейчас не знаю, что это за древесная порода такая, — к ботанике я вообще равнодушен. Я знал из литературы, что нужно взять топор, — и взял, конечно, колун: он показался мне солидней, а разницы между топором и колуном я не знал, у нас этого не проходили. Не знал я, что рубить надо наискось, не поперек ствола. В общем, когда бригада вернулась — уставшая, продрогшая и промокшая до костей, — в мой адрес и в адрес вообще интеллигенции поступило немало справедливых упреков, и хорошо еще, что только устных. Дядя Миша, добрая душа, взял топор и только успел сказать: «Смотри», как из-под его руки свалились, словно скошенные соломинки, с десятков отборных жердей. Мы их перетащили к вагончику, и тут он еще за минуту накрошил их, как лапшу, на аккуратные поленца — успевай только подбрасывать в топку.

...Боже, как стыдно, когда вспоминаешь! Может, и в нашей тяге к дю Вентре одним из подспудных стимулов соучаствовало желание самоутвердиться, испытать: на что ты способен? Не знаю: об этом мы с Юркой никогда не говорили, да и когда мы с ним познакомились, каждый из нас уже чему-то успел научиться — не только дрова колоть, но и этому тоже.

А тогда, в самом деле, я был еще зеленым юнцом и не знал и не умел простейших вещей. Я не знал, что «объявить голодовку» — сентиментальная чушь прошлого века, потому что нынешняя техника питательной клизмы практически доступна любому санитару, для этого не надо даже переводить арестанта в тюремный госпиталь. Я не знал, что у следователя есть определенный план — не стратегии следствия, а план в смысле производственном — то есть что он обязан ежемесячно обеспечить бесперебойную отправку определенного контингента арестованных если не

на суд (за отсутствием состава преступления), то хотя бы в лагерь. Через Особое совещание, через «Тройку» или как там уж придется, но все равно обязан, — если не хочет сам попасть за решетку. Я не знал еще формулы «у нас ошибок не бывает». Я не знал, что нет на свете ничего вкуснее черного хлеба, хотя бы и тюремного.

...Вскоре вслед за мной в камеру ввели — нет, втолкнули, швырнули человека в форме НКВД, с которой нарукавный шеврон с эмблемой сорвать не успели. Утерев кое-как кровь с лица и переведя дух, он улыбнулся и сказал:

— Пустите-ка, ребята, на нары вне очереди. Стажа набрать все равно ж не успею: сами понимаете, с нашим братом разговаривают иначе, чем с вами...

Ночью его увели — по формуле «с вещами», которых у него не было. Даже обуви не было, он пришел в носках.

Я точно помню: никто в камере не сказал ничего насчет скорпионов в банке или чего-то такого, что так напрашивалось, как мне представлялось. Этого я тоже еще не знал — насчет всякого скоропалительного комментирования. Я-то прежде «за словом в карман не лазил», как это называется. А надо, оказывается, лазить. И лучше лазить подольше и совсем не вытаскивать никаких слов, чем выпаливать первые попавшиеся. И не потому вовсе, что «молчание — золото», а потому только, что, пока ты молчишь, ты и людям и сам себе не так противен.

Сказать мало слов — это не значит сказать мало. Может, наш дю Вентре избрал сонет за его априорное мало-словие? Не знаю, мы и об этом с Юркой никогда не говорили. Юрка вообще-то производил впечатление человека скорее молчаливого — в общем, не мне чета. Но я-то знаю, что говорил он не так уж мало. Если, разумеется, мерить не количеством слов, а их содержанием.

И еще я не знал и даже мысли не допускал, что можно, оказывается, получить десять лет — хоть за дело, хоть «ни за что ни про что», это мне казалось второстепенным, — и остаться жить. Жить — это ведь работать, любить, увлекаться поэзией и музыкой, или выращиванием кактусов, или собиранием билетиков с шестизначным номером, сумма цифр которого... А в тюрьме или лагере — разве это жизнь?

И что такое жизнь?!

Советы дю-Вентре

Тетрадь II

И.А.Б.А.П.



*Агrippе д'Обинье*

Сто лет спустя школяр или поэт —  
Не Альда ли Мануция потомок? —  
Из недр архивных извлечет на свет  
Моих сонетов уцелевший томик.

Сквозь мрак веков, раскрыв забвенья гроб,  
Воскреснет дю Вентре на книжной полке.  
Ханжи-философы нахмурят лоб,  
А молодежь полюбит втихомолку:

Я гнев и гордость властно в ней зажгу —  
Пускай без страха вденет ногу в стремя,  
Пусть бросит жизнь наперерез врагу!..

Как колокол в дни бедствия звеня,  
Стихи мои встают навстречу дням:  
Готовься к бою, сумрачное Время!

Палач купил в Марселе обезьяну:  
«— Ну что за умница! и так ловка!  
Вот будет радость деток велика,  
Когда ее учить проказам стану!..»

Недолго терла бойкая плутовка  
Хвостатым задом школьную скамью:  
Стащила у хозяина веревку  
И... за ночь удушила всю семью.

...Болтают, обезьяны входят в моду.  
Я слышал: не жалея средств и сил,  
Карл Валуа готовит для народа  
Забаву наподобие Васси.

Молитесь, дети: Господи, спаси  
От обезьян де Гизовой породы!

---

---

**НАПРАСНЫЙ ТРУД**

---

---

Бог сто веков наводит свой порядок:  
Послал потоп, на ранги разделил  
Господ и чернь, непьющих и кутил,  
Завел чертей и ангелов отряды —  
Порядка все ж никак не водворил:

Воруют все, кинжалом сводят счета,  
Принц с девкой спит, с маркизою — пастух,  
Империями правят идиоты,  
Попы жиреют, мрут в нужде сироты,  
И Господа ругают хамы вслух.

...Когда дворцы и церкви будут срыты,  
Порядок водворится — без господ:  
Давно подозревает мой народ,  
Что лучше быть не набожным, но сытым.

---

---

**ВОРОНЬЁ**

---

---

Гиз-дурачок и жирный кардинал,  
Святейший Лис, сколачивают Лигу:  
Готовят нам, французам, рабства иго,  
А Родине — кровавый карнавал.

Их королева-мать снабжает ядом,  
Брат короля им свой совет несет,  
Испанцы платят золотом за всё —  
Каких еще помощников им надо?

Попы, солдаты — каждый рвет свое.  
Над трупами жиреет воронье,  
И бродят по дорогам толпы нищих.

Растут нужда и горе с каждым днем.  
Когда ж ты поумнеешь, Жак Боном?  
Не время ль кулаки размять, дружище?

Огнем и сталью пахнут эти дни.  
Кресты, костры — и кровь. Идет охота:  
Католик убивает гугенота  
Под колокол аббатства Сен-Дени.

Король перебирает зерна четок,  
Француза на француза натравив...  
Смотри, мясник, — не сбиться бы со счета!  
Смотри, не захлебнуться бы в крови!

Я все не верю: правда или бредни  
Весь этот ад? Чтоб жизнь свою спасти,  
Наваррский вынужден идти к обедне!  
А Колиньи переплывает Стикс...

Придет ли день, когда в стране моей  
Не станет ни попов, ни королей?!

Замок тяжелый на сердце повешу,  
Запру на ключ рой мыслей и страстей.  
Все, чем был счастлив я, все, чем был грешен,  
Укрою в тайниках души своей.

Без клятв — к чему слова? — кинжал из ножен!  
Тверди варфоломеевский урок!  
Пусть не уймется гневный твой клинок,  
Пока ты жив, а враг не уничтожен!

Сломил кинжал — хватай с дороги камень,  
Рази врага прадедовской пращой,  
Колом, зубами, голыми руками  
И, обезумев, — бешеной слюной.

...Мечты, любовь и все, что мне любезно,  
Замкну на ключ, и ключ закину в бездну.

Сквозь дым — неумолкающий набат,  
И пламя, жадно лижущее стены,  
И окровавленные волны Сены,  
И крики, и горящих трупов смрад...

Под сенью ночи в переулках рыщут  
Повязки белые — из дома в дом.  
Во всех домах, отмеченных крестом,  
Святым крестом указана добыча!

Набат, набат!.. Благословляет небо,  
Попы благословляют и король —  
Детей и женщин льющуюся кровь,  
Весь этот черный бред, всю эту небыль...

Где брат твой, Каин? Ты молчишь? Убит!  
Чья кровь клеймом на лбу твоём горит?!

Ты будешь спать. Не потревожат сон  
Ни яростный набат Варфоломея,  
Ни вопли жертв. Умолк последний стон.  
Приказ исполнен. Жертвы коченеют.

Ты будешь пить. Не обратится в кровь  
Твое вино, и призраком Медузы  
Пред королем своим не встанут вновь  
Изрубленные на куски французы.

Ты будешь жить. Забудь про эту бойню,  
Спи, пей, молись, повелевай спокойно,  
Пока Судьбы не грянет приговор:

Взойдут плоды кровавого посева —  
Для новых битв отточим шпаги гнева,  
А для тебя, король-мясник, — топор!



Еще и сорока нельзя вам дать:  
И ручки пухлые, и голос жирный...  
Мильон экую за тайну эликсира  
Вы заплатили, королева-мать!

Его варил астролог Нострадамус,  
Мессер Рене на ядах настоял;  
Монлюк, де Гиз, Таванн и кардинал  
Размешивали грязными руками.

Бокал бессмертья полон до краев —  
Вдова сосет, захлебываясь, кровь  
Шестидесяти тысяч гугенотов...

Врешь, ведьма, — ты не доживешь до ста!  
Я вижу день — народ сметет, восстав,  
И королев, и королей со счетов!

Во мраке факел чертит дымный след.  
Шаги слышны: солдат прошел дозором.  
О камень гулко звякает мушкет.  
Звонок вдали. И тихо. Полночь скоро.

Храни Господь от королевских слуг,  
Храни от молодцов прево проворных!  
Пусть не уйти мне от загробных мук —  
Уйти б хоть от ворон в сутанах черных!

Куда идти? Эдикт — на всех заставах,  
Слепые окна — на запорах ржавых.  
Отряд, вооруженный до зубов...

Всю ночь по городу брожу тревожно,  
И следом — Смерть, товарищ мой дорожный,  
Торопится в истоптанных сабо.

Носитель обесславленной короны  
Послал курьера к мастерам Кремоны —  
Купить секстет скрипичный повелел.  
И вот оркестр — у грязного престола.  
Ханже и мастеру заплечных дел  
Колдун-скрипач наяривает соло.

Рыдают струны, ангельски звеня...  
Отменный корм! — но явно не в коня:

Виолы трель не по душе вампиру —  
Ему нужны не скрипки, а секиры,  
Костры, и кровь, и черный ад кадил!  
О, если бы ты знал его, Амати,  
Столетней горной ели ты б не тратил —  
Ты гроб ему б сосновый сколотил!

Дырявый плащ, засаленная шляпа,  
Круг на плече с гусиной красной лапой...  
Услышав стук трещотки роковой,  
В испуге сторонится даже нищий.  
Нет ни ночлега в деревнях, ни пищи...  
Кем заклеимен ты — Богом? Сатаной?

...Пророк ли, прокаженный ли, поэт —  
Анафема! Эдикт! Вердикт! Запрет!

— Эй, берегись: Вентре еще на воле!  
В костер его! Злодей опасно болен:  
Стихами подстрекает к мятежу!

...Гляжу на плащ с гусиной лапой красной:  
И впрямь, я прокаженного опасней —  
Всю Францию трещоткой разбужу!

Паук-судья мне паутину вьет.  
В ушах не умолкает гул набата...  
Молиться? Не поможет мне Распятый:  
Завтра я взойду на эшафот.

Не рано ли поэту умирать?  
Еще не все написано, пропето!  
Хотя б еще одним блеснуть сонетом —  
И больше никогда не брать пера...

Король, судья, палач и Бог — глухи.  
Вчера юре мне отпустил грехи,  
Топор на площади добавит: «Амен».

Умрет Вентре. Но и король умрет!  
Его проклятьем помянет народ,  
Как я при жизни поминал стихами.

Ад в панике. Лукавый зол, как пес.  
Хохочут черти, грешники хохочут,  
Все — вверх ногами, шум унять нет мочи:  
Кто в ад сонеты дю Вентре занес?!

Псалмы забыли праведные души.  
Сам Саваоф торопится на крик:  
В чем дело? — Тише! Погоди, послушай  
Сонет Вентре «Усердный ученик»!..

Проклятье на меня — со всех амвонов.  
С молитвами и похоронным звоном  
Мои стихи сжигают на костре.

Но и в раю, и даже в пекле темном  
И грешники и праведники помнят  
Еретика Гийома дю Вентре!

**MORITURI TE SALUTANT \***

Орел парит над бурей бессильной;  
 Не сокрушить морским валам гранит:  
 Так мысль моя над Смертью и Бастильей  
 Презрительное мужество хранит.

Ты лаврами победными увенчан:  
 В глухую ночь, под колокольный звон  
 Ты убивал детей и слабых женщин,  
 Но я тобой, Король, не побежден!

Я не умру. Моим стихам мятежным  
 Чужд Смерти страх и не нужны надежды —  
 Ты мне смешон, с тюрьмой и топором!

Что когти филина — орлиным крыльям?  
 Мои сонеты ты казнить бессилен.  
 Дрожи, тиран, перед моим пером!

**АГРИППЕ Д'ОБИНЬЕ**

Я знаю, что далек от совершенства,  
 На три ноги хромает мой Пегас.  
 Свои жемчужины, как духовенство,  
 У мертвецов заимствую подчас.

Когда мое перо усталым скрипом  
 Подхлестывает бесталанный стих,  
 Я утешаюсь тем, что ты, Агриппа,  
 Воруешь рифмы даже у живых.

Пожнешь ты лавры, нагуляешь жир...  
 Помрешь (дай Бог, скорей бы!) —  
 скажет мир:  
 «Писал бездарно. И подход без блеска».

Я ж кончу, видимо, под топором,  
 Но скажут внуки: «Молодец Гийом! —  
 И жил талантливо, и помер с треском!»

\* «Обреченные на смерть приветствуют тебя» — этими словами гладиаторы приветствовали Цезаря (лат.).

*Маркизе Л.*

Меня любить — ведь это сущий ад:  
Принять мои ошибки и сомненья,  
И от самой себя не знать спасенья,  
Испив моих противоречий яд...

Далекая моя, кинь трезвый взгляд  
На те неповторимые мгновенья —  
Опомнись! И предай меня забвенью,  
Как долг твой и любовь моя велят.

Не знать друзей, терпеть и день и ночь  
Тоску разлуки, зря томясь и мучась, —  
Зачем тебе такая злая участь?

О как бы я желал тебе помочь,  
Сказав, что мой сонет — лишь жест Пилата!  
Но — я в гробу: отсюда нет возврата.

Жонглер поет «Гийома злые песни»,  
«Мясник!» — мальчишки Карлу вслед кричат.  
Не надо мне ни лавров, ни наград:  
Французам я и без того известен.

Меня де Гиз живьем сожрать готов:  
Над ним Париж смеется до упаду...  
Не надо мне ни славы, ни венков,  
Змеиный шип врагов — моя награда.

Что в почестях! — Ведь узнаёт и поп,  
И нищий, и придворный остолоп  
Мои стихи, как узнают походку.

Что в смерти? — Я плюю на палача:  
Чтоб дю Вентре заставить замолчать,  
Всей Франции заткнуть пришлось бы глотку!

Взлетать все выше в солнечное небо  
На золотых Икаровых крылах  
И, пораженному стрелою Феба,  
Стремительно обрушиваться в прах.

Познать предел паденья и позора,  
Надне чернейшей бездны изнывать, —  
Но в гордой злобе крылья вновь ковать  
И Смерть встречать непримиримым взором...

Пред чем отступит мужество твое,  
О, Человек, — бесильный и отважный,  
Титан — и червь?! Какой гоним ты жаждой,  
Какая сила в мускулах поет?

— Все это жизнь. Приняв ее однажды,  
Я до конца сражаюсь за нее.

Осенний ветер шевелит устало  
Насквозь промокший парус корабля.  
А ночь темна, как совесть кардинала, —  
Не различишь матроса у руля.

Далеко где-то за кормой — земля.  
Скрип мачт, как эхо арестантских жалоб.  
Наутро Дуврские седые скалы  
Напомнят мне про милость короля...

О Франция, прощай! Прости поэта!  
В изгнание несет меня волна.  
На небесах — ни признака рассвета,  
И ночь глухим отчаяньем полна.

Но я вернусь!.. А если не придется —  
Мой гневный стих во Францию вернется!

---

## ГЛАВА 2

---

— А палочки ты мне привез? — допытывается Юрка-маленький, крепко обвив ручонками мою шею. Мы с ним долго не виделись, чуть не полгода, и очень соскучились друг по другу.

Все говорят разом, как всегда, и я все не могу взять в толк, о чем это он спрашивает, да и сам он, видимо, толком не знает, что именно должен был привезти ему папа из своей «командировки», как именовалось для него мое пребывание в Институте туберкулеза. Я угодил туда весной шестьдесят третьего по случаю экссудативного плеврита: здесь, на воле, этакий пустяк хлябает за ТБЦ, подумать только!..

Вдруг пришло озарение, я в лицах увидел такую картину: Света обсуждает вечером с мамой неотложные завтрашние дела и говорит, что в таком-то часу поедет к Яше. Тут Юрка заявляет, что тоже хочет к папе, а мама отмахивается: детям туда нельзя, там палочки... Взрослые продолжают свою конференцию: Юрка на время вышел из игры. Все мы, грешным делом, достаточно многословны и, чтобы зря время не расходовать, обычно говорим все одновременно. Раз это мог Александр Македонский, то и нам не возбраняется, — не выключая собственного фонтана, каждый отлично следит за быстродействующим фонтаном двух, трех и более собеседников. Юрка овладел техникой, по-моему, раньше, чем научился говорить. Вот и на сей раз он, видимо, обдумал и взвесил мамин странный аргумент и решил не вступать в спор, а только удостовериться в самом для него главном: «А папа привезет?» — «Привезет, привезет, помолчал бы ты минутку!» — затыкает его кто-нибудь из взрослых, устремившихся тем временем уже черт-те в какие дали. Да и кто же вникает в вопросы ребенка? Спросил — ответь. «Да» сказать разумнее и проще всего. «Нет» непременно вызовет новый вопрос: а почему нет?..

Вот и запомнил Юрка, что папа привезет ему палочки.

Память у него отменная — хоть это он у меня унаследовал.

...И припомнил я ночи другие, и другие поля и леса, да и времена другие: сорок третий год, Дальний Восток, наш завод и лазарет, в котором плеврит всерьез не принимался — так, нечто среднее между насморком и поносом. Никто с плевритом и не думал бы просить освобождение

(от работы) — не то было время и не то настроение у нас, — а мне не повезло: потерял сознание, да и температура что-то здорово подскочила, хоть ничего и не болело.

В общем, попал я в лазарет. Сознание вернулось ко мне на пятый день. Я открыл глаза и увидел Юрку, пришедшего навестить меня. Впрочем, тогда он был еще не Юрка, а Юрий Николаевич, мы были еще на вы, только-только познакомились. И хотя меж нами не было еще не только дружбы, но и вообще ничего еще не было, если не считать самого первого разговора нашего, — я хорошо помню, что ничуть не удивился, увидев именно его. Вероятно, в моем подсознании он успел уже занять прочное и важное место — иначе я должен был что-то плести насчет предопределения, таинственных явлений судьбы и прочей мистики, которой я чужд. Я не удивился, как сказано, увидев Юрия Николаевича, но почувствовал этакое облегчение, в общем — обрадовался. Какое-то время мы молча смотрели друг другу в глаза — пожалуй, единственный раз за всю нашу дальнейшую жизнь, — потом он спохватился и метнулся к двери: позвать доктора.

Через минуту вошел Григорий Иосифович, наш главный хирург и добрый гений, человек, о котором надо бы складывать баллады... Это он дерзнул ответить грозному начальнику, приехавшему инспектировать завод и обнаружившему, что «слишком много заключенных по пустякам освобождено от работы» в такое горячее время, когда каждый рабочий на счету, — он рискнул ответить, что различает только больных и здоровых, а вольных и заключенных различать их выпуск не учили. Григорию Иосифовичу этот ответ — его слышали десятки людей — мог стоить партбилета как минимум, но наш главный хирург был не из трусливых: к нам он прибыл прямо с Халхин-Гола. Годом раньше, на Хасане, он начал свою военно-хирургическую практику, сам был дважды ранен и принят в партию за незаурядную, видимо, отвагу и мужество. Не знаю, перевели ли его из армии в нашу «систему» просто так или за какие-нибудь грехи, — об этом мы никогда не говорили. Знали только, что он то и дело пишет куда-то прошения об отправке на фронт (шла уже Великая Отечественная), но на Запад он так и не попал, а попал на Восток уже под самый конец, весной сорок пятого, и трагически погиб в последние дни войны, даже чуть ли не после официальной капитуляции Японии. Достигшая нас легенда гласит, что самурай-офицер, над которым Григорий Иосифович склонился, чтобы



осмотреть и обработать его рану, в упор застрелил его из пистолета...

Мы и тогда понимали, что это явная легенда, но понимали и добрые чувства и любовь к нашему хирургу тех, кто создал эту красивую легенду: Григорий Иосифович стоил ее...

Это он научил меня чудодействию — грамотно сделать противостолбнячный укол пострадавшему, например, на лесоповале. Знаете, как это бывает, валят арестанты мачтовый лес (на одной из наших «подкомандировок» — подсобном участке — для нужд строительства), но далеко расходиться им не разрешают, потому что они подконвойные, а конвоя мало. Стало быть, валят они эти самые мачты-громадины на недопустимо близком друг от друга расстоянии. Это я говорю вам как специалист по технике безопасности: когда сняли и отдали под суд нашего начальника по ТБ за то, что по его недосмотру погибли три автогенщика, никто из вольнонаемных не захотел занять этот коварный пост, и мне, вдобавок к другим моим обязанностям «придурка», навесили еще и функции старшего инспектора по охране труда и технике безопасности. В этом ампула приходилось мне ассистировать Григорию Иосифовичу на судебно-медицинских вскрытиях, писать протоколы и прочее, но значительно чаще приходилось мчаться на всякие ЧП, так что я повидал кое-что сверх программы.

На лесоповале рубщику полагается, как известно, криком предупреждать своих товарищей об очередном падении ствола и рукой показывать направление падения. Он, конечно, и кричит, и показывает, но нередко его сигнал совпадает во времени (и, к сожалению, в пространстве) с таким же сигналом другого рубщика, так что другие соседи не сразу могут сообразить, куда кидаться-то. Но, и правильно сообразив, они многого не могут предвидеть: например, что два ствола, падая навстречу друг другу, могут столкнуться, разлететься в разные стороны, причем именно в тех направлениях, в каких отбегают люди, мгновенно оценив первоначальное направление падения. Метровый в комле ствол, или «хлыст», настигает людей, бегущих друг за дружкой, да так их строим и укладываем, вдавливаем в землю — случалось, и пятерых подряд. Снега на дальневосточных равнинах мало, в мачтовых рощах и того меньше, а если куда и наметет его, то не в сугробы же бегут, а по протоптанным тропинкам отбегают... Полагается прежде всего делать каждому пострадавшему противостолб-

нячный укол — не берусь сказать, для чего и почему, но только такая у нас была инструкция. ЧП всевозможных было много, врачей мало, вот и приходилось обучать приемам первой помощи кое-кого из нашей «придурковой» братии, преимущественно из «расконвоированных», пользовавшихся правом хоть какого-то передвижения вне зоны. Делал и я такие уколы, и, несмотря на это, многие выжили. Человек выносил.

А еще Григорий Иосифович спас наш рояль, и это было тоже подвигом, хоть и совсем из другой оперы.

Опера у нас, разумеется, тоже была, и довольно приличная. Инструменталистов, правда, было маловато, и были они самой разной квалификации, но чего не сделает энтузиазм!.. Скрипачей было трое, Валерий Казимирович, наш главный конструктор, был, пожалуй, самым лучшим, хотя на воле не играл до этого лет двадцать, да и скрипку свою выписал в лагерь очень поздно: все казалось ему несолидным и «неудобным» заниматься в заключении какой-то там художественной самодеятельностью... Двух других скрипачей весьма успешно обучил Карлуша, игравший на виолончели. Вообще-то он, Карлуша, был трубачом, но играть на трубе ему мешало кровохарканье, и он решил переквалифицироваться. А своего брата-близнеца Курта он научил играть на литаврах — представьте себе, были у нас и литавры... Если рассказать, как я полгода уговаривал нашего КВЧ (культурно-воспитательная часть) выписать эти литавры, да в какое бешенство он пришел, когда они прибыли и он удостоверился, что литавра — это всего лишь «большая дура», полушаровой котел-барабан, ни на какую «настоящую музыку» непригодный, — ох, это был бы номер для Райкина... Впрочем, из нашего КВЧ мы со временем тоже человека сделали: я позже встречал его уже на посту директора краевого театра драмы: коллектив уважал его за организаторские способности и непонятную (коллективу) осведомленность в вопросах симфонии и оперы.

Еще был у нас саксофон, унаследованный от «освобожденного» ансамбля Центрального КВотдела, каковой ансамбль расформировали и отправили в штрафную колонну — за какое-то очередное разложение. Помаленьку мы этих штрафников поштучно перетаскали к нам, на завод, — преимущественно профессиональных музыкантов, порассовали их на не слишком тяжкие работы (счетоводами, браковщиками ОТК, санитарями, да мало ли «придурковых» должностей на большом заводе!..) и таким спосо-

бом намного усилили нашу самостоятельность. Были у нас и вокалисты — профессионалы и самородки, которых мы воспитали, и не только в плане музыкальном.

Самое трудное дело — придумать репертуар. В нашем случае трудность носила какой-то китайский характер: сплошные мужчины. Мы ставили «фрагменты» из опер — фрагменты, в которых не было женских партий... Доставать партитуры приходилось тоже по-разному, отнюдь не по линии «Ноты — почтой». Однажды знойным летним днем я топал в горку, в город, в Управление: нес месячную отчетность в ЦБРИЗ. Был я в ту пору уже расконвоированным начальником нашего заводского Бюро рабочего изобретательства, и по этой линии подчинялся Центральному БРИЗу, возглавлявшемуся Василием Николаевичем \*, талантливым писателем, впоследствии получившим заслуженное широкое признание. А тогда он, после своего освобождения, предпочел (или, вернее, просто вынужден был) остаться в наших краях, далеко от Москвы, и заниматься, уже в качестве вольнонаемного, административной деятельностью, впрочем, достаточно интересной. Инженер по образованию, он сумел вдохнуть изрядную долю энергии и охоты к творчеству в людей, силою обстоятельств поставленных в условия, отнюдь не располагавшие к изобретательству и рационализации. Он настоял на том, чтобы во главу БРИЗов на местах были назначены местные же рационализаторы — независимо от их статьи и срока, сообразуясь только с их деловыми качествами. Это было рискованным требованием, и Василию Николаевичу в случае малейшей промашки (например, если б кому-то из расконвоированных в связи с назначением на эту работу контриков вздумалось совершить побег) грозили нешуточные неприятности — вплоть до нового заключения: тут уж пахло «организацией»... Но никто из нас, судя по всему, его ни разу ни в чем не подвел.

Начинал я на нашем — тогда еще авторемонтном — заводе слесарем-автоэлектриком, потом занимался хромированием в цехе металлопокрытий — дело было новое, поэтому и возникало множество идей и предложений, которые мы тут же и внедряли. Столкнувшись несколько раз с моей фамилией на поступавших к нему БРИЗовских бланках, Василий Николаевич заподозрил, что речь идет не об

---

\* В. Н. Ажаев (1915—1968) — автор романа «Далеко от Москвы».

однофамильце, а именно обо мне: мы были знакомы в далекие московские времена, встречались у Жени, спорили о поэзии...

Он приехал на наш завод, и когда меня вызвали в кабинет к нашему грозному начальнику, на глазах у него произошла радостная встреча со всякими «а помните?», «а знаете?», так что наконец и начальник наш — он тоже был москвич — чуть не прослезился от нахлынувших воспоминаний. Напускная грозность уживалась в нем не только со здравым смыслом, но и со здоровыми чувствами, например с уважением к непонятной ему симфонической музыке.

Вскоре меня утвердили в новой должности, и вскоре же — не без активной поддержки Василия Николаевича — начальник наш отвоевал в Управлении рояль — единственный в нашем городе, без толку торчавший в клубе Управления.

И вот я по дороге в ЦБРИЗ захожу в какую-то хатку и прошу у старушки напиток. Она мне указывает на кадку в сенцах, накрытую толстым фолиантом в тисненном переплете. Одной рукой я снял фолиант, другой наполнил ковшик — и сразу поперхнулся, облившись студеной водой: в руках у меня был клавишник оперы Даргомыжского «Русалка»! Я спросил у старушки, не продаст ли она мне эту книжицу, но деньги там были не в моде, она предложила обменять ее — на «подходящую фанерку», чтоб кадку было чем накрывать. Ну, мы ей в тот же день соорудили первоклассный цинковый бачок с хромированным краном — загляденье! — и Вася Елистратов, отвозивший старушке этот бачок на очередном ЗИСе (капитально отремонтированные грузовики проходили у нас обкатку за зоной, и Вася тогда был еще обкатчиком-водителем, «законвоировали» его значительно позже, после истории с побегом власовцев), получил в награду, если не врет, стакан самогона — так она была довольна обменом...

Рояль в нашем оркестре играл, разумеется, очень важную роль: оркестр-то, как ни верти, был жидковат. Ухаживали мы за ним, как за любимым дитем: и полировали, и настраивали, и ножки ему сменили, и поупитр... Гроза налетела неожиданно-негаданно, как это и свойственно внеплановым гадостям. После дальневосточных конфликтов приехал к нам не только Григорий Иосифович. Приехали еще и танки, вернее танкетки-амфибии, покореженные в боях: кто-то наверху решил, что, раз мы авторемонтники, мы и с этой техникой справимся. Мы, в общем-то, справились, но только очень помучились с броней: никто не знал, как

ее отжигать, а тем более — как ее снова закалить после механической обработки. Пробовали и то, и се, и на заводы писали, и мне по БРИЗу пришлось конкурс провести — все без толку. Заводы дали понять, что сие, мол, военная тайна, мы вам ее доверить не можем...

К тому времени, когда мы, ценой невероятных усилий, кое-как справились с первой партией танкеток и успешно провели их обкатку (успешно — несмотря на то, что начальник монтажно-сборочного цеха Иван Павлович и с ним один водитель чуть было не утонули у самого берега Зеи: забыли задраить один из люков и стали «форсировать реку» — вот смеху было!), наверху решили, что нас надо превратить в военный завод — не по совместительству, а впрямую. Первым признаком этого новшества (если не считать замены нашего звонкого многобуквенного названия на лаконичный номер) было осязаемое улучшение нашего питания. Вторым — нам прислали новый заказ: велено было срочно освоить выпуск пистолета-автомата системы Шпагина. Разобрались в чертежах, растолкали заказы по цехам, поставили лучших мастеров и — раз-раз! — выложили на стол начальству три пробных автомата, нежно поблескивавших свежим лаком прикладов и чернью вороненых надульников. Только из них стрелять еще было нельзя, в них не хватало одной малости — возвратно-боевой пружины. Не из чего ее сделать было, проклятую. Принесли чертеж пружины, еще раз прочли в графе «материал»: рояльная проволока. Вызвали и меня к начальнику. Сунули мне под нос чертеж — я его и раньше видел и давно уже ждал, что этим кончится.

— Понимаешь, Харон, Родина требует, — начал начальник как-то непривычно мягко и чуть ли не просительно. Мог бы он, разумеется, просто приказать, даже и не ставя меня в известность, — не велика шишка-то! А вот не приказал почему-то, позвал и вроде бы даже советовался. Ларчик просто открывался: если б по его приказу раскурочили рояль, мы бы и пикнуть не посмели, но только нас бы долго никто в клубе больше не видел. А начальник наш отлично понимал, каким огромным стимулом служила наша, пусть скромная, пусть самодеятельная, культпросветработа без всяких кавычек, как она морально поддерживала наш многотысячный коллектив и как в конечном счете благотворно влияла не только на бытовые, лагерные «показатели», но и на производственные.

— Понимаю, гражданин начальник, — ответил я. —

Да только велика ли польза будет? Я ведь смотрел уже, Андрей Дмитрия, мерил: от силы на полсотни пружин хватит, остальные струны коротки или по сечению не подходят. Инструмент разрушим, а план...

— Не надо мне план! — обрадовался Андрей Дмитрий и ч. — И полсотни не надо: мне бы, дурья твоя башка, только эти три штуки укомплектовать, доложить наверх — можем! Спустят нам план, спустят и материалы, я тебе хоть сто метров проволоки верну, хоть тонну! Ты вот что: пойдика, друг, сам покумекай — какие там парочку струн без ущерба особого изъять можно, понял? Чтобы нам и пружины сделать, и на вашей ерале чтоб это не очень отразилось, а? У меня вон трех зубов нет — дык я жую! Ха-ха! А из «ас из самих... а вы, черти, крутитесь, работаете. Чего нос повесил? Ни х... твоей музыке не делается, если захочешь. Вали, действуй.

Юрка острил: прелестный случай проверить на себе чувства Авраама в минуту, когда иудейский бог повелел ему совершить заклание Исаака... Я вяло поддерживал: прелестный случай явиться ангелу Господню и отворотить наши кусачки и пассатижи от бедного старого Блютнера. Но ангел не явился. Пружины были сделаны, наши три ППШ были опробованы, снабжены новым заводским клеймом и куда-то отправлены, и никакого плана на них, а тем более — никакой рояльной проволоки мы не получили, заводу предложили срочно перестроиться на массовый выпуск совершенно других штучек, которые конспирации ради в переписке именовались «молотками».

Молотки эти надо было делать из специального чугуна, а у нас не было литейной. Не было и литейщиков. Не было никаких лабораторий для такого производства, ни станков для обработки самих молотков, ни инструментов для изготовления изложниц, — в общем, ничего у нас не было, — кроме разве такой малости, как чувство долга. Шла уже война, и каждый из нас написал уже свои два десятка заявлений с просьбой об отправке на фронт, и все уже поняли, что нам — контрикам — не светит «искупить своей кровью», а тем более что-то там «доказать с оружием в руках» насчет нашей преданности и верности. Оставалось проявить любые благие намерения в почетном тылу, на важном участке обеспечения фронта боеприпасами. Вот мы и проявляли, как могли, — большинство из нас очень скоро убедилось, что нам не придется краснеть за то, что мы «отсиживались в тылу».

Пафос хорош, на мой вкус, только в подлиннике, в момент и на месте своего изначального проявления, когда его непосредственные виновники сами едва ли осознают его. В любом пересказе и изображении пафос выглядит псевдопатетикой и дурно пахнет. Моих сил, во всяком случае, никак не достанет на воссоздание мало-мальски достоверной картины нашего завода в те решающие дни, так что я и пытаться даже не буду. Скажу только, что за сорок дней мы — несколько тысяч контриков и тридцать два вольнонаемных — спроектировали, выстроили и пустили в эксплуатацию литейный цех с тремя вагранками, землеприготовительным отделением, сушильными печами, заливочным залом с полусотней металлических изложниц (кокилей), отжигательными печами, обрубным барабаном и виброочистителями — э, да разве все перечислишь! Кирпичное здание было еще без крыши, ее заменял огромный брезентовый навес, а первая вагранка уже давала чугун, и первые ковши уже заливали чугуном наши кокили — тяжелые, неуклюжие, но все же выдававшие янтарно-огнедышащие «молотки»...

Это были поначалу еще «малые молотки», 82-миллиметровые. Вскоре же нам снова пришлось перестраиваться — на «большие, полковые, калибра 120 мм», весившие уже свыше пуда каждый. Но и для тех и для других надо было еще отлить и запальные стаканы — деталь тонкостенную и довольно капризную. В том же темпе освоили мы и запальники и вслед же за этим взялись за оборудование второго порядка — за изготовление изложниц для отливки кокилей. Очень скоро к нам, в нашу глухомань, приезжали за опытом люди из центра, из самой Москвы: мы первыми придумали и построили заливочные конвейеры — один рельсовый, импульсный, а другой карусельный, с непрерывным циклом...

Идиотская идея карусельного конвейера пришла, признаться, мне первому в голову, но только не как вещь в себе, не в абстракции, а лишь по логике дальнейшего усовершенствования ряда операций, осуществленных Васькой Елистратовым с его откатным заливочным станком. Началось все с того, что Васька опять где-то напился, наломал дров на своем ЗИСе и угодил сперва в кандей, а потом — в виде штрафа — в литейный цех. Долго он там не пробыл: он был бытовик, честный бандюга, отличный автомеханик, его сам бог велел держать на обкатке, где бесконвойных работяг не хватало. В первые же месяцы войны всех бытовиков,

годных к строевой службе, у кого срок был не слишком велик, отправили на фронт. У Васьки рука была переломана, его не взяли; так и пробыл бы он на самой — по нашим понятиям — выгодной работенке обкатчика, если б не его перманентное невезенье.

Попав в литейный цех, он попросился сразу же на самую тяжелую работу: знал, где быстрее грехи замаливаются. Поставили его с напарником на кокиль. Представьте себе два тяжеленных чугунных бруска, лежащих друг на друге, с двумя полуизложницами в каждом. В собранном виде эта махина служит формой для отливки двух «больших молотков». Через несколько секунд после заливки чугун схватывается, верхнюю часть кокиля ломиками отрывают от нижней, поднимают, откладывают в сторону. Потом нижнюю плиту с двумя огнедышащими отливками поворачивают на осевых цапфах и выколачивают из нее отливки. Отливки утаскивают в сторону на обрубку, очистку и отжиг, но это делают уже другие рабочие. А кокильщики охлаждают свой станок водой из шланга, потом смазывают чугунопроводящие канавки раствором огнеупорной глины, потом опрокидывают обе половины хвостовиками кверху и покрывают его копотью — вначале коптили простейшим мазутным факелом, а потом на конвейерах мы приспособили ацетиленовые горелки. Затем в нижнюю часть кокиля вставляются два земляных стержня («шишками» мы их звали), верхняя плита опускается на нижнюю, и запираются они замком. В заливочное отверстие вставляется еще футерованная воронка — «литник», и кокиль готов к приему жидкого чугуна. Все бы в этом цикле было ничего, да вот только такие мелочи, как снять, поднять, опрокинуть, опустить, — все они касаются дурынды весом в 120 кг. Помножьте это на температуру (чугун разливается кипящий, 1120°, и быстренько «греет» кокили докрасна), на брызги металла, на копоть и смрад от горящего стержня (формовочная земля замешивается на тлеющих и жировых веществах) — и вы поймете, что работать на кокиле — это вам не печенье сортировать.

Когда Васька пришел в цех и глаза его и уши малость пообвыкли, кокили были все же похожи скорее на орудия пытки, нежели на промышленный агрегат XX века. Это сходство с чем-то средневековым усугублялось еще и тем, что к тому времени над каждым кокильным станком соорудили этакую виселицу из швеллера: парой роликов и тросами с противовесом пытались как-то облегчить подъем



и опускание верхней плиты. Посмотрел Василий Иванович на эту махину, покачал головой и... стал работать. Проработал до обеда, а в обеденный перерыв пошел к мастеру — узнать норму и договориться насчет «аванса»: ему, видите ли, надо было «малость посообразать на сварке», — он этот ишачий труд на кокилях обозвал очень нехорошими словами и пообещал (или погрозил, это будет вернее), что... в общем, вот увидите!

Мастер знал Васю и решил поверить, то есть проавансировал ему — сначала этот день, а завтра, когда увидел, что к чему, еще два дня. На сварке Елистратов поковырялся часа два, а потом прибежал за мной: нужна была токарная и фрезерная помощь и наш БРИЗ располагал на этот счет кое-какими производственными резервами. Васины объяснения я текстуально воспроизвести не могу: во-первых, главное в них — жесты. А во-вторых, вся-то терминология наша была скорее лаконична, нежели... ну, короче сказать, «фигня» и «хреновина» были в его лексиконе, пожалуй, самыми безобидными и расплывчатыми обозначениями. Но мы понимали друг друга с полупамята (мы — это я и Юрка, которого к тому времени я уже перетащил конструктором к себе), да и сама идея была проще простого. Вместо того, чтобы поднимать да опускать кокильную плиту, Елистратов предлагал откатывать ее — кидать на тележку да и катать туды-сюды. Он сварил уже рельсовое основание и самое тележку: рельсами служили два уголка, а колесики тележки — шкивы вентилятора с машины «ЗИС-5», кучей валяющиеся в утиле. Дело было за малым: выточить направляющие — «ловители», которые точно направляли бы одну плиту на другую, да еще придумать удобный рычаг для поворачивания двух собранных плит на 90 градусов в вертикальное положение.

Юрка занялся ловителями, я — рычагом подъема. Внезапно мне вспомнился замок-защелка на патефоне «Ленинград» (что вы там ни толкуйте, а музыкальное образование иногда тоже помогает; и терпентин на что-нибудь полезен, как сказал Козьма Прутков), и я побежал наверх, в наш техотдел, просить Валерия Казимировича срочно прикинуть сечение п-образного рычага, которым можно бы поднимать кокиль в сборе. Валерий Казимирович соображал, конечно, быстрее всех нас, взятых вместе, — не зря же он четверть века читал свой предмет в Воронежском университете, — через минуту он уже звонил на склад метизов узнать, какие трубы имеются в наличии. А еще через

час легкая дюймовая труба была уже согнута, к ее концам были приварены планки с осевыми отверстиями и — моя гордость! — тяговые болты с патефонной защелкой.

К ночи мы собрали первую тележку с кокилями и всеми причиндалами. Вхолостую, на бетонной площадке, где мы ее сваривали и регулировали, она работала «как часы», выглядела весьма эффектно и даже, я бы сказал, «изящно» — не сравнить с действующими в цехе страшилищами! Оставалось проверить, как поведет она себя «под металлом», как отразятся на ней температурные и механические воздействия и, главное, как будет чувствовать себя рабочий, ее обслуживающий. Потасили мы ее в литейный.

Работала ночная смена, с планом дело не клеилось, так что сменный мастер только отмахнулся, когда Василий Иванович попробовал было договориться с ним насчет подноски стержней и чугуна. Мы его послали туда же, куда он нас, и решили сами попробовать. Поставили нашу тележку в сторонке, натаскали запас стержней, литников и фильтров, потом сунули в кокили пару горячих отливок, вышибленных из соседнего станка, — кокили надо разогреть перед работой. Потом Вася стал к своему станку, а мы с Юркой пошли за чугуном. Принесли, залили, выждали пяток секунд — трах! — Васька рванул рычаг, кокиль грохнулся на тележку и от этого удара слетел на литник, и откатилась верхняя плита, а нижняя, с двумя сверкающими отливками, покорно опрокинулась вверх тормашками, так что осталось лишь стукнуть по двум хвостовикам малой кувалдой — и два свежеиспеченных «молотка», по пуду весом каждый, легли на песок рядышком, как две золотые рыбки...

Вася смазал канавки глиной, быстренько закоптил все четыре полукокиля, толчком опрокинул нижнюю плиту, ловко посадил на место пару стержней, снова наклонил плиту и стал мягко — чтобы не стрясти хрупкие земляные стержни — «накатывать» верхнюю плиту, а проще сказать, медленно поднимал «дугу», как мы окрестили трубчатый рычаг. Конические направляющие хорошо вошли в улавливающие отверстия, плиты бесшумно и как-то по-современному «технично», ладно сомкнулись, Вася совсем пригнул дугу, замок мягко щелкнул — одной рукой он поставил собранный кокиль в приемное положение. Мы сияли блаженными улыбками, мы готовы были плясать от радости, но Васька обложил нас: «Чугун давай! Мне же аванс отрабатывать, туды-растуды!» — и мы с Юркой пошли со своим рогачом к вагранке.

Рогач — это такая штука вроде носилок: две пары рукояток, одну держит один носильщик, другую — другой, а посредине железный ковш, вымазанный огнеупором. Ковш подставляется под летку вагранки, струя чугуна наполняет его, и носильщики прут его к кокилям или на площадку фасонного литья — вдоль и поперек всего цеха. Ковш вмещает чугуна чуть больше, чем нужно на два кокильных станка или на четыре отливки, примерно семьдесят кг. Самый ковш и рогач тоже кое-что весят, но дело даже не в тяжести, а в характере груза: это ж кипящий чугун! Спотыкаться, задевать что-либо, идти с напарником не в ногу — все это грозит расплескиванием, страшными ожогами. Без тренировок на этой работенке долго не выдержишь, и мы с Юркой спасовали довольно быстро. Притащив очередной ковш, мы поставили его у Васькиного станка, он швырнул на чугун горсть песка (чтобы шлак схватился в корочку), взял в руку металлический совок, именуемый лопаткой, которым придерживают шлак в ковше во время заливки кокиля, и бросил свое: «Давай!» Но мы с Юркой сидели на земле против своих рукояток, тупо глядели на ковш и не в силах были подняться. Васька плюнул и пошел звать соседей. Пока они заливали его кокиль, Юрка мечтательно заметил:

— Вот так Вулкан ковал оружие богу...

— Персей Пегаса снаряжал в дорогу, — подхватил я, еле ворочая языком. В гуле и грохоте цеха, на расстоянии пяти метров друг от друга, мы, разумеется, не шептали, а орали, и все могли нас слышать. Но никто не слушал, каждый был занят своим огненным делом. Васька уже рванул рычаг, и чудо рождения солнечных отливок — рождения легкого, безо всякого напряжения, изящного и радостного — вновь свершилось на наших глазах, слезящихся от гари, копоти и жары.

— Пошли спать, — сказал я ребятам, — на сегодня, пожалуй, хватит. А завтра...

— Завтра ставьте мне шесть тележек, — сказал Елистратов, — и пусть переводят полцеха на другую работу: один справлюсь.

Вокруг нас толпился народ: молва о новом заливочном станке облетела цех, и многие урывали минуту — поглядеть собственными глазами. Уйти нам удалось не раньше, чем Васька выбрал себе достойного сменщика, проинструктировал его — хотя, собственно, инструктировать было нечего: все каждому было ясно с первого взгляда, так что основное содержание инструкции сводилось к тому, что

в случае порчи-поломки или иного признака неуважительного отношения к станку сменщику будет оторвана голова.

Через неделю заливочное отделение узнать нельзя было: на смену виселицам пришли удобные тележки. «Откатной кокильный станок Елистратова» называлась эта конструкция в официальных документах, автора премировали и представили к досрочному освобождению, которого он, впрочем, так и не дождался. Но сам станок дал толчок для новых поисков. По инициативе Алексея Васильевича, начальника нашего техотдела, Валерий Казимирович и большая группа конструкторов начали проектирование рельсового импульсного конвейера на базе модернизированного кокиля, а еще раньше — собственно, в первую же ночь, когда родилась Васькина тележка, — мы начали придумывать наш карусельный конвейер на базе тележки.

Мы — это Иван Павлович, вольнонаемный начальник цеха, инженер-технолог Сергей Иванович и аз грешный, который и был инициатором этой авантюры, как ее вскоре прозвали техотдельцы.

Обе идеи исходили из очевидного соображения, что выгоднее будет не чугун таскать к кокилям, а кокили подавать к вагранке, к чугуну. Любая система предполагала замкнутый цикл, в котором и все прочие операции — выбивка отливок, охлаждение кокилей, их подготовка, зарядка стержнями и т. д., равно как все операции по профилактике, техосмотру, промеру рабочих параметров, — тоже имели бы свои постоянные места или посты. Моя идея фикс состояла в том, чтобы создать большой диск — нечто похожее на патефонный, но не приподнятый над уровнем пола, а утопленный вровень с ним. По внешнему периметру диска радиально-симметрично можно бы расположить полтора-два десятка откатных станков... Медленно вращаясь, диск катал бы станки и рабочих вдоль специализированных постов... и каждый пост можно бы оборудовать собственными вспомогательными устройствами — например, оттаскивание горячих отливок поручить ленточному транспортеру, а над постом копчения установить вытяжную вентиляцию, и т. д.

Ивану Павловичу идея показалась заманчивой, а Сергею Ивановичу — слишком заманчивой, то есть попросту утопической. Тем не менее оба они с головой ринулись в ее осуществление, хотя и понимали, чего это может нам стоить. Собственно, никаких особых препятствий в виде бюрократических или перестраховочных рогаток у нас не

существовало. Мало того, любая инициатива активно поддерживалась буквально всеми — и сверху, и сбоку, и снизу. Но тут дело заключалось в том, что для реализации нашей задумки — не на бумаге, а в натуре — необходимо было ведь освободить какую-то площадь цеха, и без того битком забитого оборудованием, цеха, каждый квадратный метр которого круглосуточно работал на всевозрастающую программу. Нечего было и думать о хотя бы временном сокращении этой программы: «Что ты сделал сегодня для фронта?» — у нас это был ведь не только плакат, это была наша жизненная, глубоко личная программа, наш воздух: единственное осмысление и оправдание нашего существования... В этом отношении коммунистом Иваном Павловичем и нами, контриками, Сергеем Ивановичем и мною, руково-дили, пожалуй, одни и те же простые, ясные, нерушимые мотивы, которые так трудно передать словами, не впадая в псевдопатетику и декламацию. Одним словом, мы и в мыслях не позволяли себе сопрягать постройку конвейера с каким бы то ни было снижением темпов выпуска больших молотков...

Решение пришло не инженерное, а рабочее. От блатных, если хотите знать. На заливку ставили штрафников... Штрафниками бывали преимущественно урки, контрики как-то меньше грешили — или реже попадались, не в этом суть. Так или иначе, но в один прекрасный день Васька Елистратов, бывший в курсе нашей затеи с карусельным конвейером и ставший впоследствии самым активным его строителем, пришел в кабинку Ивана Павловича и молча, как всегда, больше жестами, чем словами, чертя своим корявым пальцем на песке возле стола, набросал схему расстановки заливочных станков, требовавшую вчетверо меньше места и позволявшую снимать за смену в полтора раза больше отливок — был бы чугуи!

Схема была гениально простой, с полуслова все ее оценили, и требовала для своего осуществления лишь некоторых, правда, довольно трудоемких, переустройств рабочих мест и потоков в землеприготовительном отделении. Кроме того, надо было прорубить ворота в боковой стене для отвозки отливок, ну, и еще кое-что по мелочам. Но выигрыш — в площади, в людях, во времени — был очевиден; Иван Павлович отправил Сергея Ивановича докладывать главному инженеру и начальнику что к чему, а сам взял рулетку и пошел начинать реконструкцию... Теперь уже ничто не могло остановить нас, и мы не останавли-

вались: фронт требует больших молотков. Много. Очень много. Еще больше. Мы постараемся помочь тебе, фронт. Мы удвоим, если сумеем — утроим количество.

Вскоре мы его удесятерили. Большой молоток под символическим номером 3 000 000 мы сделали хромированным, покрыли его лаком, сделали для него изящную подставку и ящик, выстланный бархатом, и на дарственной медной табличке установленного образца выгравировали купные слова благодарности вождю и учителю.

Но это все было потом, а в те первые горячие денечки мы попросту переселились в цех: глупо было ходить туда-сюда в лагерную зону ради четырех часов сна...

Когда мы наконец собрали нашу карусель и отладили все ее механизмы вхолостую, когда и тележки были установлены, и разгрузочный конвейер перестал капризничать (мы «учили» его подавать на-гора холодные отливки, а когда накидали в люк горячих, свежееотлитых, он стал барахлить, и мы долго не могли раскусить, где и почему температурные помехи вызывали его заедание), в литейном цехе собрался весь штаб завода. Андрей Дмитрич, при всей своей любви к рационализации (не говоря уже о сопряженной с этим славе, орденах и премиях), был человеком на редкость осторожным, и эта осторожность выглядела порой даже трусостью. Когда весь только мыслимый риск был уже, казалось бы, позади и оставалось только пожинать плоды завершённой работы, он мог вдруг совершить маневр, как Чапаев с картошкой: уйти в глубокий тыл, а в атаку послать другого. Так и на сей раз принял он довольно странное решение.

— Запускать хотите? Валяйте, не возражаю. Только я за вас в тюрьму не пойду. А этим ведь кончится: как же вы, изобретатели х...вы, собираетесь заливицков уберечь от несчастья? Вам что тут — цирк? С чугуном-то прыгать на вашу карусель?! И ты-то, Харон, охрана труда, тарарам-тарарам, ты-то как себе это представляешь, а?!

Возражений Андрей Дмитрич не слушал, поэтому никто ему и не возражал: бесполезно.

— В общем, так: три изобретателя — три сменных начальника конвейера, со всеми вытекающими. Так и в приказе запишем. На это время, Иван Павлович, начальником цеха поставь своего заместителя, технолог — то же самое, и ты, Харон, брось все другие дела. Месяц вам сроку: пойдет ваша карусель — спасибо скажем, а если чуть что — пеняйте на себя. Все.

И стали мы трое сменными начальниками. У Ивана Павловича была семья, жена и дети, поэтому мы с Сергеем Ивановичем взяли себе вторую и третью смены — оно, впрочем, и спокойнее: начальства меньше. Первый пуск начинали втроем. Чтобы успокоить Андрея Дмитриевича, мы ему показали сначала то, что отработали еще накануне: включили конвейер на высшую, восьмую скорость и пропустили четыре пары заливщиков с пустыми ковшами на рогаках по их рабочему маршруту. Надо сказать, что и на восьмой скорости, которую ввели мы не для работы, а как-то ненароком (дело в том, что между электродвигателями и ходовой частью карусели стояли две спаренные коробки скоростей автомобиля «ЗИС-5», как и вся-то конструкция во многом базировалась на хорошо знакомых нам узлах, агрегатах и деталях этой машины), конвейер двигался весьма плавно и медленно, так что перешагнуть на него и с него на пол не представляло ни малейшего затруднения, трудность если и была, то лишь психологического порядка, а ее мы, как сказано, заблаговременно преодолели небольшой тренировкой.

— Ну? — спросил Иван Павлович одними глазами.

— Пошли, — ответили мы кивком и взяли по рогачу: Иван Павлович в паре с Сергеем Ивановичем, я с Юркой, а на первый станок принимать чугун встал Елистратов. Начали с малой скорости, но уже с первого полуоборота стало ясно, что надо переключать на следующую, а потом еще на следующую: Васька Елистратов только успевал прыгать в центральный люк, к рычагам переключения, и обратно на диск. Мы передали рогачи рабочим и стали наблюдать да подправлять, если что заедало: то отливка слетала с транспортера, то вода подавалась слишком мощно — ее тоже приходилось регулировать соответственно темпу вращения карусели... Пошел наш конвейер, и пошел на славу, красиво, ритмично...

Время от времени слышался грохот, как на скверной сцепке у железнодорожников: это Васька рывком стаскивал в центр какой-то закапризничавший откатной станок и на его место закатывал один из трех резервных. Над капризулей склонялись два слесаря, и через десять минут выбывший станок становился исправным — резервным. Шестнадцать откатных станков работали в заданном ритме, люди на рабочих постах тоже втянулись в ритм: выбивка, охлаждение, смазка, копчение, постановка стержней, сборка кокилей, установка литника и фильтра — все шло как

по маслу, как на всяком конвейере. И хотя мы предварительно считали и рассчитывали, прикидывали и так и этак, мы все же не могли предугадать фактическую производительность карусели, зависевшую не только от собственных ее возможностей, но и от работы вагранок, и, главным образом, от темпа, в котором практически смогут заливщики подавать чугун, не мешая друг другу. И только вот сейчас, к концу первой смены, безо всякого подсчета всем стало очевидно: карусель преспокойно забирает весь чугун — все, на что способны вагранки, — так что остальному цеху, работающему еще на стационарных станках, чугуна уже не остается. А поскольку все работяги — на норме, а норма — это ж количество перелитого чугуна, все заливщики помаленьку перебежали на конвейер, и скорость его пришлось еще повышать: темп определяла только заливка, все остальные операции укладывались с запасом времени.

Иван Павлович на ходу переключил освободившихся рабочих на демонтаж оборудования в главном зале — теперь-то можно было широким фронтом начать работы по устройству большого рельсового конвейера.

Все были довольны, начальство сияло, к нам зачастили делегации по обмену опытом, и я тоже сиял — пока не получил под зад и по ноге: взорвалась вагранка.

На этот раз обошлось, в общем-то, легко, без жертв — не то что в первом случае, из-за которого меня женили на технике безопасности. Тогда-то было похуже.

Чем кормят вагранку? Штыковым чугуном, это раз. Стальной лопью, это два. Ну и всякими присадками — ферромарганцем и силицием, известняком. И топливом — коксом. Все эти ингредиенты особых хлопот не причиняют (если не считать хлопот по соблюдению верных пропорций: марка чугуна задается довольно строго, и от содержания в нем кремния или любого иного компонента зависят все его показатели — прочность, сопротивляемость сжатию и растяжению, способность образовывать осколки оптимального размера и т. д.), а вот скрап и лом — дело щекотливое. Сбором металлолома у нас занимаются все, сколько я себя помню. Но в военное время к нам поступал не бытовой и не промышленный лом, а военный: останки самолетов, орудий, танков, мостов, минометов и прочей техники, по преимуществу — трофейной. Первая трудность состоит в измельчении этого товара. (На заводе он называется, впрочем, не ломом, лом — это инструмент, а лопью — по какой-то любопытной аналогии, например, с шахтерской



добычей или, скорее, с употреблением железнодорожного слова путь в женском роде: в отличие от любых иных путей, рельсовый у них именуется путем. Митрич, давай на вторую! — кричит сцепщик, подразумевая вторую путь...)

Стальную лось приходится измельчать до определенных размеров, чтобы можно было загружать ее в вагранку. В нашем случае габариты отдельного куска не должны были превышать 300 мм, и для этого пришлось строить специальный заготовительный цех. Тут автогенщики пламенем резали многотонные скрюченные стальные скелеты на трехсотмиллиметровые куски. Само собой ясно, что боевую технику предварительно надо обезвреживать. Ясно-то ясно, а как это сделать? Не так-то просто... И вот в одну прекрасную ночь нас разбудил взрыв. Снесло часть цеха. От трех автогенщиков остался один, сильно израненный, и еще один лишний ботинок с ногой в нем. Резали ребята шестиствольный немецкий миномет, в стволы которого никто заглянуть не догадался: норма! некогда!

Вот в связи с этой историей сняли моего предшественника, а меня назначили на ТБ. Я чего-то там пробовал наладить в смысле предварительного осмотра, но вскоре бросил эту бесполезную затею: наученные горьким опытом, автогенщики теперь уж сами следили за тем, на что направляли свой резак, — какое-то время, во всяком случае. К моменту, когда я возился с карусельным конвейером, внимание их, возможно, снова ослабло, или просто черт решил пошутить с нами, но так или иначе в вагранку угодило что-то необезвреженное — то ли граната, то ли мина в части ствола, это установить, как вы понимаете, было невозможно. Хорошо еще, что штуковина эта разогрелась и взорвалась довольно быстро, еще в верхней части рабочей колоши, так что вырвала только фронтальный лист обшивки повыше дутьевого короба. Шуму и блеску было много, а разрушений, слава богу, мало. Если не считать, как сказано, что оторванный лист обшивки догнал меня (говорят, это было красивое зрелище) и вдарил пониже спины.

Лучшее средство от ушиба — беспокойство о том, не ушибло ли кого еще. Особенно помогает в тех случаях, когда беспокойство о других диктуется не любопытством, а чувством своей — пусть только юридической — ответственности за происшествие. Так что я сам встал, потирая ушибы, и прежде всего обернулся к вагранке: нет ли еще искалеченных или трупов. Пока останавливали дутье, да спускали чугун, да бегали навстречу, на завалочную площадку, да

звонили начальству, боль улеглась, паника тоже, я передал кому-то смену и пошел в санчасть перевязать ногу. Разрезали брезентовые брюки и валенок, и тут выяснилось, что крови набежало порядком, так что в кандей меня сегодня, скорее всего, не отправят. На всякий случай лекпом уложил меня на койку в стационаре: Иосифовича не было, его куда-то срочно вызвали.

Он вернулся на следующий день и, увидев меня, несканно обрадовался: — Я тебе подарок привез, танцуй! — и он протянул мне странный сверток: что-то плоское, круглое, упругое вроде мотка проволоки. Я развернул пакет — действительно проволока! И вдруг меня осенило: струны, струны для нашего рояля! Откуда, каким образом, почему именно Григорий Иосифович?

— Борзых щенков у него не оказалось, — отмахнулся хирург, — так я залез к нему в рояль: с паршивой овцы, сам понимаешь...

Отлучался Григорий Иосифович, как выяснилось, самолетом по срочному вызову в Хабаровск, какому-то крупному снабженческому начальнику надо было сделать операцию (первый раз он сказал — геморрой, второй раз — аборт, а толком я так и не узнал этого, да меня оно, признаться, не интересовало: просто очень любопытно было, как виртуозно Григорий Иосифович врет — вдохновенно и весело, просто так, от любви к искусству «травить баланду»), и в благодарность пациент захотел озолотить хирурга. И золотой Григорий Иосифович, холостяк-бессребреник, все эти годы проходивший на наших глазах в военном обмундировании и шинельке черт-те какого срока, потребовал за свои услуги... струны для рояля.

Поди разберись тут: что мне Гекуба, что ему наш рояль?

Может, это был просто урок любви к человеку — прощу прощения за выпренность, совершенно неуместную применительно к нашему главному хирургу. И что это за любовь такая, если он зачем-то заставлял меня присутствовать на всех операциях, вызванных производственным травматизмом? Ну, всякие там переломы, вывихи, рваные раны и проломы черепа — это еще куда ни шло, но почему он требовал моего присутствия на ампутациях пальцев?

С пальцами дело у нас было просто страшное. Оно началось в тот день и час, когда мы получили мощные вальцы для вулканцеха и резиновый сырец, который эти вальцы перерабатывали в лист, идущий на ремонт автопокрышек.

Вальцы были как вальцы — сверху посмотреть на них, ничего особого и не увидишь. Ну, два метровых цилиндра диаметром миллиметров по 200, не больше, они медленно вращаются навстречу друг другу, а в узкую регулируемую щель меж ними закладывается резиновый сырец — такая тяжелая, густая замазка, серая, вонючая. Приходила она в ящиках, сплошной глыбой, от нее приходилось отрезать или отрубать топором куски, которые можно бы поднять и положить на вальцы. Сперва кусок пропускается через широкую щель, после первой обминки — через постепенно уменьшаемую, пока не получится лист толщиной в 10—12 мм.

Работа на вальцах считалась не самой тяжелой, на нее было много охотников. Уже первые работники нащупали разумный техпроцесс: сперва нарубить массу на куски, потом пропустить все куски через широкий зазор вальцев, откладывая их в сторонку, потом, уменьшив щель, пропустить всю партию по второму разу, и так до последней операции. Днем все шло нормально, работали в рукавицах, соблюдали грозное правило, вывешенное над вальцами: «Береги руки! Не отвлекайся!», а вот ночью... Ночью утомляемость возрастает, и под утро, когда остается последний прогон, глаза уже слипаются, ноги подкашиваются, рукавичный брезент действует на нервы, да и лопаточкой пользоваться лень: долго ли рукой подтолкнуть? Недолго. И не долго прилипнуть пальцам к резине. И задремать не долго. Правда, как только пальцы сожмет вальцами, ты проснешься, толкнешь свободной рукой или ногой аварийный тормоз — у нас этих тормозов понаставлено было столько, что не задеть тормоз было труднее, чем за деть, — но будет уже поздно, пальцы будут раздроблены на две фаланги полностью, да и третьи фаланги будут изуродованы необратимо. Все это мне и показывал Григорий Иосифович, удаляя осколки кости и накладывая швы на бывшую руку.

— Ну, и много еще таких ты мне будешь поставлять? — говорил он после каждой операции, не ожидая прямого ответа, но ясно давая понять, что акт, который все мы подписывали — и он, и я, и сам пострадавший, и еще много всяких начальников, в котором было черным по белому сказано, что травма получена из-за нарушения пострадавшим элементарных правил ТБ, то есть по собственной вине, — что этот акт для него, как врача и человека, — отписка и больше ничего. Тут дело было не в моей должности, а в моей человечности — я это понимал, мучился и... ничего не мог придумать.

Придумал один пострадавший. Казалось бы, единожды перенеся такое, человек на всю жизнь проникается непреодолимым ужасом перед проклятыми вальцами, даже и смотреть на них не сможет без содрогания. Это — нормальная, внелагерная, психология. А лагерная устроена как-то иначе. Приходит ко мне однажды такой инвалид — устроили его где-то не то сторожем, не то истопником, не помню у же, — и говорит: хочу, мол, снова на вальцы. Я на него уставился, должно быть, как на помешанного. — Идем, — говорит, — покажу.

Приходим в вулканцах, подходим к вальцам. Инвалид отодвигает рабочего, становится на его место и начинает заталкивать резину своей культей, — обернувшись ко мне и радостно улыбаясь: ничего его культю вальцы сделать не могут, хоть силком ее пихай, — она же толстая и круглая...

Да... С тех пор на вальцах работали только инвалиды, потерявшие пальцы здесь же. Норма им, как инвалидам, была небольшая, они хорошо зарабатывали, были довольны, — если только человек без четырех пальцев правой руки может быть доволен.

Больше всех был доволен Григорий Иосифович; вот это решение проблемы было, казалось, совсем в его духе. Он даже обещал написать в медицинский журнал — не знаю, написал ли.

...И вот он вошел ко мне в палату, куда позвал его Юрий Николаевич, когда я очнулся. Он сразу взял в руки чайник-поилку: когда человек долго без сознания, организм сильно обезвоживается, и первое слово, слетающее с уст воскресшего, гласит: пить.

— Ну?! — шагнул он ко мне, лучась доброй радостью.

Я тоже улыбнулся и сказал: — Ку-... курить... — не нарочно, конечно, а просто так — мысли были где-то еще не здесь, да и поилка была ведь тут же, чего уж формализм разводить...

Григорий Иосифович расхохотался. Потом сказал серьезно:

— Будет жить. Х... с ним, сверни ему сигарку. — Сам он не курил.

Я затянулся — и снова куда-то провалился, но, кажется, ненадолго. И вскоре совсем поправился. Когда Юрий Николаевич пришел ко мне в следующий раз, я встретил его уже в полной форме:

— Вспомнил я вашего дю Вентре, будь он неладен!

Вот память никудышная, прямо какая-то деменция пре-кокс — преждевременное окисление мозгов.

— Закисание, — поправил Юрий Николаевич: — Мен-тос — это ум, а деменция — впрочем, раз вы вспомнили, то вам ничего похожего не угрожает... Что же вы вспомнили?

— А вот вспомнил один сонет — не скажу уж, в чьем переводе: «Мороз начистил лунный диск до блеска, Рассыпал искры снег по мостовым...»

Юра дослушал до конца, удовлетворенно кивнул головой и сказал:

— Ну, так чего ж ты тут валяешься?

Так стали мы побратимами. А сантиментов меж нами и позже не было — трудно даже сказать, почему да отчего. Холодноватая, чуть ироничная тональность, взятая Юркой с самого начала и очень понравившаяся мне (потому, может статься, что я за ней почувствовал бездну души, таланта, жизнелюбия, добра), стала нашим нерушимым стилем, для непосвященных совсем непонятным. «Какой магнит друг к другу нас влечет» — этого мы, пожалуй, не смогли бы никому объяснить, а сами об этом никогда не задумывались. Магнит между тем какой-то был, иначе прошли б мы друг мимо друга, как мимо тысяч других проходили.

...Когда прибывала новая партия заключенных — по нашим нарядам ли, или с этапа, свежие, это безразлично, — заинтересованные начальники цехов и отделов приходили посмотреть людей, вернее — их формуляры, чтобы отобрать для себя наиболее подходящих рабочих и специалистов. И я ходил на эти «обнюхивания», как они у нас назывались, — чем черт не шутит, может, попадетсЯ кто-нибудь из артистической братии, нам ведь так недоставало музыкантов, певцов...

— И чем же вы тут занимаетесь? — спросил у меня один из вновь прибывших. Глаза мне понравились — я остановился и не без гордости сказал, что мы, дескать, были только авторемонтниками, а вот сейчас начинаем осваивать всякие оборонные предметы первой необходимости — вон, взгляните: наши танкетки «Т-38».

— Верховное командование поступило разумно, распорядившись перевести нас к в а м , — сказал мой собеседник: — без нас вам просто не справиться.

— А кто вы по специальности, если не секрет?

— Сапер. Техник-строитель с уклоном в береговую оборону. У вас есть тут морские границы?

— Будут. А работа в техотделе вас пока не устроила бы?

— Если в карьере и на лесоповале у вас все вакансии заняты, придется удовольствоваться рейшиной.

Разговорились. Он был ленинградцем. Любил и знал музыку. И поэзию, конечно, — кто же из нашего поколения не любил поэзию? Стали припоминать известные нам переводы 66-го сонета Шекспира, и Юрий Николаевич прочел один очень удачный и мне незнакомый перевод, сказав, что не помнит, чей именно... О том, что это его собственный, я узнал только после его гибели, из тетрадки, сохранившейся у его матери, Ядвиги Адольфовны...

Потом незаметно как-то перешли на французских поэтов XVI века, и Юрию Николаевичу, должно быть, показалось похвальным, что я не только знал какие-то имена, но даже кое-что помнил из Ронсара, д'Обинье, правда, только крохи, отдельные строчки...

— А как вы относитесь к Гийому дю Вентре? — спросил он.

Я напряг свою память, но она безмолвствовала: этого имени там не значилось. Я признался, что тут у меня прокол.

Юрий Николаевич кивнул коротко: так, мол, и следовало ожидать, у нас дю Вентре не переводили — во всяком случае, в XX веке, да и на родине его, пожалуй, знают лишь специалисты.

Через несколько лет Юрка однажды рассмеялся: — Подумать только, что наша встреча могла не состояться, просто лопнула бы, если б тебе, трепач несчастный, тогда, в наш первый разговор, вздумалось брякнуть, что ты знаком с дю Вентре!..

Что ж, мне просто повезло. Свободно мог бы и брякнуть — если б моим собеседником был не Юрка, обязательно брякнул бы.

Излечился я от дешевого всезнайства сравнительно недавно, в середине тридцатых, на конкретном поучительном примере, о котором сейчас расскажу, но рецидивы, конечно, случались.

А пример был такой. Зашла к нам однажды наша общая любимица, красотка Розита, девушка начитанная, остроумная и вообще — на уровне. Шла у нас горячая дискуссия о только что вышедшем романе «Скутаревский», и кто-то спросил с ходу, читала ли Розита «Скутаревского». Розита чуть нахмурила свои бровки и «вспомнила»:

— Скутаревского? Да, какие-то мелкие вещички читала. Любопытно, очень любопытно...

Вот и я мог бы так запросто похлопать по плечу далекого Гийома дю Вентре. Другие-то похлопывали — ого, еще как! Но это уже было много позже, когда мы собрали первый томик, первые 40 сонетов, снабдили их предисловием и портретом автора и разослали весь тираж — все пять экземпляров — нашим московским и ленинградским родным и друзьям, Люсе и Жене и еще кое-кому, а те уж потащили их по всяким маститым специалистам по французской поэзии XVI века...

Но все это было уже много позже, уже отгремела и увенчалась нашей победой Великая Отечественная, и людям на воле постепенно можно было вернуться и к французской поэзии, и ко многому другому, что было на несколько лет отодвинуто в самую даль сознания, а нашему заводу понемногу снижали объем военных заказов, повышая объем мирной продукции, — мы снова были авторемонтниками.

На смену машине «ЗИС-5-ВВ» (ВВ — обозначение модификации военного времени: деревянная скамья вместо пружинно-дерматинového сиденья в кабине водителя, специализированные кузова, средства огнетушения, глубокие фары с синим стеклом...) пришли лендлизовские «студебеккеры», отслужившие свое на фронте и назначенные послужить теперь делу мира — разумеется, после лечения на нашем заводе.

Пришли и новые люди — нового, доселе неизвестного нам качества, державшиеся обособленно и замкнуто. И в лагерной зоне их поместили в отдельных бараках, и на работе держали их как-то под особым наблюдением, смешанным из любопытства, некоторого страха и изрядной доли неприязни, не обнаруживаемой, впрочем, вслух: не полагалось ведь подразделять врагов народа на так называемых и всамделишных, да и кому охота разбирать эти нюансы...

Необычным и потому, должно быть, немного пугающим признаком новичков для нашего лагеря был их срок — двадцать пять! До этого выше червонца у нас никого не бывало, а с червонцем было, пожалуй, процентов девяносто. Считалось, что чем больше срок у человека, тем больше вероятности, что он подумывает о побеге: терять-то ему нечего, и так и этак — пожизненная каторга. Но к контрикам-троечникам успели как-то приглядеться и сообразить,

что эта публика бежать не станет — некуда ей бежать, от себя никуда не убежишь. Так что и отношение к нам — в смысле нашей подконвойности — с годами стабилизировалось в весьма ощутимом соблюдении неких формальностей, не более того. Нас не донимали ночными поверками, прочими нервотрепками, обычными при закручивании режимных гаек. Нас не брили наголо — тех, кто добросовестно работал, во всяком случае. Принудительная стрижка ограничилась в конце концов только клиентурой кандея: кто проштрафился и попал в изолятор, выходил оттуда гладенький, так что резко выделялся на общем волосатом фоне.

А этих новеньких привезли стриженными и часто стригли. Мы знали, что это — власовцы, хотя и не знали толком, кто или что такое сам Власов: официальная информация на эту тему была очень скупой, а неофициальной совсем не было. Попытки сближения с новичками терпели крах: они держались замкнуто, производили впечатление людей очень недалеких, угрюмо напряженных, ушедших в себя и крайне недоверчивых. Те несколько недель, что провели они на нашем заводе, были для нас, старичков, омрачены очередным крушением надежд. После тридцать восьмого года массовых поступлений нигде не отмечалось, и было похоже, что больше такого не повторится, и возникали друг за другом надежды: когда вспыхнула война — не отправят ли на фронт, а когда настала победа — не освободят ли так же легко и просто, как в свое время посадили...

Правда, мы опасались амнистии. Амнистировать — значит простить грехи, а грехов за собой мы не знали. Я берусь говорить за всех или даже за многих, — возможно, были люди, которым важно было освободиться, вернуться на волю любой ценой, любым путем, и в общем-то было начхать, будет ли это называться амнистией, депрессией, помилованием или еще как-нибудь. Но о себе и о Юрке и еще о достаточно большом количестве хорошо знакомых мне людей я могу вас заверить, что если б перед нами стоял выбор — амнистия или бессрочное заключение с надеждой на пересмотр дела и реабилитацию, мы, не раздумывая, избрали бы второе. Свобода? — Да, но только действительная, мне принадлежащая, а не дарованная из милости. Любовь к свободе, как всякая любовь, не всегда прямо пропорциональна степени обладания объектом любви. Иногда она и обратно пропорциональна...

Разные аспекты свободы проходили перед моими гла-



зами. Свободными — или вольнонаемными — считались и несколько офицеров, прибывших к нам на завод в сорок шестом. Они ходили в военном, жили на вольных квартирах, да и вообще были вроде всамделишных вольных... Но только у них не было друзей среди остальных вольнонаемных, да и нас, заключенных, они, естественно, сторонились. Пока не попривыкли. А когда привыкли и разговорились, обнаружилось, что их свобода от нашей не слишком отличается. У них не было не только паспортов, но не было и права свободного перемещения, они были привязаны к нашему заводу и своей квартире и даже прогулку в город должны были оформлять в комендатуре. Были они «под надзором» — в связи с тем, что побывали в плену. Знаков различия они не носили, орденских ленточек тоже, но все носили нашивки за раны. И о свободе и реабилитации мечтали совершенно так же, как мы, хотя, казалось бы, какая огромная меж нами дистанция!

О свободе подумывали, должно быть, и власовцы. Внешне это сказалось только однажды, но этого нашему начальству было вполне достаточно: сразу же после того инцидента оно просто потребовало, чтоб освободили наш завод от этой непосильной обузы, и через несколько дней всех власовцев у нас не стало. А самый инцидент не лишен был известной романтики — впрочем, ковбойско-киношного толка.

Выезд с завода — наша вахта — ограждался двумя шлагбаумами, в интервале между ними производился осмотр въезжающих и выезжающих машин. К вахте вела центральная аллея, переходившая за вахтой в широкое гудронное шоссе. От нас до границы не было по прямой и сотни километров...

И вот однажды тяжелый «студебеккер», разогнавшись на аллее, протаранивает оба шлагбаума и — фюить! — по шоссе на юго-восток. Пока шла погоня — на машинах и мотоциклах, со стрельбой по крышкам и повыше, пока поднятая по тревоге охрана загоняла всех в зону и выстраивала по баракам для подсчетов-счетов, пока диспетчер сборки устанавливал номер машины, отправленной в обкатку, да отыскивал в графике фамилию обкатчика, — мы знали уже все подробности. От самого обкатчика: это был Вася Елистратов, он сидел преспокойно у нас в БРИЗе, и перед ним стояла непочатая поллитровка, которую он принес распить с дружками. Поллитровка была платой за то, чтобы он, ни о чем не спрашивая, оставил на пару минут свою машину

на аллее, не выключая зажигания. Мало ли куда человеку нужно отлучиться на минутку...

По-моему, Васька так и не понял, что он натворил. На все наши веские доводы он только и возражал:

— А че? Им, м...кам, свободы захотелось. А мне што — жаль? Пушай попробуют.

— Тебе ж, дурню, дело пришьют: содействие в побеге!

— Не - е , — улыбался Васька, — я ж бытовик. И к досрочке представлен. На хрена мне твое содействие, ты сам подумай!

Прав оказался, конечно, Васька, — эти контрики вечно всего боятся. А прокурор — он лучше знает. Постригли Ваську и законвоировали, только и всех делов, а ты говорил...

Так Васька снова стал активным рационализатором — на обкатке-то много не нарационализируешь, — а мы избавились от беспокойных власовцев с их невообразимыми двадцатью пятью годами срока. У нас-то у самих, как ни странно, катушка медленно, но верно доматывалась до конца... Сорок седьмой был не за горами... Свобода... Свобода!

Смотрю я сегодня на Юрку-маленького, на этого бандита, которому все нипочем и для которого нет еще никаких границ и запретов, если не считать какие-то там маминьы или бабушкины робкие попытки, — и думаю: узнаешь ли ты, шкет, когда-нибудь это чувство — потребность в свободе?

И что такое свобода?

Советы дю-Вентре

Тетрадь III

ДУВРСКИЕ

СКАЛЫ



*Маркизе Л.*

Нет-нет, твои не стерлись поцелуи...  
 Когда я вспоминаю жребий свой,  
 Не ненависть врагов меня волнует,  
 Не злобный рок, а наши дни с тобой.

Сквозь шторма рев, сквозь смерч рапир и молний  
 Так ярко свет твоих далеких глаз!  
 Поток времен бессильно пенит волны,  
 И Смерть сама склоняется безмолвно  
 Пред счастьем, что приснилось только раз.

Нимб славы мне здесь, на Земле, не нужен.  
 Но пусть посмертным вызовом Судьбе, —  
 Когда поглотит мрак загробной стужи, —  
 Пусть светит в небе ярче звезд-жемчужин  
 Последний мой сонет: он — о тебе!

*Маркизе Л.*

Я болен сплином, модным в этих странах:  
 Меня томят туманы, и тоска,  
 И томность бледных рыжих англичанок,  
 Как палка, длинных, плоских, как доска...

Я как-то заглянул от скуки в «Глобус»:  
 Битком набиты ложи и балкон!  
 Жрец — в стихаре, в камзоле — Аполлон;  
 У них бочонок — трон, ведро — колодец...

Я англичанами по горло сыт.  
 Их чопорный язык, их чванный вид,  
 Их лошадиный хохот — хуже пытки.

Прощай, мой ангел. Пусть я грустен, пусть!  
 Лишь бы тобой не завладела грусть:  
 Люблю. Люблю! — хоть жизнь висит на нитке.

---

**ПЬЕРУ ДЕ РОНСАРУ**

---

Я не завидую тебе, поэт!  
Когда бы лавры мне служили целью,  
Я б не писал стихов — ни в час безделья,  
Ни в час тоски, когда исхода нет.

Не мнишь ли ты, что озарит потемки  
И в памяти людской оставит след  
Твой тонкий, твой изысканный сонет?  
А что, коль злопыхатели-потомки

Иную вспомнят из твоих ролей:  
Кого христианнейший из королей,  
Палач, герой парижского пожара,  
Имел в наставниках? — Ах, да: Ронсара!..

...Я пошутил. Ведь не дурак народ,  
Ты прав — и будет все наоборот...

---

**БЕССОННИЦА**

---

*Маркизе Л.*

Мороз начистил лунный диск до блеска,  
Рассыпал искры снег по мостовым.  
Проснется Вестминстер совсем седым,  
А львы у Темзы — в серебристых фесках.

Святого Павла разукрасил иней,  
Преобразил трущобы в замки фей.  
Немые силуэты кораблей  
Окутаны вуалью мгристо-синей.

Биг-Бен спросонья полночь пробубнил —  
Я все бродил по пристани в печали,  
Рассеянно сметая снег с перил...

Я неминуемо замерз бы там,  
Когда бы кровь мою не согрели  
Любовь к тебе — и ненависть к врагам.

**ПОЭТ В РАЮ**

Ворчал апостол у преддверья рая,  
 Но я толкнул нетерпеливо дверь:  
 «Заткнись, старик! Я — дю Вентре, ты знаешь?  
 И я всего на миг сюда, поверь!»

Как пели ангелы вокруг Бога звонко!  
 И каждый кланялся, и каждый льстил...  
 Взглянув на все, я тихо загрустил  
 О Франции, бургонском, о девчонках...

Увидел Бог: «Да ты судьбе не рад?!  
 Сакр-кер! Желаеть прогулятья в ад?  
 Уж там тебя покорности научат!»

— О нет, Господь! Здесь прямо... как в раю!  
 Ей-богу, счастлив я!.. Но все же лучше  
 Вернусь-ка я во Францию мою!

**ПИСЬМО К ДРУГУ**

В такие дни, гнетущие, как камень,  
 Часами я сижу перед окном,  
 Измученный туманом и дождем,  
 Свинцовый лоб сжимая кулаками.

Тоскую. Писем нет. И нет Агриппы —  
 Мне не с кем ни дружить, ни воевать.  
 Лишь изредка заходит пьяный шкипер:  
 Его хандра — моей тоске под стать.

Ему не по нутру мои сонеты —  
 Мы с ним молчим и мрачно глушим ром.  
 Агриппа, друг, пойми: тебя здесь нету,  
 И некого мне обзывать ослом.

В такие дни — считай меня пропащим...  
 Писал бы ты, vieux diable \*, хоть почаще!

\* Старый черт (фр.).

**ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА***Маркизе Л.*

Пусть принесет сорока на хвосте  
 Из дальней Англии мои остроты —  
 Они скупы, они совсем не те:  
 Смеюсь лишь над собой, и то — для счета

Пусть пересмешник-дрозд, залетный гость,  
 Треща и щелкая у окон Ваших,  
 Вам передразнит желчь мою и злость —  
 Посмейтесь... и поплачьте над вчерашним.

Я так любил Вас!.. На закате дней  
 Тоске не выжечь память едким дымом!  
 Так пусть хоть птицы, пролетая мимо,

О верности, о нежности моей —  
 Отчизне скажут и моей любимой:  
 Сейчас люблю их в сотни раз сильней!

**ВОСПОМИНАНИЯ**

Сокровища моих воспоминаний  
 Не погрузятся в Лету небытья,  
 Не растворятся в лондонском тумане...  
 Моя Гасконь! — Нет: Франция моя!

Стихи мои — лишь эхо волн Бретони,  
 Шурша, кладущих завитки гребней  
 На побережья жаркие ладони...  
 Что на земле дороже и родней?!

Как позабыть мой город — мой Париж,  
 Изящный, легкомысленный и страшный;  
 Наваррских гор задумчивую важность,  
 Гасконских утр серебряную тишь!

Горька судьба, и горек хлеб изгнанья.  
 Но горше их — мои воспоминанья...

Завел меня мой шкипер в цирк бродячий.  
Глазея в клетки, я зевал до плача.  
«Вот кобра. Ядовитей не сыскать!»  
— А ты слышал про королеву-мать?

«Вот страус. Не летает, всех боится».  
— Таков удел не только данной птицы.  
«Узрев опасность, прячет нос в песок».  
— И в этом он, увы, не одинок!

«Вот крокодил, противная персона:  
Хитер и жаде н». — Вроде д'Алансона...  
«Гиена. Свирепееет с каждым днем!»  
— А ты знаком с французским королем?

Пойдем домой! Напрасно день потерян.  
Поверь мне: в Лувре — вот где нынче звери!

Огонь в камине, бросив алый блик,  
Совсем по-зимнему пятная стены,  
Трепещет меж поленьев — злобный, пленный.  
И он к своей неволе не привык.

Во Франции — весна, и каждый куст  
Расцвел и пахнет трепетным апрелем.  
А здесь в апреле — сырость подземелья,  
Мир вымочен дождем, и нем, и пуст...

Лишь капель стук по черепицам крыши  
Звучит в ночи. И сердце бьется тише —  
Смерть кажется желаннейшим из благ...

Нет, не блеснуть уж вдохновенной одой:  
Родник души забит пустой породой.  
...И лишь рука сжимается в кулак.



**МЕЧТЫ**

В семнадцать лет кто хочет умереть?..  
 Я думал: что мне лавры Ариосто —  
 Я гений сам! Я проживу лет до ста,  
 А там посмотрим, стоит ли стареть.

От дураков и слишком умных прячусь  
 В седой парик, в грим старческих морщин,  
 Чтобы никто, имущий власть и чин,  
 Не разгадал вовек моих чудачеств.

Жизнь исчерпав, свершу метаморфозу:  
 Приму глубокомысленную позу  
 И — бронзой став — издам последний вздох.

...Сейчас мне двадцать. Я б хотел случайно  
 Исчезнуть — так, чтобы осталось тайной,  
 Под чьим забором блудный бард издох.

**НОКТЮРН**

*Маркизе Л.*

Прости, что я так холоден с тобой, —  
 Все тот же я, быть может, — суше, строже.  
 Гоним по свету мачехой-судьбой,  
 Я столько видел, я так много прожил!

Казалось — рушится земная твердь,  
 Над Францией справляют волки тризну...  
 Порой, как милость, призывал я смерть —  
 За что и кем приговорен я к жизни?!

...Когда забудут слово «гугенот»  
 И выветрится вонь папистской дряни,  
 Когда гиена Карл в гробу сгниет  
 И кровь французов литься перестанет, —

Тогда я снова стану сам собой.  
 Прости, что я так холоден с тобой.

*Агrippе д'Обинье*

Ночь. Тишина. Бой башенных часов...  
Их ржавый стон так нестерпимо резок:  
В нем слышен труб нетерпеливый зов  
И злобный лязг железа о железо.

Сквозь мглу я вижу, как, оскалив пасть,  
Друг друга разорвать стремятся кони;  
Как труп безглавый, не успев упасть,  
Несется вскачь в неистовой погоне...

Гляди: Конде, как прежде, — впереди!  
В веселье яростном, коня прищпоря,  
Бросаюсь в это бешеное море;  
Или — погибни, или — победи!

...Ни смерти, ни побед: одни мечтанья!  
Ночь. Тишина. Бессонница. Изгнание.

*Маркизе Л.*

В моих руках — предмет заветных грез,  
Бесценный сувенир: миниатюра.  
Ее мне рыжий шкипер мой привез —  
Готов с него содрать за это шкуру!

Какой-то бесталаный шарлатан  
Достоин счастья видеть Вас воочью,  
Вас рисовать! — тогда как Ваш Тристан  
Изольдой нежной бредит днем и ночью!

Пока меня разлукой мучит бес,  
За два денье парижский Апеллес  
Ваш тонкий профиль смеет пачкать кистью...

В душе вскипает бешенство и грусть:  
Que diable \*! Хотя бы для того вернусь,  
Чтоб перевешать Ваших портретистов!

\* Кой черт (фр.).

**ЧЕТЫРЕ СЛОВА**

Четыре слова я запомнил с детства,  
 К ним рифмы первые искал свои,  
 О них мне ветер пел и соловьи —  
 Мне их дала моя Гасконь в наследство...

Любимой их шептал я как признание,  
 Как вызов — их бросал в лицо врагам.  
 За них я шел в Бастилию, в изгнание,  
 Их, как молитву, шлю родным берегам.

В скитаниях, без родины и крова,  
 Как Дон Кихот, смешон и одинок,  
 Пера сломив иззубренный клинок,  
 В свой гордый герб впишу четыре слова,

На смертном ложе повторю их вновь:  
 Свобода. Франция. Вино. Любовь.

**СУДЬБА МОИХ ПОСЛАНИЙ**

*Маркизе Л.*

Всю ночь Вы в Лувре. Не смыкали глаз:  
 Бурэ, гавот... Проснетесь лишь в двенадцать.  
 А в два — виконт! («Доретта, одеваться!»)  
 Как я бешусь, как я ревную Вас!

Потом, едва простившись со счастливецем,  
 За секретер: в передней стряпчий ждет,  
 Кюре и кружевница (та — не в счет) —  
 До вечера поток визитов длится.

А там — пора на бал. Садясь в карету,  
 Вдруг вспомните: «А где ж письмо поэта?  
 Когда прочту? Ни времени, ни сил!..»

Письмо!.. Ваш рыжий кот, согнувши спину,  
 Найдя комок бумаги у камина,  
 На дело мой сонет употребил!

Народная толпа на Гревском поле  
 Глядит, не шевелясь и не дыша,  
 Как по ступеням скачет, словно шар,  
 Отрубленная голова Ла-Моля...

Палач не смог согнать с нее улыбку!  
 Я видел, как веселый Бонифас,  
 Насвистывая, шел походкой гибкой,  
 Прощаясь взглядом с парой скорбных глаз.

Одна любовь! Все прочее — химера.  
 Друзья? — предатели! Где честь, где вера?  
 Нет — лучше смерть, чем рабство и позор!

...Вот мне бы так: шутя взойти на плаху,  
 Дать исповеднику пинка с размаху  
 И — голову подставить под топор!

*Маркизе Л.*

Под страхом смерти мне запрещено  
 Вернуться к Вам... Так для чего же мешкать?  
 Что жить без Вас, что умереть — одно.  
 Я встречу Смерть презрительной усмешкой.

Зачем вступать с Ней в недостойный торг?  
 Предсмертный страх сумею побороть я,  
 Как поборол изгнания позор,  
 И нищенские мысли и лохмотья,

И голод, и пинки, и грубый смех,  
 И холод злой ночных безлюдных улиц —  
 Затем, чтоб Вы, украдкой ото всех,  
 Мне одному еще раз улыбнулись!..

Что жить без вас, что умереть — одно.  
 Что ж, я умру... Но хоть у Ваших ног!

\* Жребий брошен. Изречение, приписываемое Александру Македонскому (лат.).

На Оссу громоздили Пелион,  
Крича, взбирались по гранитным кручам,  
Ордой свирепой рвались в небосклон,  
Дубинами расталкивая тучи.

Небесный Лувр был пламенем объят.  
Под гулками ударами тарана  
Уже трещали скрепы райских врат,  
И задрожал впервые трон Тирана.

Как удержалась Громовержца власть?  
Из мглы веков к потомкам донеслась  
Лишь сказка о бунтующих титанах...

Не верят сказкам боги наших дней...  
— Ты слышал? Жив Прикованный Плебей:  
Нант осажден когортами кроканов!

...И снова стонут зябнувшие снасти.  
Слепые волны тычутся в борта.  
Куда плывем? Не видно ни черта.  
Ноябрь (опять ноябрь!). Ночь. Ненастье.

Для ведьм, любовников и беглецов  
Не выдумаешь лучшую погоду!  
...Охрипший бас: «Ну, с Богом!» — Я готов:  
Плащ с плеч долой и — в ледяную воду!

Прощай, мой шкипер! С плеч долой изгнание,  
Эдикты, тюрьмы... В новые скитанья,  
Все корабли сжигая за собой!

Прибой несет меня проходом узким.  
Вот... пальцы камень шупают: французский!  
Холодный, скользкий, — но такой родной...

Карлсхорст ЕО-07-31 — это еще зачем?

Странная все-таки штука — память. Для чего хранит она, к примеру, номер телефона, имевший для меня определенное значение разве что осенью и зимой тридцать первого — тридцать второго, в недолгие месяцы платонического романа с тогдашним его абонентом в аристократическом пригороде Берлина. Что это — только ли балласт, мертвый груз, остаточная замагниченность ленты запоминающего устройства, которому сто тысяч раз с той дальней поры поступала команда — все стереть? Или же, может статься, мне еще предстоит — подобно тому, как герасимовцы по сохранившимся осколкам черепа воссоздают портрет, — для неведомых мне целей когда-нибудь реконструировать из этого номера или иного иероглифа если не контуры собственной черепной коробки, то некие штрихи-характеристики ее тогдашнего содержимого?

Не знаю. Не думаю. Кому это может быть интересно?

Меж тем таких иероглифов и символов накапливается с годами все больше. Этому накоплению старческий маразм, видимо, не помеха. Неизвестно, что с ними делать или как от них избавиться. Ничего приятного в них нет. Всплывая, черт-те почему и для чего, вдруг на поверхность в самое неподходящее время, обычно ночью, одна такая заноза способна терзать и бередить психику до полного изнеможения, тем более досадного, что любой итог изнурительной борьбы с ней, хотя бы и привела эта борьба к заполнению изначальной пустоты некими более или менее связными образными представлениями, добытыми путем бесконечных проб и ошибок, — все же совершенно бесполезен, заведомо лишен практического или хоть ассоциативно-прикладного смысла. Если б других забот у меня не было, можно бы проконсультироваться у специалистов — нет ли тут симптомов мании преследования или иного расстройства, сопряженного с навязчивыми идеями — в том смысле, как употребляется этот термин в быту. Но я обхожусь покамест примитивными снотворными таблетками, не вникая в психиатрию. Знаю только, что это очень противно — вот так вот оказаться вдруг с глазу на глаз с какой-то непонятной соринкой в памяти (такой соринкой бывают слово, взгляд, запах, звук, огрызок мелодии или

ритма...) и не знать, откуда она, зачем она, что означает или на что намекает.

Это-то незнание, неузнавание, непонимание вскоре преобразуется в кванты энергии особого рода: во мне накапливается тихое бешенство — верный признак бессилия, беспомощности перед призраком, или тенью, или далеким отголоском чего-то, видимо, нехорошего, постыдного, моветонного. А на дне, в самой глубине этого бешенства, таится некая, опять же подспудная, от меня не зависящая, но тем не менее достаточно твердая уверенность, что стоит мне как следует понатужиться, поковыряться в памяти, поприкидывать сотню-другую комбинаций, как выкристаллизуется в конце концов во всей своей красе и недвусмысленности первопричинный импульс — какой-нибудь давний грешок или проступок, промах или ляпсус, который, стало быть, не зря хотелось тебе начисто забыть, зачеркнуть, соскоблить со скрижалей твоей и без того не слишком изящной биографии.

Любопытно, что первичный импульс может и не мне принадлежать, а кому-то другому; важно только, чтоб я при сем присутствовал. Мне все равно — потом, когда процесс воссоздания из застрявшего в памяти огрызка всей ситуации или коллизии завершен, становится так же стыдно, или больно, или смешно, как если бы я сам был виновником. Объективно размеры преступления или прегрешения могут быть совсем ничтожны, ну, допустил стилистический или исторический промах, или отличился инфантильным невежеством, или оказался свидетелем подлости, обмана, жульничества, да не вмешался, не за протестовал, — э, мало ли мелких импульсов нащелкает за полстолетия счетчик-самописец вашей совести, дай ему только волю и не отключай его время от времени!

Прикиньте-ка на собственном примере — как ни мал, допустим, ваш личный опыт в этом плане, опыт человека с кристально чистой совестью, — сколько у вас набежало прегрешений одного только негативного порядка, то есть таких, что проходят по графе «не сделал того-то и того-то!». А что, если бы действительно кто-то ставил галочки в вашем кондуите с самого детства и по сей день? Подумать страшно: не попросился на горшочек и замарал пеленки — столько-то раз. Не вымыл руки перед едой. Не приготовил урока. Не пошел на воскресник. Не уступил места старушке. Не сдал зачет по... ну, не в предмете дело. Не бросил курить. Не поздравил тетушку с Восьмым марта. Не сказал

режиссеру НН, что ты о нем думаешь. Не женился на... ну, не в имени дело. Не уплатил профвзносы. Не навестил приятеля в больнице, когда у него случился... ну, не в болезни дело. Не соблюдал режим дня. Не отказался от работы над... ну, не в названии дело, а в мракобесном сценарии. Не поцеловал жену перед уходом на работу. Не поговорил с сынишкой о текущем моменте. Не любил ближнего своего И так далее.

В годы моей юности популярна была еще и такая графа: не проявил бдительности. Каждый заполнял ее по-своему, и боже упаси меня от каких бы то ни было обобщений. Условимся так: достоверно я знаю только о себе; с меня этого, впрочем, вполне достаточно. Вот мне и хочется поведать вам одну лишь пустяковину, эпизодик, едва ли достойный упоминания в другом аспекте, — только в порядке иллюстрации предшествующих выкладок, только для пояснения, как часто я пытаюсь пользоваться ластиком, перебирая собственный кондуит: то плюс поставить самому себе, то минус... В наш прямолинейный век, когда всё и вся, казалось бы, рассортировано по полочкам, порой и самому мне не верится, что одно и то же действие один и тот же человек мог бы квалифицировать то так, то этак, то как добродетель, то как грех, то как нравственную доблесть, то как вульгарный цинизм. Неужто нет у человека стабильных нравственных критериев?

У человека — наверно, есть. У меня лично — боюсь утверждать: а черт меня знает! Вот эта уверенность, этот — в данном случае, как мне представляется, совсем неуместный — релятивизм и вызывают тихое бешенство. Но судите сами.

Конец лета тридцать седьмого года. Пять лет уже нашей ничем не омраченной крепкой дружбе, дружбе трех мушкетеров, как прозвали неразлучную тройцу — большого Женьку, Боба и меня за длинные, тощие наши фигуры (говорили, что у нас не телосложение — теловычитание) и веселый нрав. Дружба основывалась на влюбленности в нашу профессию, в те же фильмы и книги, на нашей одинаковой голоштанности и одержимости, ей наперекор, самыми светлыми, благородными идеями. Сказать, что мы трое знали друг друга насквозь, — это ничего не сказать. Мы знали не только прошлое и настоящее, мы, пожалуй, могли бы и будущее каждого из нас начертать друг для друга, — если б, разумеется, это будущее не корректировалось извне и совсем не в русле обуревавших нас благородных идей.



Была в те годы такая традиция: когда парня призывали в ряды РККА, его рабочий или учебный коллектив давал ему подробную характеристику. Не треугольник, заметьте, а коллектив. Вот, собственно, и вся необходимая преамбула, остальное можно изложить в диалоге, состоявшемся между мной и Женькой, когда он вернулся из ленинградской экспедиции.

Встретились мы в коридоре звукоцеха, рабочий день подходил к концу. Обнялись, поболтали о пустяках — что в Питере, да что в Москве, куда пойдём вечером. Расставаясь, Женька говорит:

— Да, чуть не забыл: ты не смывайся сегодня, собрание ж будет. Повестку мне прислали. Так что придется вам сочинять мне характеристику, а мне — купаться в ваших слезах и восторгах.

— Это — когда надо?

— Сегодня в шесть. Увидимся! — и он пошел было. Но я его вернул:

— Слушай... Ты сколько ж пробыл в Ленинграде?

— С марта. А что?

Я считал на пальцах: март, апрель, май... август. Женька, видимо, тоже — он сосчитал быстрее и подытожил:

— Полгода.

— Да, полгода... Понимаешь, Женька, как бы это сказать...

— Понимаю, не мучься: полгода мы были врозь, и ты не знаешь достоверно, не стал ли я за это время другим, да? Ну, ты так и скажешь: мол, подтверждаю благонадежность товарища до февраля сего года включительно, а насчет дальнейшего справьтесь в съемочной группе.

— Не валяй дурака! При чем тут благонадежность?

— Ладно, старик, не заводись с пол-оборота. Пожалуй, ты даже прав. Им ведь не формальная бумажка нужна, это верно... Спасибо. Знаешь, я и сам ведь так думаю, и сам бы так колебался, если б нам поменяться местами. Ну, будь!

— Бывай! И — ни пуха тебе!

И мы расстались — очень и очень надолго.

А когда мы снова встретились, да и много раз потом, уже в самые последние годы, я всякий раз вспоминал тот разговор в коридоре. А Женька клянётся, что я все выдумал, что никакого такого разговора не было и быть не могло... Провал в его памяти объясняется просто: через пять дней меня посадили, и это оказалось для Женьки событием, пожалуй, более впечатляющим, чем мимолетная беседа

в коридоре. Уйдя вскоре в армию, Женька уже не мог ни участвовать, ни даже присутствовать при проработке моей одиозной персоны на студии. Достопамятный для меня номер нашей многотиражки с характерным для тех времен заголовком во весь разворот (насчет вырвать с корнем остатки... и хароновщины — друзья сохранили для меня этот лестный номер) я показал Женьке лишь в конце пятидесятых, когда он, впервые после инфаркта, мог позволить себе рюмку коньяка. Он прочел, усмехнулся и подтвердил:

— Все правильно. Понимаешь, если б я тогда был на студии — черт его знает, с меня ведь стало б и , — глядишь, и я полез бы на трибуну. Нет, не тебя ругать — это ведь никому не нужно было. Себя, себя в грудь бить: недоглядел и я, недобдел, товарищи!.. Да-а, брат, времечко...

Признаться, я и сам позабыл о том разговоре, — казалось, навеки. Пока однажды — это было уже в тюрьме — по какой-то сверхдальней ассоциации, которую я теперь уж и припомнить не в силах, весь наш диалог не воскрес во мне, как наяву. Помню, как я расхохотался: такой идиотской показалась мне вся моя бдительность или как ее там назвать, уж не знаю, — несмотря на ее несомненную искренность, истинность или, скорее, именно благодаря этой ее неподдельности. А вскоре пришло мне на ум совершенно иное соображение. Сейчас уже трудно облечь его в общепонятные слова — настолько далеки мы сегодня от тогдашних логических схем и штампов, — но суть заключалась в том, что я, пожалуй, поступил правильно, не пойдя тогда на собрание и не замарав Женькиной характеристики своей подписью, своим похвальным высказыванием или хотя бы своим молчаливым присутствием: кому нужна рекомендация врага народа?

Вспоминал я этот эпизод затем еще не единожды в связи с теми или иными внешними поводами и неоднократно выставлял себе новую оценку по поведению. Совесть тут ни при чем: всякие там угрызения касаются, насколько я уловил из художественной литературы, лишь тех случаев, когда человек поступает наперекор своим убеждениям, вопреки собственным нравственным принципам. А в данном случае я — сущий ангел. Я именно так и поступил (или, точнее говоря, не поступил), как мне велела совесть. Моя собственная, черт бы ее побрал, а вовсе не какая-то внешненормативная, — плевал бы я на любые предписания и регламенты, законы и правила, когда дело касалось Женьки, моего друга...

Что же прикажете мне вписать в злополучную графу — при условии, что допускаются подчистки и исправления, мало того: что они желательны, необходимы, неизбежны?

Не знаю. И это, как сказано, бесит меня — не столько, правда, по поводу прошлого, куда больше касательно настоящего и будущего. Все вокруг меня всё давно понимают и знают (или делают вид, будто знают), один я кажусь себе безнадежным дурнем, наглядным подтверждением народной присказки: молодость проходит, а глупость — никогда.

ЕО-07-31... Эта глава предназначалась ведь любви, а меня снова вон куда занесло. Сказывается, видимо, разность обстановки, условий, аудитории. Что связывает, к примеру, в нескончаемом холодном и голодном этапе нашего брата контрика с блатными? Только интеллектуальное общение! Если б «телехенция» не помнила так много романов и повестей, пьес и фильмов, если бы чуралась она жадных до увлекательной фабулы слушателей, биография каждого из которых, казалось бы, должна бы соперничать с любым вымыслом, в действительности же в большинстве случаев оказывалась, даже и с привнесенными в нее украшениями, до боли убогой и примитивной, — пережить этап было бы просто невыносимо. Когда же исчерпывались литературные источники и голод парализовал импровизационные заменители (мы как-то с Аркадием «травили базу» в порядке эстафеты, перенимая функции рассказчика друг у друга в течение чуть ли не двух недель, спя в очередь и поэтому не зная, о чем тем временем болтал твой напарник...), неизменно следовала традиционная просьба: «Ну, тогда расскажи своими словами, как ты в первый раз женился».

Как на грех, в первый раз я не женился, да и ничего такого не было, что хоть отдаленно напоминало бы брачную или только интимную тематику. Хорошо это или плохо — ей-богу, до сих пор не могу определить. А если и вспоминаю изредка, примерно раз в пять лет, так только расстраиваюсь — опять же из-за незнания, по какой графе числится тогдашнее мое поведение: то ли рыцарское благородство, достойное подражания и прославления в стихах, то ли эгоизм и жестокость, достойные плети, то ли ханжество и глупость.

Можно бы, конечно, пожалть плечами и категорически отказаться от этойкой запоздалой классификации — дей-

ствительно, к чему она? — если бы только все прошлое совсем уходило в небытие, если б время от времени не вспыхивал в сознании очередной дурацкий огонек-дразнилка — номер телефона, или моцартовский двойной мордент \* на ноте ми-бемоль, или зарубка в виде стрелки на тополевой палке, или запах: смесь водорослей и карболки, или чья-то назидательная фраза: «Вождь у нас — один»...

И — пошли-поехали ночные мученья в поисках адреса непрошеного шифра! Если б еще разгадка очередной микрошарады исчерпывалась однозначным ответом, реконструкцией пусть сложного, но цельного, обозримого, замкнутого жизненного эпизода, — оно бы еще куда ни шло. Вся беда в том, что замкнутых эпизодов не бывает — у меня, во всяком случае. Каждый из них — только звено бесконечной цепочки, словно вся-то наша жизнь — не столько борьба, сколько клубок ниток, из которого торчат бесчисленные концы, потянувши любой из которых можно распутать весь моток, до самого конца.

...Незадолго до того разговора с Женькой помнится мне еще один диалог, в котором я был только слушателем. Дело было возле того входа на студию, который еще и сегодня называется «под часами». Не помню, кого я там ждал в то пасмурное утро, помню только, что рядом со мной стоял очень взволнованный Евгений Червяков, режиссер только что законченного фильма «Заключенные» — о строительстве Беломорканала. Взволнованность была специфическая: накануне стало известно, что снят и арестован нарком Ягода. А в фильме Червякова что ни кабинет начальника на стройке — то портрет Ягоды: дело-то происходило в лагере!

Предстояло либо положить картину на полку, либо переснимать чуть ли не все эпизоды в интерьерех.

Подъехала машина Елены Кирилловны, заместительницы директора студии по художественным вопросам, решавшей фактически всю идеологическую сторону нашей работы. Открылась дверца, и вышла Елена Кирилловна — бледная, непривычно строгая, даже мрачная. Мы сняли кепочки, поздоровались.

— Ну? — спросила Елена Кирилловна, и в этом кратчайшем из вопросов было столько горечи, безысходной тоски и боли, что нам стало совсем не по себе. Червяков стал что-то объяснять и высчитывать, сколько декораций

---

\* Один из способов украшения вокальных и инструментальных мелодий.

и сколько смен ему потребуется, но было какое-то непреодолимое препятствие, — если не ошибаюсь, один из актеров то ли уехал, то ли должен был уехать.

Елена Кирилловна слушала его, поджав губы и покачивая головой, словно приговаривая: так-так, так-так... Потом, тяжело переведя дух, она сказала:

— Поделом нам, товарищи. Учат нас, учат — а мы все не можем расстаться с проклятыми подхалимскими навыками. Пора бы уж, кажется, поняты вождь у нас — один!

Через пару месяцев Елену Кирилловну арестовали. Через пару лет я увидел фильм Червякова — уже в лагере — и имел возможность оценить, как удачно, с минимальными затратами, его группа сумела выкрутиться из оплошностей с нежелательными портретами: в новой редакции фильм подтверждал, что вождь у нас, действительно, один. Еще года через два Евгений Червяков пал в боях, защищая Родину от гитлеровского нашествия: одним из первых ушел он в ополчение.

Не знаю, был ли фильм «Заключенные» затем еще раз подвергнут исправлениям, — когда и последний портрет, в нем многократно представленный, стал тоже ненужен, — знаю только, что знаменитая песня Соньки (насчет перебитых, поломанных крыльев) очень долго еще бытовала на Руси. Две строки из этой песни навсегда сохранили для меня на редкость бессмысленный подтекст. Стоит только услышать мне:

Я совсем ведь еще молодая,

А душе моей — тысяча лет... —

как сами собой возникают контрапунктом слова: вождь у нас — один. В убежденной интонации Елены Кирилловны — старой большевички, подпольщицы, легендарной разведчицы времен борьбы с интервенцией в Одессе. Придет время, о самой Елене Кирилловне будут фильмы созданы и романы написаны, — но, если я еще буду жив, я и тогда не забуду ее лица и ее интонации там, «под часами».

Цепочка — если потянуть как следует за эту, первую попавшуюся, ниточку — ведет в совсем иные широты, иные времена, и даже к иным именам, считавшимся вождями. Общая тональность для подобной модуляции — комплекс представлений о гражданской войне, о борьбе классов. В семнадцатом мне было три года, я ничего не помню. Но классовую борьбу я знаю не по книжкам и фильмам, а по жизненным, реальным, мною самим пережитым событиям

за рубежом. Я слышал «нашего Тэдди» — «медвежонка» Эрнста Тельмана — в Берлине и в Гамбурге, я знаю, что такое предвыборная кампания, баррикады на Веддинге, расстрел гамбургской демонстрации двадцать восьмого года. (С высокой гранитной набережной, сложенной из необработанных скалистых глыб, убитые и раненые падали в свинцовую воду Эльбы. Всплывали они много позже — их вздутые, безобразно разлагающиеся трупы вылавливали вдоль всего побережья, говорят, до самого устья, и все причалы и пристани были политы карболкой — от трупного яда. Каждого, кто подъезжал и причаливал на лодке, катере или пароме, заставляли мыть руки в ведре с какой-то вонючей мутью... С той осени застряла во мне ассоциативная связь меж пулеметной стрельбой и запахом — смесью водорослей и карболки.)

Из нашей полусотни советских ребят — детей сотрудников полпредства и торгпредства — к участию в политических делах немцев допускались очень немногие: те, кто немецким владел в совершенстве и в случае инцидента с полицией мог бы до конца выдавать себя за немца. Наше посольство категорически запрещало нам не только участвовать в каких-либо кампаниях, но даже общаться с немецкими комсомольцами. Мы делали вид, будто слушаемся, и научились со временем конспирации на два фронта. Немецкие товарищи, которым мы помогали, тоже опасались, как бы мы не навредили — себе и советскому посольству: ведь любая осечка привела бы к весьма нежелательным дипломатическим инцидентам. Поэтому мы даже от самих немцев скрывали, кто мы на самом деле: об этом знали ситантные товарищи в Берлине, а там, куда мы выезжали работать — например, распространять предвыборные листовки компартии, — все нас считали за чистокровных берлинцев.

Берлинцем считала меня и гамбургская комсомолка, моя напарница по ночной расклейке плакатов. После поражения гамбургского восстания двадцать третьего года свободолюбивый город-порт продолжал клокотать, обстановка в нем долго оставалась крайне напряженной. Полиция на словах «поддерживала общественный порядок», якобы беспрестанно пресекая любые политические акции, в действительности же преследовала только левые силы, коммунистов, Красных фронтовиков, Кимовскую молодежь. Ну, об этой странице немецкой истории имеется уже целая литература, так что я могу избавить читателя от моих

дилетантских мемуаров на сей счет. Ни один из авторов не забыл описать и нехитрую технику ночной расклейки листовок, осуществлявшейся непременно «влюбленными парочками» — парнем и девушкой, которые при появлении полицейского или подозрительного прохожего замирали у стены в страстном объятье: любовь ведь не преследовалась. Даже напротив...

Моей напарнице было, вероятно, немногим больше, чем мне, а мне было целых четырнадцать. И вымахали мы оба достаточно длинными, поэтому нам и доверяли эту самую расклейку с объятьями. Не знаю, что испытывала моя партнерша, мне и в голову не приходило спросить ее об этом. Но хорошо помню, что я испытывал — нет, не в смысле риска и всяких там опасностей, это все чепуха, — а в минуты, когда нам приходилось согласно конспиративной технике изображать страстные объятья. Мы уже видели достаточно фильмов, да и в живой действительности успели подсмотреть достаточно сведений касательно, так сказать, пластического рисунка подобных живых картин. Так что в этом отношении мы, кажется, особых стилистических прегрешений не допускали. Хуже обстояло дело с губами, особенно с носами: у меня нос длинный, у нее он был тоже — дай боже, и они нам мешали, мы всякий раз сшибались носами и раздражались непозволительным хохотом. Потом мы пробовали прятать носы где-то друг у друга под ухом, на шее, но это было щекотно и неприятно. Много позже узнал я, что подобная мизансцена может быть очень даже приятной — но только при известных предпосылках, о которых в нашем случае и помину не было. Каждый из нас предпочел бы, пожалуй, обниматься с собакой, с лошадью, только бы не друг с другом... Меж нами стоял злой, холодный запах — смесь тлеющих водорослей и карболки, — и ни наша молодость, ни бесшабашность, ни презрение к ханжеским запретам, ни взаимное влечение, — если бы оно случилось, — не дали бы нам перешагнуть через эту преграду. Так мне казалось. Очень долго.

А может, я все это позже придумал — себе в оправданье?

Не знаю. Не думаю. Карболку и водоросли, вместе и порознь, я потом нюхал несчетное количество раз, но никогда больше никакие ароматы не мешали мне — даже и в любви. Появились новые помехи и преграды, но это сюда не относится.

С детства люблю я порты, особенно морские. Груп-

па матросов, фланирующих вдоль приморского бульвара, вызывает во мне умиление и внутреннюю дрожь, объяснить или вообще анализировать которую я избегаю, — чтоб ее не лишиться. Она ведь так приятна! Морской пейзаж — пожалуй, единственный, обладающий для меня какой-то эмоциональной значимостью. Все остальные мне в лучшем случае безразличны, в худшем — скучны. В душе я урбанист, апологет асфальтовых просторов, и только море не противоречит этим моим наклонностям. Смешно сказать: я люблю маринистов, особенно Айвазовского... В молодости я это скрывал, чтоб не смеялись надо мной, а сейчас мне терять вроде бы нечего, никакое презрение мне не страшно, я могу признаться, что ко всяким дачам, лесочкам-поляночкам и прочей комариной стихии отношусь с той же неприязнью, что и Антон Павлович Чехов, а вот море — люблю.

Зная все это, ранние читатели и почитатели дю Вентре относили пейзажные «находки» в его сонетах на Юркин счет, полагая в моем друге бездну так называемой любви к природе, тогда как я, по их справедливому заключению, совершенно неспособен на убедительное «вчувствование» в гасконский, бретонский или дуврский пейзаж — раз уж я своего, отечественного, не чувствую.

Ладно, пусть оно так и останется. Хоть я-то лучше знаю насчет Юркиной любви к природе. Хулиганство с тополями, например, придумал ведь Юрка, а не я. И одно то, что он считал это за хулиганство и так блистательно фраернулся, служит мне достаточным показателем его отношения ко всякой там флоре и фауне. Зарубки на тех тополях еще и сейчас хорошо заметны: приезжая в отпуск, ребята с нашего завода каждый раз подтверждают мне это...

А дело было так.

В один прекрасный день пришел приказ: принять меры к маскировке завода с воздуха. Ну, выкрасили крыши в зеленый цвет, думали, на этом и кончится. Ан нет, кто-то придумал еще возводить вокруг цехов зеленые насаждения. Послали за тридевять земель бригаду — вокруг нас не было ведь ни деревца, ни кустика, — и целую неделю эта бригада возила какие-то, как нам казалось, совершенно бесперспективные колья и палки наподобие тех, какими в деревнях в городки играют. Считалось, что это — тополиные саженцы, и нам после работы велено было разметать территорию, ковырять симметричные ямки и сажать в них эти, с позволения сказать, саженцы.



Подобное занятие не вызывало у нас по многим причинам никакого энтузиазма. Во-первых, мы все еще писали заявления об отправке на фронт и все еще не уставали надеяться, что нас, чем черт не шутит, послушают: немецко напирал, положение на всем фронте было — хуже некуда, мы оставляли все новые города, районы, области... и нам порой казалось, что у нас там просто недостает пушечного мяса — того, чем каждый из нас стал бы с великой готовностью. Во-вторых, в нашем представлении наш сверхдальний тыл как-то не вязался с воздушными налетами, светомаскировкой и иными прифронтовыми мерами предосторожности. Характерный штрих нашей всеобщей на сей счет уверенности: когда заводская территория расширилась чуть ли не вчетверо против первоначальной зоны лагеря и нужно было как-то оградить ее от внешнего мира, на элементарные деревянные столбики понабивали жестяную штамповку из-под заготовки для крыла стабилизатора «большого молотка». Штамповались эти заготовки из длинных жестяных полос, а отходы — выштамповки — выглядели ажурным кружевом, напоминавшим бумажные гардины, которыми, за неимением матерчатых, домовитые буфетчицы украшали оконца торговых точек на станциях.

Не надо было быть ни шпионом, ни даже просто наблюдательным человеком, чтобы по этим заборам, воздвигавшимся «хозяйственным способом» и украшавшим в годы войны весь Дальний Восток вдоль магистрали, определить основную продукцию предприятий, огороженных выштамповками; контуры изделий, образующие этот своеобразный орнамент, этот специфический трафарет времени, были слишком красноречивы, они сами лезли в глаза и твердили каждому прохожему все тот же главный вопрос: «Что ты сделал сегодня для фронта?»

В этих-то особых условиях идея о маскировочных лесопосадках вызывала у нас только досаду и раздражение, казалась нам не более чем очередной выдумкой воинствующего бюрократа. И Юрка решил, что если уж мы должны сажать эти проклятые колья, то надо бы сажать их вверх ногами: все равно ведь на нашей песчано-каменистой почве, где и трава-то не росла, никакое порядочное дерево прижиться не могло. Иначе, надо полагать, здесь была бы такая же дремучая тайга, какую мы знали по Уссури и по Комсомольску. Известная трудность реализации Юркиной затеи заключалась в том, что никто из нас не умел с уверенностью определить, где у этих кольев, собственно, верх,

а где низ: на них не было ни сучков, ни хотя бы заметных почкообразований. Возникли горячие споры, как всегда меж дилетантами, не имеющими понятия о предмете спора. И тут, помнится, Юрка стал выдавать некие неопровержимые приметы: что-то насчет тоньше и толще, комля и вершка, коры с севера и коры с юга — и все это казалось мне весьма подозрительным уже в силу апломба, Юрке обычно не свойственного, с которым оно изрекалось. Так или иначе, положенный нам штабель кольев мы разметили карандашиком по Юркиным указаниям. Он стал сажать их, как ему представлялось, вверх тормашками, а я — из тех же намерений, но только с поправкой на то, что Юрка все перепутал, — наоборот по сравнению с Юркой. Чтобы позже проверить, кто из нас прав, — если, разумеется, хоть один из этих кольев привьется, — мы ножиком нанесли глубокие стрелки на нескольких палках (пардон: стволах) с той стороны, которая была обращена к окнам нашего техотдела; мы уже предвкушали возможность потом без отрыва от производства, одним кивком головы, напомнить товарищу, каким он оказался идиотом в ботанике.

К немалому нашему удивлению, никому из нас не пришлось воспользоваться этими стрелками. Все колья до единого, словно насмехаясь над нашими ухищрениями и нашим неверием, отлично принялись и через год были уже всамделишными деревцами с веточками и кокетливо шебуршащими листочками, а к нашему освобождению, к сорок седьмому году, весь завод был погружен в благодатную тополиную тень, и поздним дальневосточным бабьим летом аллеи вдоль цехов утопали в тополином пуху, так что даже самым нам не верилось, что когда-то никаких тополей здесь и в помине не было...

Техотдельские новички спрашивали обычно, что означают эти стрелки-зарубки на наших тополях — стрелка вверх, стрелка вниз, вперемешку, шесть раз подряд. Если было у Юрки время и настроение, он брал карандашик и начинал излагать неосторожному вопрошателю нескончаемую теорию о видах, свойствах и происхождении тополей, из которой я помню только, что тополя бывают серебристые, пирамидальные, бальзамические, душистые, лавролистные и еще какие-то, что осина и осокорь — тоже разновидности тополя, что все вместе они входят в семейство ивовых и водятся в Азии и Африке, Китае и Японии, обеих Америках, в Туркестане и в Новом Афоне. До этого места, впрочем, мало кто дослушивал. А если недосуг было Юрке

плести наукообразную чушь, перемежаемую импровизационной псевдолатынью, он ограничивался кратким сообщением, что эти стрелки — древнеацтекского происхождения и означают примерно: «Мы не можем ждать милостей от природы».

Так у нас с Юркой обстояло дело с ботаникой и сухопутным пейзажем. В своей любви к морскому пейзажу, а тем паче к Айвазовскому, признался я Юрке очень поздно — и какова же была радость моя, когда выяснилось, что и тут мы с ним единомышленники! Юрка даже пытался приобщить меня к своему теоретическому, что ли, обоснованию любви к морю, он хорошо и убедительно говорил о лаконизме средств выражения, которым располагает море, — не служит ли эта ограниченность таким же манящим стимулом художнику, как аскетизм формы — поэту? \*

Если и дальше тянуть эту ниточку, сразу же за образом моря возникает новая молекулярная цепочка: Бах, Моцарт, Шопен, Брукнер, Глазунов... А Моцарт — это же снова ЕО-07-31, и все встанет на место. Да, странная штука — память.

Моцарта играть сегодня очень трудно. Я говорю о его фортепианном наследии. Дело в том, что во времена Моцарта не было нынешних — молоточковых, ударных — рояля и пианино, а были клавишно-щипковые: клавесин, чембало, клавикорд, спинет. В зависимости от положения мануала \*\* или педали нажатие клавиши вело к «щипанию» либо одной струны, либо двух, трех, а иногда и четырех, настроенных в унисон. Моцартовские клавиры содержат указания: «Una chorda» — одна струна, или «тихо», и «Tге chorde» — три струны, или «громко». Никаких промежуточных градаций, а главное — никаких нарастаний и затуханий в процессе игры, никаких крещендо и диминуэндо, поскольку такие нарастания и затухания исключались конструкцией и акустическими данными инструмента.

А сегодняшний рояль в этом отношении прямо про-

---

\* В дни завершения этой рукописи в нашей печати (Вопр. лит., 1965, № 10) появилась блистательная работа Иоганнеса Р. Бехера «Философия сонета, или Маленькое наставление по сонету» — исследование поэта-профессионала, широко эрудированного и страстно влюбленного в предмет своего исследования. Мне остается отослать к этой работе читателя, которому наш дилетантский лепет о поэтическом наследии Гийома дю Вентре покажется недостаточным и неспособным объяснить его философский аспект.

\*\* От латинск. *manualis* (ручной).

тивоположен клавесину, труднее всего играть на нем ровным звуком, чтобы каждая нотка по силе равнялась соседней, не нарастая и не угасая. Поэтому-то Моцарта сыграть по-моцартовски на нынешнем инструменте невероятно трудно, почти невысказуемо. Профаны, любители и халтурщики ублажают невзыскательную публику, играя Моцарта «с чувством», то есть с цыганским завыванием. Истинного музыканта знатоки узнают по умению играть Моцарта так, как если бы под пальцами была у него клавиатура спинета или клавесина...

«Мне бы сейчас твои тогдашние заботы», — думал я, вспоминая бесконечные часы, проведенные мной в лучшие годы юности за роялем, свое честолюбивое упорство в борьбе с клавиатурой, свой чуть ли не фанатизм в стремлении играть Баха и Моцарта по-клавесинному — особенно Моцарта. В день облигатного \* фортепиано я мчался в консерваторию спозаранку, чтобы еще до первых лекций проникнуть в пустую аудиторию, припасть к «стейнвею», «блютнеру» или «бехштейну» — смотря по тому, какая аудитория свободна, — и начисто выключиться из окружающей действительности. Подсчитано, что струны концертного рояля в сумме своей создают на деке тяговое напряжение порядка двадцати — двадцати пяти тысяч килограммов. Не поддается измерению напряжение нервных волокон — или что там еще бывает — у пианиста, вцепившегося в клавиатуру, но пианисты-то знают, что еще неизвестно, какое напряжение выше. На общепонятном языке такое состояние называется, кажется, «уйти с головой».

Ушел я, стало быть, однажды с головой в своего Моцарта — ничего вокруг не замечаю, играю себе, останавливаюсь, двадцать раз повторяю какой-нибудь неподдающийся двойной мордент, такой украшательский завиток: никак не хочет, подлюка, лечь ровненько, равномерным бисером, нет-нет да выскочит вперед нотка, норвящая во что бы то ни стало прозвучать повыразительнее, поярче. Я те дам поярче, паскуда, а ну — брысь на место! Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот так. А теперь — все от доминантного изложения и до конца, и смотри у меня: не сметь высываться!

Фантазия и Соната до-минор — я ее готовил к курсовому концерту — казалась мне заоблачной вершиной, о достижении которой и мечтать бы не следовало: чем больше погружаешься в такую вещь, тем яснее становится

---

\* От латинск. obligatus (обязательный).

разрыв между гениальным замыслом Моцарта и твоим бездарным исполнением. К концу сонаты я приходил выпотрошенный, потный, измочаленный, будто таскал мешки с цементом. На этот раз финал был, вероятно, таким же, и со стороны это могло сойти за некое высшее вдохновение, что ли.

— Вундерволь... (чудесно) — услышал я позади себя глубокий вздох. Он прозвучал вполне искренно, и все же я подумал: шла бы ты, милая, подальше... Но пришлось все же обернуться, и тут я мгновенно подумал нечто совсем-совсем другое, — если вообще что-нибудь способен был подумать: Дора была чертовски хороша, о знакомстве с ней я даже и мечтать не смел — куда уж мне! Вокруг нее такие могикане увивались, доложу я вам...

Не помню подробностей начала нашего знакомства: похоже, я был как будто под легким наркозом. Помню, как провожал ее после лекций до станции электрички — жила она в пригороде, в Карлсхорсте. Помню, что должен был обещать ей помочь «освоить» Моцарта: ей он тоже плохо давался, ее специальностью были Шопен и Рахманинов. Помогал ей больше по телефону — созвонившись, мы часами играли друг другу на рояле, и воспитательное значение таких упражнений вскоре стало мне настолько очевидно, что я и сейчас убежден в их исключительной пользе. Дай бог, чтобы Юрке-маленькому поскорее довелось встретиться со своей Дульциней, и чтобы она играла на рояле, и чтобы у них дома был телефон: а то ведь нашего бандита никакими веревками к инструменту не привяжешь!..

Ну, это — в скобках. Мне-то ведь мои фортепианные экзерсисы, если трезво смотреть на вещи, так и не понадобились, — может, и Юрке-маленькому они ни к чему?

...Провожал я Дору по аллее, ведущей к Тиргартену, и была эта аллея тополиная, и я, конечно, как всякий порядочный бурш, запечатлел на одном из этих тополей ножиком наши инициалы и сердце, пронзенное стрелой, — все как полагается. А чем же было заниматься между поцелуями? Умными разговорами? Разговоры тоже были, и даже в меру умные... Но всерьез говорить с Дорой я избегал, просто боялся. Отшучивался. Бравировал. Кокетничал. В общем, как ни верти, вел себя, кажется, просто похамски. А может, это было сплошное благородство?

Не знаю. До сих пор не знаю.

Дора была года на три старше меня — соответственно, немного и опытнее. До нашей встречи у нее был ро-

ман — всамделишный, не платонический, вроде нашего, — она его прекратила весьма решительно у меня на глазах, когда мы еще не были знакомы: я видел, как ее прежний друг домогался встречи, передавал записки через гардеробщицу, ожидал ее на своем мотоцикле — все тщетно.

У меня романа еще не было, хотя и было уже то, что отличает мальчика от мужчины: была женщина, и даже не мимолетно, а довольно долго.

Идиотизм состоял в следующем. Доре казалось, что она любит меня. Я точно знал, что люблю Дору, но ни за что не хотел сближения. Не потому ли, что я был советский, русский, а она — немка?

Нет: ведь та, первая женщина, тоже была немкой... Но только та была коммунисткой, нашей... А Дора, золотокудрая Дора, была дочерью знаменитого Шмидта, конструктора электрохирургических инструментов, владельца виллы в Карлсхорсте...

Ах, как все это было бы смешно — животики надорвешь!

Тем более, что и, так сказать, в малом мне предстояло еще не один раз оказываться в форменных дураках.

Однажды выходим мы с Дорой из консерватории, она протягивает мне ключи и кивает на белоснежный спортивный «крайслер», стоящий у обочины: это, видите ли, папочкин подарок дочке к дню рожденья. Сегодня я бы, пожалуй, не растерялся, а тогда, в тридцать втором, — просто сдрейфил. Передача мне ключей означала, что я должен — что мне оказана честь, черт возьми! — отвезти Дору домой. Все это было бы прелестно и восхитительно, если бы не одна малость: если бы я умел водить машину. Надо бы сказать об этом прямо, но это значило бы, как мне казалось тогда, очень уж уронить свой престиж, наш, советский престиж: немецкий-то парень моих лет мог быть лопухом и тупицей, невеждой в музыке и в тысяче других вещей, но одно-то он уж верняком умел — водить машину, мотоцикл, катер. Этому немцы учили желающих еще в школе; только я, осел, не пожелал стать таким желающим — все спешил к роялю, заниматься мне надо было...

Можно бы сделать неплохой комедийный эпизод, который украсил бы молодежный фильм, если бы разыграть в лицах сценку, сыгранную тогда мной и Дорой. Когда мы уселись, я сунул ключ зажигания в надлежащее гнездо — вероятно потому, что других подходящих углублений, слава богу, на щитке не имелось. Потом я стал открывать и

закрывать ветровые стекла, вертеть рукоятки и переводить рычаги, о которых я более или менее был уверен, что они не связаны непосредственно с двигателем, так что машина с места не тронется. Каждую манипуляцию я сопровождал восхищенными возгласами и вообще изображал ценителя и знатока.

— Либлинг, мне очень некогда нынче, — пыталась Дора вернуть меня на почву реальности. — Поехали, прошу тебя. Отвези меня, забирай машину хоть на неделю и любуйся ей, пока не надоест. А сейчас едем.

Но я был непреклонен, я отмахивался от Доры, как от назойливой мухи. Пока она чуть не расплакалась. Тогда и я надул губы, буркнул что-то насчет неистребимых частнособственнических инстинктов, выскочил из машины и, демонстративно хлопнув дверцей, зашагал прочь. Дора покричала мне вслед, но я не обернулся. Она укатила на своем белоснежном «крайслере», а я помчался в посольство к шоферу дяде Паше: добрый человек сделал из меня к вечеру, вернее, к поздней ночи водителя-любителя, и с той поры я уже не опасуюсь девушек с собственными машинами.

А с Дорой мы некоторое время были в ссоре, которую я, обогащенный шоферскими познаниями, всячески стремился прекратить, а Дора прекратить не спешила. Правда, мы снова общались в консерватории, но не было больше длинных вечерних провожаний к станции по тополиной аллее, не было и поцелуев.

В конце апреля, сдав последний экзамен, я сказал Доре, что уезжаю — навсегда домой, в Москву.

Она заплакала. «Если бы ты любил меня, ты взял бы меня с собой», — я не утверждаю, что она сказала такие слова: я их просто слышал в ее тихом плаче. Успокоившись, уняв слезы, напудрясь и тронув губки карандашом, она сказала:

— Ты все же звони мне. Хоть изредка, ладно? Я ведь долго буду скучать. Телефон все тот же: Карлсхорст, ЕО-07-31...

Но я так ни разу и не позвонил.

Перед самой войной в газетах промелькнуло сообщение, что на Женевском конкурсе пианистов Клаудио Аррау завоевал наконец давным-давно установленную, но до тех пор никем еще не завоеванную уникальную премию: премию Парижской академии искусств за исполнение «Исламея» Балакирева «в предписанном автором темпе». Второе место присудили Доре, и я за нее очень порадовался...

В нашем бараке серьезная музыка популярностью не пользовалась, и стоило трансляционному репродуктору только начать что-либо симфоническое или камерное, как раздавалось непререкаемое требование — заткнуть его: «обратно завели енту муру собачью!»

И впрямь: мура собачья, пустой брех, одна только видимость чего-то духовного, возвышенного, человеческого. Велика ли цена этой нашей так называемой великой сокровищнице, если ни Бах, ни Моцарт, ни кто иной, ни все они вместе взятые не смогли ни на йоту улучшить человека и человечество, не смогли отучить его воевать и уничтожать, строить тюрьмы и лагеря, преследовать друг друга за любую разность: цвета кожи или цвета знамени, веры или неверия в какого-нибудь бога на земле или на небе, убежденности в той или иной конфигурации Земли, той или иной системе мироздания, или правопорядка, или социального устройства, или хотя бы устройства коммунальной квартиры!

Тут нет ни капли горечи, пессимизма или — как бы это поточнее выразиться? — неверия в силы и роль эстетики в формировании этики. Напротив: глубокая убежденность в могуществе искусства — особенно национального по форме и социалистического по содержанию — была, пожалуй, главенствующим стимулом нашей с Юркой работы над поэтическим наследием дю Вентре, — если говорить об эвентуальном значении и назначении этой работы для современников и потомков.

Но протекала эта работа в условиях не совсем обычных, и наша психика была, видимо, начисто свободна от каких бы то ни было иллюзий касательно способности искусства — любого искусства! — воздействовать на человечество, внушать ему что-либо или, наоборот, в чем-либо разубеждать. Мы успели уже пройти все круги искушения, познания добра и зла, оценки и переоценки многих абсолютов, идей и верований, так что относились уже достаточно терпимо к любым определениям и свободно могли выслушать категорическое утверждение о белизне предмета и столь же не терпящее возражений утверждение о его черноте: мы уже знали, что предмет-то скорее всего голубой или оранжевый, и то лишь из-за света, им отражаемого, а по сути, как вещь в себе, и вовсе лишен собственной окраски.

Мы уже поняли, что поэзия или музыка способны потрясти человеческую душу, если только эта душа умеет сотрясаться, но неспособны вызвать резонанс в торричел-



ливой пустоте или в субстанции, гасящей любые колебания, — например, в вазелине или повидле. Мы знали, что слово поэта, или песня, или труба могут поднять людей на новый штурм, на отчаянную атаку, пусть даже обреченную на поражение, — но только относится это к людям, которые уже оказались на этой стороне баррикады. Для той стороны, для противника, ни наши стихи, ни наши песни подобными чарами не обладают.

На той стороне действуют иные стихи и иные песни.

И действуют, надо полагать, не менее эффективно, чем на нашей. Если обратиться к художникам каждой данной современности, вопрос о партийности их искусства, о том, на чьей стороне эти художники и их творчество, как-то сам собой разрешается — во всяком случае, в глазах и в представлении их современников. Но уже через пятьдесят лет их творчество почему-то начинает с равным успехом (или с одинаково малым успехом) служить и вашим и нашим, — что нельзя, разумеется, ставить в вину самим художникам, успевшим уже отойти в мир иной, но что не мешает нам все же хотя бы усомниться в истинности и неизблемости первоначальной классификации. Музыка Вагнера, к примеру, — кому она только не «служила»!

Мы с Юркой не часто пускались в подобные бесплодные философствования, мы будто слышали уже нравоучительный глас ментора, избобличающего нас в «невероятной путанице», царящей в наших головах, в непонимании неких элементарных «законов марксистско-ленинской эстетики» и прочих грехах; мы, впрочем, никогда и не притязали на полное понимание функций искусства — ни наших дней, ни далекого прошлого, ни тем более светлого будущего. Мы только сомневались, — сомневались все больше и, если можно так выразиться, все более убежденно в правомерности самого нашего сомнения. Мы тогда еще не знали многих глубокомысленных изречений, характерных для этаких сомнений нынешних, уже послевоенных художников, — например, столь емкого определения Карлоса Фуэнтеса \*, согласно которому в современном обществе, похожем на двуликого Януса, всегда сочетаются два времени — очень далекое от того, что было, и очень далекое от того, что должно быть... Но наше, как многие считали, «бегство в шестнадцатый век» (которое было не бегством вовсе — то есть не уходом от чего-то, а скорее устремле-

---

\* Мексиканский писатель (р. 1928).

нием куда-то — к ренессансу) выражало, по сути, все ту же неудовлетворенность временем — слишком далеким от прошлого, успевшего обрести прекрасные черты классицизма, и еще более далеким от того, что когда-нибудь настанет.

Моцарта играл я Юрке один или от силы два раза — в том особом смысле, о котором у Пастернака сказано: «мне Брамса сыграют — тоской изойду», нам ведь нечасто доводилось уединяться у рояля, мы были не в доме отдыха. Оба, кажется, раза Юрка реагировал одной и той же категорической строкой дю Вентре: Одна любовь! Все прочее — химера! И хотя он при этом улыбался, и хотя ироничность такого резюме была ясна и без его улыбки, мне все же кажется, что даже и эта моя игра, игра уже порядком ратренированными, одеревенелыми, дисквалифицированными пальцами была, возможно, еще озарена любовью, и не только моцартовской.

Тут надо бы мне слезть с котурн и привести несколько доказательств нашей с Юркой обыкновеннейшей человечности и нечуждости ничему человеческому — хотя бы в отношении той же л ю б в и , — чтобы пресечь любые подозрения в параллелях и аналогиях меж поэтическим отношением дю Вентре к своей далекой маркизе Л. — и нашими собственными отношениями с прекрасным полом. О себе я откровенничать не хочу, ибо это неинтересно. О Юрке сплетничать — не могу тем более, да и это едва ли нужно. Мне хотелось только сказать, что время от времени мы друг для друга стояли на вассере, как гласит соответствующий жаргонизм, и поделиться некоторыми соображениями на сей счет.

Пристрастие к лингвистическим изысканиям, вполне, впрочем, дилетантски-эмпирическим, приводит меня к подчас совершенно фантастическим толкованиям подобных терминов. Многие из них на поверку оказываются одесского происхождения, относятся ко временам Бени Крика и даже более ранним, восходят к иноземным — больше немецким и французским — корням и обнаруживают весьма любопытные и неожиданные ассоциативные связи. Детская игра в «горячо — холодно», бытующая во всем мире, одесскими гувернантками могла, к примеру, проводиться и на немецком языке: играючи, детишки лучше усваивают грамматические правила. А по-немецки эта игра называется «Вода — огонь». Вода же по-немецки «вассер». Можно только подивиться остроумию одесских биндюжников,

перекрестивших исконно русское «стоять на стреме» в изысканное «стоять на вассере»...

В нашем случае мне выпадало, впрочем, не столько стоять, сколько сидеть, притом за роялем. В нарушение академических предписаний насчет клавишинного, лишённого динамических нюансов исполнения Моцарта, я соблюдал ровнёнькое меццо-пиано лишь при том условии, что обстановка была спокойной, однако прибегал к тревожному крещендо, как только на горизонте появлялся дежурный или иной непрошенный пришелец, которому могло бы вдруг взбрести на ум заглянуть под сцену, в холодный подвал, вместилище механизма поворотного круга — нашей гордости, построенного с таким энтузиазмом, — в подвал уютный и темный, но имевший целых три выхода...

Если сегодня случается мне слушать Моцарта в жлобском, или наивном, или невежественном исполнении, я живо вспоминаю игру в «горячо — холодно», игру на вассере, и не могу удержаться от скабрезной улыбки, совершенно непонятной окружающим и даже вызывающей их негодование и возмущение.

И еще: не люблю я с тех давних пор слушать серьезную музыку по радио. Я тотчас вспоминаю ее беспомощность и слепоту, ее безадресность — этакое «на деревню дедушке» — в лагерном бараке, или в любой иной казарме, или вообще в мировом эфире. Я убежден, что люди должны как-то приходиться слушать музыку, прийти, так сказать, на какую-то сторону баррикады, чтобы определенные музыкальные (или поэтические, или вообще какие-либо художественные) мысли могли найти у них элементарный отклик.

Но это все — так, между прочим.

По сути же вопроса мне остается засвидетельствовать, что наши с Юркой мимолетности, и даже более или менее длительные увлечения, обладавшие иногда и достаточной глубиной, и всеми прочими признаками настоящего чувства, были, видимо, при всей их пылкости и полноте, исключавших даже самую мысль о поверхностности или циничном потребительстве, — все же неким заменителем идеала, очередным поиском — и, рано или поздно, разочарованием. «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Макса Фриша — при верном его прочтении — скажет читателю больше и более внятно, что я имею в виду. Мы с Юркой тогда не знали и не могли еще знать фришевской трактовки древней темы Дон Жуана, но мы нашли некий эквивалент — в жизнелюбии и даже, пожалуй, известной неразборчивости

дю Вентре, не только не противоречивших его единственной большой любви к далекой маркизе Л., но даже как бы возвышавших эту идеальную любовь в наших глазах.

У каждого из нас была своя маркиза Л., у Юрки — даже с именем, начинавшимся на «Л»: Люся. Поэтому, вероятно, столько старания и страдания вкладывали мы в русские заменители французских клятв в любви и верности, поэтому, видимо, сонеты, посвященные маркизе Л., все же ближе к оригиналу, чем другие, хотя бы и трактующие тоску по родине, или жажду свободы, или ненависть к врагам, или иные человеческие страсти и страстишки: там больше элементарных четырнадцатистрочников, чем истинных сонетов. Вероятно, истинный сонет — это все же прежде всего любовь, тут И.-Р. Бехер прав...

La France. La liberté. Le vin. L'amour \* — не случайно и дю Вентре венчает «четыре слова», воплощающие для него все ценности мира, этим всеобъемлющим словом: любовь.

— Уходя от нас, ты собирался шевельнуть мозгой насчет рамки для пятьдесят второго, — начинал я пилить Юрку спозаранку, когда мы, хронически невыспавшиеся, проклиная гудок и день грядущий, облачались в свои портянки и телогрейки. Намек касался неосторожного Юркиного полуобещания, полупрограммы на ближайшее будущее, высказанных накануне вечером в порядке «мысли вслух»: надо будет, дескать, поискать рефренную свежинку для этой штуковины с тризной, не то засушим ее усмерть. В нашем содружестве я выполнял обязанности по преимуществу погонялы и редактора, первые — с большим, вторые — с меньшим или, во всяком случае, с переменным успехом. Ежедневное «давай-давай!» служит, если верить крупнейшим авторитетам в области расшифровки феномена «талант», не самым ничтожным компонентом последнего, так что в этой констатации нет с моей стороны ни капли ложной скромности, скорее наоборот. Юрка же был, вне всякого сомнения, основным, истинным, всамделишным талантом — хотя бы по такому неопровержимому признаку, как лень. Я говорю, разумеется, не о производственной его деятельности — там он горел, как дай бог каждому, — а о творческой: если нисходило на него вдохновенье, то, кажется, в виде чуть ли не самостийно возникающих поэтических образов, обычно сразу же в законченной, совершен-

---

\* Франция. Свобода. Вино. Любовь (*фр.*). См. сонет «Четыре слова».

ной форме, а вот работать — над строкой ли, над рифмой — ему было лень. Он морщился и корчился, словно от физической боли, когда приходилось — когда я *упрямо* требовал — что-то доработать, переделать, уточнить, отшлифовать. Юрке случалось «родить» гениальную строчку, которая и меня немедленно зачаровывала, но через минуту оказывалась, как на грех... шестистопником. Я раздражался проклятьями и тут же кидался прикидывать всякие усекновения, чтобы вогнать несуразную новорожденную в законные размеры. А Юрка все пытался как-нибудь увильнуть: и о презренной поверке алгеброй гармонии вспоминал, и про «новаторство» дю Вентре — почему бы ему и не вернуть, если уж на то пошло, хороший шестистопник, если он верно звучит? — но я оставался непреклонен. А злополучная строка оставалась недоделанной — и все из-за Юркиной лени! Впрочем, *de mortuis aut bene, aut nihil* \* — да простятся мне придирки мои, как прощены Юрке и лень его, и любовные мимолетности...

— Прости, что я так холоден с тобой, — не совсем уверенно говорил Юрка, краем глаза следя за моей реакцией.

— Вз я ли, — коротко кивал я, прикинув строку и в начало, и в конец почти готового сонета, в котором до этого не пахло ни любовью, ни вообще чем-либо личным: там были пока еще «вообще ламентации», и даже искренние, горестные, горькие, но все же какие-то безличные, рассудочные, не по-вентревски холодные.

Мы бежали в столовую — лакать утреннюю баланду, потом бежали на завод — кто в механический, кто в инструментальный, смотря по тому, что накануне было роздано в работу. Созвонившись, встречались на отладке приспособления, ругались из-за какой-нибудь непредусмотренной втулки или шпильки, шайбы Гровера или контргайки, не желавших вписываться в габариты станка или пресса, искали и находили — обычно тут же, на месте — выход из положения, сдавали новое приспособление мастеру участка и снова разбегались: Юрка — вносить изменения в технологическую карту и остальную документацию, я — оформлять акт и прочие бумаги для премии рационализатору и для всякой отчетности... Чего греха таить, и у нас бумагомарания хватало, в этом отношении мы не отставали от порядков на воле.

---

\* О мертвых — либо хорошо, либо ничего (*лат.*).

В столовке встречались мы редко, завод обедал в три смены, каждый заскакивал туда, когда было сподручнее. Но после обеда, зарываясь в новую кучу эскизов, в которых сам черт ногу сломать мог, Юрка успевал все же бросить через стол:

— А первый-то катрен — тю-тю, летит к свиньям собачьим. Ты не знаешь, в какую смену работает этот Шурочкин? Надо с ним повидаться — пусть на кулаках покажет, как он себе представляет свою гениальную оправку.

— Во вторую, он Витьку Косого сменяет: третий станок в первом пролете. Чихал бы я на твой первый катрен, там пока голая демагогия и жалкие сопли-вопли. Теперь уж надо тащить от первой, от ключевой строки, понимаешь, что-нибудь такое: все тот же я, может, немного суше — или строже, уж это от рифмы пойдет.

— «Прожил», — немедленно подхватывал Юрка. — Возьми пирожок с полки. Все тот же я, быть может — суше, строже... Та-та-там, а конец: я так много прожил. Пошел к Шурочкину.

И он убежал по нашим бризовским делам.

А первый катрен жил, вероятно, уже своей собственной жизнью, созревал где-то там, в глубинах подсознания, что ли, мы о нем больше не вспоминали до позднего вечера — до стихов ли тут, в нашей-то круговерти! — но только вечером он являлся во всей своей так называемой выношенности и наполненности, и режьте меня на части — не могу я, да и никогда ни я, ни Юрка не могли бы сказать, откуда в нем строка: гоним по свету мачехой-судьбой — самая, на мой взгляд, полнокровная и дю-вентревская.

Завод работал круглосуточно, в три смены, и многим придуркам приходилось порой крутиться все три смены подряд, так что и не понять уже, когда же люди спали и спали ли они вообще. А уж две смены работать — сам бог велел: мы знали, что Сталин работает далеко за полночь (с начала войны мы перешли в непосредственное подчинение Ставке Верховного Главнокомандующего, наш начальник то и дело докладывал кому-то «по прямому» — разумеется, не самому, но приказы и разносы передавались ему от имени самого, и тут, у нас, царила уверенность, что эти приказы и разносы вот только что были самим продиктованы тому, кто их передавал начальнику), да и все заводоуправление давно перешло на этакое круглосуточное бдение — совсем как на воле. Начальство после обеда уходило спать и вечером являлось свеженьким и полным новых сил, но мы

как-то не замечали — старались не замечать — этой привилегии: после войны отоспимся! Что ты сделал сегодня для фронта? А как же наши бойцы в окопах? А как же наши братья и сестры на воле да и не на воле — разве спят они?

Работягам было немного полегче: двадцать четыре часа, деленные на три, это восемь часов. Ни в горячих цехах, ни в механическом, за станком на поточной линии, больше восьми и не выдержишь, начнешь пороть брак, сбиваться с ритма. Заготовительные, столярно-кузовной и еще несколько участков работали, правда, по-прежнему, в две смены по десять часов, час на обед и час на пересменку. Ну, а придурки — как начальство, круглосуточно, только без послеобеденной *siesta*.

...Еще одна заноза в памяти. В шестьдесят четвертом в Италии я в первые дни все не мог понять, почему в два часа дня город словно весь вымирает. Мне охотно объяснили, что в эти часы все итальянцы должны *fare un po' di siesta* — поспать после обеда. Долго я не мог вспомнить, откуда знаком мне этот обычай...

Когда спишь урывками, когда день и ночь — особенно зимой — незаметно переползают друг в друга и только по гудкам и по отсчету смен (сорок первая смена сдала на шестьсот двадцать три молотка сверх плана... сорок вторая недодала полсотни отливок запальника...) отмеряешь течение времени, работа, еда, стихи и любовь или ее заменители тоже выходят из графика, вернее, подчиняются иному, необычному графику. Дорвавшись со слипающимися глазами до душевого отсека в котельной и кое-как освободившись от копоты и пота и выйдя в морозную звездную тишь, нарушаемую только уханьем большого молота Бэше где-то вдаль, ты непременно прикинешь, какой голод сильнее, и пойдешь не в столовку и не в барак, а в какой-нибудь закуток, где встретишь такую же усталую и такую же голодную душу — были у нас в лагере женщины, целых два барака. Работали и вольнонаемные.

— Прости, что я так холоден с тобой, — скажешь ты ей, или скажет ей Юрка (один скажет, другой будет стоять на вассере): — все тот же я. Быть может, суше, строже. Гоним по свету мачехой-судьбой, я столько видел, я так много прожил...

На тебя будут смотреть широко раскрытые глаза, и голодная душа, быть может, подумает, а если это любовь?

Ты ей ничего не скажешь. И ничего не дашь: ты нищ. И что такое любовь?

Сонеты дю-Вентре

Петрадь IV

ЧЕТВЕРЕ

СЛОВА





---

**ПЕПЕЛИЦЕ**

---

Неубранное поле под дождем,  
Вдали — ветряк с недвижными крылами.  
Сгоревший дом с разбитыми глазами,  
Ребенок мертвый во дворе пустом...

Ни звука, ни души. Один лишь ворон  
Кружит над трубами. Бродячий пес  
Меж мокрых кирпичей крадется вором.  
Забытый аркебуз травой зарос...

Все выжжено. Все пусто. Все мертво.  
Чей путь руинами села украшен?  
Кто здесь прошел — паписты? Или наши?

Как страшен вид несчастья твоего,  
О Франция! Ты вся в дыму развалин.  
Твои же сыновья тебя распяли...

---

**ЖИВОЙ РУЧЕЙ**

---

*Маркизе Л.*

В сухих песках, в безжизненной пустыне  
Из недр земли чудесный бьет родник.  
Как счастлив тот, кто жадным ртом приник  
К его струе, к его прохладе синей!  
И смерти нет, и старости не знают,  
Где трав ковер волшебный ключ ласкает...

Песком тоски, пустынею без края,  
Извечной Агасферовой тропой  
Бреду, гоним ветрами и судьбой.  
К твоим губам прильну — и воскресая.

Но горе мне! Испив нектар бессмертных,  
Я, как Тантал, не знаю забытья:  
Живой ручей, Любви источник светлый!  
Чем больше пью, тем больше жажду я!

*To lady T. V. L.*

Пока из рук не выбито оружие,  
Пока дышать и мыслить суждено,  
Я не разбавлю влагой равнодушья  
Моих сонетов терпкое вино.

Не для того гранил я рифмы гневом  
И в сердца кровь макал свое перо,  
Чтоб луврским модным львам и старым девам  
Ласкали слух рулады сладких строф!

В дни пыток и костров, в глухие годы,  
Мой гневный стих был совестью народа,  
Был петушиным криком на заре.

Плачу векам ценой мятежной жизни  
За счастье — быть певцом своей Отчизны,  
За право — быть Гийомом дю Вентре.

Французов приучают к двум богам.  
Один подлаживается к богатым:  
Он любит власть и блеск, парчу и злато,  
Ему аббаты курят фимиам.

Другой потрафить тщится беднякам:  
Вставать с зарей, трудиться до заката,  
Блюсти посты велит голодным свято,  
Привыкнуть к хамству, к нищете, к пинкам...

Есть третий — вспылчивый, но добрый Бог,  
Не слишком строгий к прегрешеньям нашим.  
Сам винодел, Он сам и землю пашет,  
Идя за плугом в золотых сабо;  
В вине и девках понимает вкус...  
Parole d'honneur \*\* — вот истинный француз!

\* Пока дышу. Начало строки из Овидия: «Dum spiro, spero»  
(лат.) — «Пока дышу, надеюсь...»

\*\* Слово чести (фр.).

Люблю тайком прохожих наблюдать я  
И выносить им желчный приговор...  
Вот эта дама, скромно пряча взор,  
Куда спешит? — К любовнику в объятья!

Ханжа-монах, прижав к груди распятые,  
В кабак идет, а вовсе не в собор.  
Проворно улепетывает вор,  
И вслед ему торговка шлет проклятья.

Вон девушка с повадкою весталки  
Спешит за справкой к своднице-гадалке:  
«Мадонна! Отчего растет живот?!»

А вот несчастный юноша бредет —  
Так нехотя, ну словно из-под палки:  
Не то к венцу, не то на эшафот.

Проклятый зной!.. Ругаясь по привычке,  
Взметая башмаками пыль дорог,  
Идем, идем... Ни выстрела, ни стычки.  
Я б отдал пять пистолей за глоток!

Торчат ограды выжженных селений —  
Картина, надоевшая давно.  
Кто написал здесь: «Шатильон — изменник»?  
Давай исправим: «Генрих Гиз — ...дерьмо!»

Хоть бы колодец! Чертова жара...  
Сюда б Ронсара: сочинил бы оду —  
Не про божественный нектар, про воду!  
А мне сейчас, клянусь, не до пера:

Пишу пока свинцом. Чернила — порох.  
Да временами — мелом на заборах!

---

**ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ**

---

Нотр-Дам де Шартр! Услышав твой набат,  
Склонив колено в набожном смиренье,  
Целую перст аббату. Но аббат  
Глаголет: «Сын мой, нет тебе прощенья!

В твоих глазах я вижу Сатану,  
Твой рот — немая проповедь разврата,  
И весь твой лик — хвалебный гимн вину.  
Нет, этот лоб не целовать аббату!»

О горе мне! Неужто не смогу я  
Святейшего добиться поцелуя  
И, грешник непрощенный, ввергнусь в ад?!

Но, слава Господу, есть выход дивный:  
Когда тебе лицо мое противно,  
Святой о т е ц , — целуй мой чистый зад!

---

**БРОДЯЧИЙ ШАРЛАТАН**

---

Спешите, люди добрые, купить-с!  
Ученый лекарь я, не чернокнижник:  
На дне бутылки вижу счастье ближних,  
Узнать могу я по глазам — девиц.

Каков товар! Он исцеляет горе!  
Вот от дурного взора амулет,  
Вот для влюбленных — приворотный корень.  
Купи, п а с т у х , — всего-то пять монет!

Вот мушки шпанские — мужьям ленивым;  
Бальзам, настойки, эликсиры, сок!  
Вот мазь целебная — от жен сварливых!  
От блох и попрошаек порошок!

Кому чего? От всех недугов лечим:  
Больных — добьем, здоровых — искалечим!

---

**ЖИЖКА НАШЕГО ПОЛКА**

---

До берега мне суждено доплыть:  
Долготерпенье исчерпавши, боги  
Пошлют Агриппе смерть на полдороге,  
Обрежут Парки трепетную нить.

Покроет олимпийца пыль и плесень...  
Ну что ж, друзья! Не надо лишних слов,  
Ни залпов пушечных, ни скорбных песен.  
Взамен бессмертья символов, венков

Попросим нашего мажортамбура  
Благоговейно снять с поэта шкуру  
И ею барабан свой обтянуть.

Заслышит враг в пронзительной шагрени  
Трескучий бред Агриппиных творений —  
Его сразит смертельный страх и жуть!

---

**НИНОН**

---

Печален перезвон колоколов.  
Прелестную Нинон несут в могилу...  
Сто человек рыдают. Все село,  
Идя на кладбище, скорбит о милой.

Сказал кюре: «О дочь моя, прощай!  
Ты долг свой выполнила перед нами...  
Прими, Господь, святую душу в рай —  
За доброту к нам, грешным. Amen!»

Сто человек рыдали над могилой,  
И каждый бормотал себе под нос:  
«Ни разу мне Нинон не изменила.  
За что ж ты, Господи, ее унес?!»

А муж сказал, наваливая камень:  
«За сто ослов, украшенных рогами».

**АЛХИМИЯ СТИХА**

Моря и горы, свадьбы и сраженья,  
 Улыбки женщин — и галерный ад,  
 Цветов пьянящий запах, трупный смрад,  
 Экстаз побед — и горечь поражений...

Как приготовить эликсир стиха?  
 К двум унциям тоски — три драхмы смеха;  
 Досыпь стеклянным шарантонским эхом,  
 На угли ставь — и раздувай меха.

Весь божий мир сейчас в твоём владенье:  
 Одним поэтам свойственно уменье  
 Влить в грани рифм бессонный жар души.

Плесни в огонь кипящим маслом злобы.  
 Свинец иль золото получишь? — Пробуй!  
 Боишься неудачи? — Не пиши.

**ПОПОЛНЕНИЕ**

Нет, друг, — ты для убийства молод слишком.  
 Хотя, признаться, в прежние года  
 Встречались мне ребята — хоть куда!  
 Вот помню случай: был такой мальчишка,

Не зря прозвали Петушком его!  
 Когда в Париже «ересь истребляли»,  
 Паркет покрылся кровью в луврском зале...  
 Папистов было три на одного.

Пьер ле Шатле был там... Он был так молод —  
 Тринадцать лет! Ведь он еще не жил!  
 Пять негодяев мальчик уложил,  
 Пока ударом в спину был заколот...

Ты сжал кулак... не плачешь? Значит, понял.  
 Дай пять: ты принят в эскадрон. — По коням!

*Агриппе д'Обинье*

На площади, где кумушки судачат,  
А я торчу в харчевне день за днем,  
Циклоп-кузнец подковывает клячу  
У горна с добрым золотым огнем.

Пыхтит над мехом юркий подмастерье,  
Кобылу держит под уздцы солдат...  
Сдается мне (иль это суеверье?) —  
Я видел это сто веков назад:

Вот так Вулкан ковал оружие богу,  
Персей Пегаса снаряжал в дорогу,  
И фавн-чертенок раздувал меха,

А фавн-поэт, любимец Аполлона,  
В такт молота по наковальне звона  
Ковал катрены своего стиха...

Когда червям на праздничный обед  
Добычей лакомой достанусь я —  
О, как вздохнет обрадованный свет —  
Мои враги, завистники, друзья!

В ход пустят пальцы, когти и клыки:  
С кем спал, где крал, каким богам служил...  
Испакостят их злые языки  
Все, чем поэт дышал, страдал и жил.

Лягнет любая сволочь. Всякий шут  
На прах мой выльет ругани ушат.  
Пожалуй, лишь ростовщики вздохнут:  
Из мертвого не выжмешь ни гроша!

Я вам мешаю? Смерть моя — к добру?  
Так я — назло! — возьму и не умру.

По счету «раз!» готовь рапиру в бой.  
На «два» — нога вперед, клинки скрестились.  
Парируй: «три!» — рука над головой.  
Держись прямой, не забывай о стиле!

Пти-Жан когда-то увлекался четвертой,  
Вот так: удар, скольжение, взмах, укол.  
Ого! Видать, и ты боец азартный!  
Отлично, мальчик, — значит, будет толк.

Теперь смотри — так дрался Поль Годар:  
Шаг в сторону, отвод, прямой удар!  
Но сей прием всегда держи в секрете...

Еще одно: коль хочешь бить, как лев,  
Придать руке уверенность и гнев —  
Представь, что твой противник — Генрих Третий.

Застыло утро в нежном забытьи...  
Склонившись над водою, с удивленьем  
Ты любовалась двойником своим —  
Кокетливым, лучистым отраженьем.

Какое колдовство таит вода!  
То — младшая сестра твоя, наяда!  
Твое лицо пытаюсь увидеть,  
Я бросил в воду камень из засады.

Пошли круги, и замутилась гладь.  
Скорее — вплавь, в погоню за прекрасной!  
Стыдливые мольбы твои напрасны —  
О нежная, моей должна ты стать!

...Кой черт! Я — перед мраморной Дианой.  
Довольно! Больше пить с утра не стану.



---

**АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ**

---

С врагами справится любой дурак —  
От благодетелей избавь нас, Боже! —  
Гласит пословица. И впрямь, похоже,  
Что добрый — бедному опасный враг.

Купив ослу зеленые очки,  
Мякиной Жак кормил его досыта,  
Осел чуть не вылизывал корыто.  
Жак ликовал: любуйтесь, мужички!

На сене Жак немало сэкономил:  
Осел привык к опилкам и соломе.  
Но через месяц почему-то сдох.

...Горя любовью к ближнему, сеньоры  
Ввели оброки, отменив поборы.  
Ликуй, крестьянин!.. но ищи подвох.

---

**СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ**

---

Ты встречи ждешь, как в первый раз, волнуясь,  
Мгновенья, как перчатки, тербя,  
Предчувствуя: холодным поцелуем —  
Как в первый раз — я оскорблю тебя.

Лобзание коснется жадных губ  
Небрежно-иронической тенью.  
Один лишь яд, тревожный яд сомненья  
В восторженность твою я влить могу...

Чего ж ты ждешь? Ужель, чтоб я растаял  
В огне любви, как в тигле тает сталь?  
Скорей застынет влага золотая  
И раздробит души твоей хрусталь...

Что ж за магнит друг к другу нас влечет?  
С чем нас сравнить? Шампанское — и лед?

**ОТЦУ СЕМЕЙСТВА**

С тех пор, как ты оставил эскадрон,  
Я не писал еще тебе, приятель.  
И если б не стечение обстоятельств,  
Еще сто лет не брался б за перо.

Но видишь ли... Не знаю, как начать я...  
Ты помнишь Непорочное зачатъе?  
Так вот: такой евангельский куръез  
И нас постиг. Мы тронуты до слез!

Прими, Агриппа, наши поздравленья:  
Ты стал отцом по Божьему веленью,  
И я — твой кум (к чему я не пригож!).

Ты думаешь — смеюсь? Помилуй, что ты!  
У нашей маркитантки, у Шарлотты,  
Родился сын... Он на тебя похож.

**ВЪЕЗД ГЕНРИХА IV В ПАРИЖ**

Со всех церквей колокола гремят.  
Победный легион изображая,  
Идут солдаты по двенадцать в ряд:  
Наш доблестный король в Париж въезжает!

Как дешев нынче стал триумф такой:  
«Король — католик! Отворяй ворота!»  
Черт с ними, с сотней тысяч гугенотов,  
Расставшихся в сраженьях с головой!..

Соборы. Башни. Скаты острых крыш...  
«Ты что, опять извлек перо, повеса?»  
— Да, государь: я воспеваю... мессу!  
...Цветы, Девчонки... Здравствуй, мой Париж!

А из толпы кричат: «Пошла потеха!  
Соседи, прячьте жен — Анри приехал!»

Недавно я ужасно расстроился. Мне это обычно не свойственно, никакой единичный факт, пусть даже драматический или трагедийный, неспособен, кажется, всерьез и надолго вывести меня из относительного равновесия. Близкие мои про себя приписывают это, вероятно, толстокожей бесчувственности, а вслух именуют завидной выдержкой. Я понимаю подобную характеристику так: моя невозмутимость приемлется окружающими при некоем априорном условии, что где-то там внутри у меня все же что-то такое шевелится, реагирует и сочувствует. Они ошибаются и напрасно надеются, я, пожалуй, действительно обладаю врожденным или, скорее, благоприобретенным иммунитетом, отнюдь меня не красящим, но от меня и не зависящим.

Однако на сей раз столкнулся я не с единичным фактом, а с какой-то полосой или серией, будто нарочно их кто-то подбирал и подсовывал мне — не без тайного умысла. Едва отмахнувшись от одного пренеприятного открытия, я тут же напарывался на второе, а там и на третье, пока наконец количество не перешло в качество и не испортило мне, как сказано, настроение. Будто забрали у ребенка любимую игрушку и разломали ее, а другой такой на свете нет. Ну, у меня-то забрали не игрушку, а идею или некий комплекс идей, образующих весьма существенную грань мировоззрения, — и превратили этот комплекс в игрушку, в нонсенс, в ничто.

Началось все, если быть честным, уже давно — где-то на стадии моего (чисто любительского, обывательского) знакомства с понятием бесконечно малой величины и квантовой теории света. Говоря и коротко, и упрощенно, меня неприятно поразило, что минимальная доза света — квант — обладает гигантскими параметрами по сравнению с целой кучей достоверных элементарных частиц, не говоря уже о частицах гипотетических — еще не обнаруженных, но более чем вероятных. Эта диспропорция исключает «освещение» элементарной частицы: квант света попросту прихлопывает ее своей громадой, и мы ее никогда — понимаете, никогда! — не «увидим» в житейском смысле слова. Ну разве не обидно?

В какой-то мере утешило меня, что знакомство с микромиром может все же продолжаться дальше и вглубь —

пусть не путем прямого визуального наблюдения, так путем добычи отраженных, косвенных признаков и доказательств. И все равно — обидно!

Потом — совсем в другой области — меня ожидал новый удар под вздох. На старости лет я вынужден был признать, что мы в конечном счете не можем членораздельно определить сущность музыкального произведения, если от стасовских восторженных воплей перейти на деловую прозу. У польского теоретика Романа Ингардена, например, в его «Исследованиях по эстетике» есть стройное, неопровержимое изложение вот какого парадокса: оставаясь на материалистической платформе мировосприятия, невозможно классифицировать вальс Шопена или симфонию Брукнера как нечто объективно существующее на свете. Ведь мы, материалисты, признаем существование чего бы то ни было, если это что-то относится к одному из четырех возможных и объективно доказуемых явлений реальности. Вот эта четверка: предмет, процесс, событие, интенциональное представление. Вальс Шопена — самый вальс, а не его запись (нотная или механическая), — конечно, никакой не предмет, ибо предметы вещны. Он и не процесс, хотя любое его исполнение (или копирование) будет несомненным процессом. Он и не событие, хотя стадию его сочинения, зарождения в мозгу композитора и можно отнести к разряду событийного; но когда Шопен его впервые исполнил (или записал), вальс вышел из событийной стадии и стал чем-то другим; но чем же? Остается допустить, что он стал интенциональным представлением — то есть относится к области тех объективно существующих мировых законов (в широком диапазоне от формулы дважды два — четыре до еще не познанных нами, но несомненно наличествующих формул теории общего поля и т. д.), которыми шаг за шагом овладевает человеческое знание. Но тогда получается, что никакой «новой» музыки сочинить нельзя, да и вообще вся только мыслимая музыка «уже существует» где-то во вселенских просторах, и мы ее только выуживаем оттуда кусок за куском, подобно тому как ученые шаг за шагом добывают все новые крупницы и глыбы научного знания.

Это, очевидно, не так. Но тогда — как же?!

Следующий удар пришел из астрономии, до которой мне, честно говоря, никакого дела не было. Я просто читаю газеты и журналы, как все мы, и так же равнодушно пропускаю сквозь свое инертное сознание достаточно могучий

поток информации, лишь изредка на чем-то задерживаясь и уж совсем редко выходя из себя. Однажды я прочел что-то популяризаторское насчет расширяющейся Вселенной. Меня не слишком смутил сам факт постоянного разбегания галактик в разные стороны друг от друга — я им вполне сочувствовал, и сам бы иной раз охотно разбежался... Споткнулся я только на такой малости, как прогрессирующая скорость этого разбегания: чем дальше от нас, тем быстрее они удаляются. И где-то — как выяснилось, не так уж и далеко — они достигают огромной скорости. Скорости света. Относительно скорости света мне издревле внушено, что выше нее ничего быть не может. Оставляя за скобками криминальный вопрос, как происходит дело с увеличением скорости разбегания галактик за пределами черты, достигнув которой они движутся со скоростью света, я остановился мыслью на самой этой черте — с меня и этого достаточно. В душу стали закрадываться нехорошие подозрения и кощунственные догадки, обретшие вскоре весьма грустные подтверждения.

Вместо собственного дилетантского лепета я снова сошлюсь на авторитетного исследователя. Вышла у нас, к примеру, книжка Виктора Ф. Вайскопфа «Наука и удивительное», автор которой запросто, безо всяких содроганий и ламентаций, констатирует, что «если даже и существует гораздо больше галактик, удаленных на расстояние, превышающее 10 миллиардов световых лет (расстояние, на котором соотношение Хаббла дает скорость удаления, равную скорости света), даже если их и бесконечно много, нам не удастся увидеть их; они удаляются от нас настолько быстро, что их свет никогда не сможет достичь нас». Хорошенькое дело, а?

Вот так мне окончательно испортили настроение. Живешь-живешь себе в полной уверенности, что нет никаких границ человеческому познанию действительности, и каждая крупница узнавания наполняет тебя гордым и радостным чувством: постигаю, братцы, *cogito ergo sum!* \* — а тут вдруг, здорово живешь, тычут тебя носом в какие-то границы и пределы, заборы, глухие стены и проволочные ограждения, успевшие уже и в малом напортить тебе нервов и надоесть до тошноты. Как тут не расстроиться?

Можно бы, конечно, успокоиться на том, что и в пре-

---

\* Я мыслю, следовательно, существую (*лат.*) — афоризм Декарта.

делах радиуса в каких-нибудь 10 миллиардов световых лет есть еще немало неизведанного, непознанного, неразгаданного и по меньшей мере тебе-то лично неизвестного, так что и впредь каждый день и час сулит тебе все новые открытия — все новое счастье. Но разве сравнить это строгое ограничение, запертое в крохотный мирок с эпицентром в районе твоего пупа поле деятельности твоего жадного, ненасытного интеллекта с теми просторами, какие рисовались тебе на заре туманной юности, когда ты впервые услышал заверения в безграничности возможностей познания мира?!

Мне очень трудно объяснить суть моего расстрой-ства — не столько другим, сколько самому себе. Будучи полным профаном и невеждой в слишком многих областях науки и философии, я все же льщу себя уверенностью в достаточно широких, глубоких и многократно выверенных познаниях — пусть в очень скромных, локальных, ограниченных сферах своей профессии. Речь в моем случае идет, видимо, не о грандиозных конфликтах, решаемых на уровне Эйнштейнов, а о сугубо житейских, повседневных микро-драмах, возникающих на каждом шагу — когда, к примеру, ты открываешь партитуру 8-й симфонии Брукнера, чтобы глазами сыграть себе перед сном ее первую часть (прежде это так помогало!), или объясняешь Юрке-маленькому устройство понижающего трансформатора, через который он черпает энергию для своих крохотных моторчиков — прямо из розетки осветительной сети (раньше это казалось таким полезным!), или тщетно пытаешься растолковать очередному режиссеру, что две страницы пустейшего диалога в нашем сценарии можно и нужно заменить таким-то элементарным монтажным ходом, с привлечением таких-то примитивных, но действенных звуковых средств выражения (некогда это представлялось таким важным!)...

Сейчас я делаю все то же, что и раньше делал, а много, говорят, делаю даже еще лучше прежнего... но только сам-то я знаю, что тут больше инерции и привычки, нежели прежнего «горения», и если что-то удастся мне лучше, чем другим, то в этом повинны другие, еще не научившиеся (или не полюбившие) хорошо работать, а не моя заслуга, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком, или — короче и жестче — что я попросту состарился, выхожу в тираж. Никаких особых радостей от наступающей старости я не испытываю — что бы там ни толковали прежние и нынешние старцы любых верований и областей умственной деятельности.

Помимо неприятных новшеств в сфере чисто научного познания (которого, впрочем, на свете едва ли не больше, чем «чистого» искусства: тоже блеф, уж мы-то с вами знаем, что никакого пульса нет...) появились в последние годы тревожные сдвиги и в мирной области познания нравственности, всякие там этические интроспекции с весьма, я бы сказал, далеко идущими выводами. От традиционного, безвредного обличения зла вовне, в его очевидных носителях, некоторые не в меру дотошные товарищи перешли к поиску первопричин и предпосылок зла в самих себе, прозрачно намекая и на более широко приложимую подозрительность к субстанции нонешнего человека. Сама идея не так уж и нова. *Gnothi seauton* \* было начертано, помнится, еще на дельфийском храме Аполлона, вот только вопрос: до какой черты, на сколько, так сказать, пунктов анкеты?

На Западе и на Востоке сегодняшние пристрастные самовопрошания вызваны благим намерением как-то осмыслить возможность возникновения фашизма. У нас — стремлением понять первоистоки культа личности. Все правильно. Люди, будьте бдительны, давайте стараться жить так, чтобы все было хорошо и ничего не было плохо. Казалось бы, чего же проще?

Мне, признаться, уже и в пионерах именно так и казалось. Недостаточность добра в мире мне представлялась прямым следствием неведения какой-то темной части человечества, в чем, собственно, добро, а в чем — зло. Нас довольно рано убедили, что мы-то уж точно разбираемся в этом деле, поэтому я всю дорогу и старался просвещать современников, которые еще не охваченные, — то расклеивая прокламации, то посвятив себя без остатка служению самому важному из искусств, то еще чего-нибудь по мелочам: статейка там какая, или лекция, или кружковая работа, или педагогика.

Ни лагерь, ни ссылка ничего во мне и в моем отношении к миру и к методике его переустройства не изменили, я так и помер бы (неисправимым оптимистом), если б, как сказано, в последнюю минуту не стали докучать мне всякие ревизии — то познаваемости мироздания, то дефиниций искусства, то уж даже самопознания. Позвольте-ка, я процитирую вам для наглядности абзац из дневника Макса Фриша, замечательного писателя, с которым наша широкая публика еще только начинает знакомиться.

---

\* Познай самого себя (*греч.*).

Размышляя о недавнем кошмаре, окутавшем его родину и принесшем такие бедствия всей Европе, Макс Фриш спрашивает себя: «Если люди, получившие то же воспитание, что и я, произносящие те же слова, какими и я объясняюсь, любящие те же книги, ту же музыку и ту же живопись, какие я люблю, — если эти люди ни в коей мере не застрахованы от возможности стать нелюдями и совершать поступки, которых мы от человека наших дней — за исключением единичных патологических случаев — никогда прежде не могли бы ожидать, — где почерпнуть мне уверенность, что я от этого застрахован?» \*

Это — на Западе. На Востоке — ну, прочтите хотя бы «Море и яд» Сюсаку Эндо, если уж вы мне не верите на слово. Из соотечественников, анализирующих схожие вопросы по схожим поводам, я никого называть или цитировать не буду, они и без меня достаточно известны. Хочу только привести высказывание моей тещи, представляющееся мне весьма типичным для целой формации советских интеллигентов. Многое у меня — «не как у людей»: например, вопреки любым анекдотам, у меня совершенно изумительная теща, и наша взаимная любовь могла бы лечь в основу совсем другой книги, куда более жизнерадостной и интересной... Познакомился и подружился я с ней только в пятьдесят четвертом году, когда она, после всех потрясений, из которых лишь немногие члены ее семьи вышли живыми, вернулась с Колымы. Тогда же мы с ней и обменялись первыми мыслями о всем случившемся на нашей земле, причем преимущественно в плане «Кто виноват?» Небольшой возрастной разрыв, который с годами становится все меньше — когда моей теще будет в два раза больше лет, чем сейчас, мне тоже будет 115 и разница станет совсем ничтожной, — в тридцать седьмом был все же достаточен, чтобы я сел в тюрьму юнцом комсомольского возраста, а теща моя — коммунисткой с изрядным стажем. Поэтому наши наблюдения и выводы и носили несколько различную окраску и были нам взаимно интересны.

— А кого винить-то? — спрашивала моя теща с глуповатым видом. — Мы совершали революцию, мы защищали ее на всех внешних и внутренних фронтах, мы сами строили государство. И если мы его так построили, что в нем — несмотря на ясные предупреждения Ленина — оказалось

---

\* Max Frisch. Ausgewählte Prosa. Frankfurt/Main: Ed. Suhrkamp; 1963. S. 42 (перевод мой. — Я. Х.).



возможным возникновение культа и всех его трагических последствий, — зачем же искать виновников на стороне?..

Вот как обстоят дела с современным выполнением древней рекомендации, начертанной на портике храма в Дельфах. Это — одна сторона, скажем так: этическая. А другая, как уже отмечалось, омрачается столь же грустными уже не сомнениями даже, а совершенно категорическими утверждениями: во-первых, голубчик, брось трепаться насчет облагораживающего воздействия всяких там муз — ты ведь даже не можешь определить, что такое музыкальное произведение. Во-вторых, не шибко уповай и на науку — ты же знаешь, что за чертой в 10 в девятой степени световых лет, равно как за чертой в 10 минус какой-то там степени миллимикронов, на нашем дорогом шарике не только сейчас ни шиша не видно, но и никогда, ни при каких условиях ни черта разглядеть нельзя будет...

Страшно подумать, что Юрка-маленький, ставши большим и лысым, должен будет — одно из двух: либо довольствоваться тихими радостями вегетативного бытия среди многомиллионных полчищ «средних» людей, отгородившихся ото всего барьерами мещанства, возведенного в ранг высшей доблести, или же вознестись на такую высоту нравственного и интеллектуального парения над миром, на которой теория относительности и другие нынешние премудрости, «простым смертным» малодоступные, будут лишь азбукой, лишь некими древними основами нового языка и мира представлений. Я не завидую ни в том, ни в другом случае. Мне почему-то жаль, что он уже не сможет, оторвавшись от доброго, старого микроскопа или телескопа, сказать своей подруге: «Агафья, оказывается, у Солнца есть протуберанцы!» или: «Оказывается, они фильтруются!»

В общем, я человек по всем статьям старомодный. Юркино детство представляется мне обедненным и обворованным — не потому, что у него чего-то нету, а потому, что у него всего слишком много. Когда я настраивал свой первый детекторный приемник — а было это в пору, когда и радио-то только что вступило в общение с широкой публикой, — появление первых членораздельных звуков в наушниках было для меня событием огромного значения. Оказывается, можно передавать звуковые сигналы безо всяких проводов!

Ничего похожего Юрке-маленькому не угрожает. Радио, кино, телевидение — все это он узнал раньше, чем какие бы то ни было иные средства коммуникации, и едва ли

он когда-либо оценит величие этих достижений. А если и оценит, то умозрительно, вне личной биографии, вне дивно-го чувства соучастия в их рождении.

Это ничем не заменимое эвристическое «оказывается» всегда служило мне многообещающей приманкой и стимулом — на завтра, на ближайший год, на дальнейшую жизнь. В детстве я засыпал в надежде и уверенности, что завтра непременно снова будет что-то новое, интересное, еще определенное методикой, не просто сулившей, а точно предсказывавшей и объем и характер предстоящих мне открытий. И как-то так получилось, что позже сама жизнь постоянно давала мне знать о себе, так сказать, сплошными новостями — не всегда, разумеется, хорошими и приятными, но наверняка всегда интересными, любопытными.

В биологическом кружке занимался я не из отвлеченной любви к природе, а из чистого любопытства к окраске глаз белых мышей. У белых мышей глаза большей частью красного цвета. Но этот красный цвет бывает, видите ли, разного происхождения. Если белая мышь — белая, потому что она альбинос, то есть из-за неспособности ее покровов принять ту или иную пигментацию (окраску), то краснота ее глаз — результат просвечивания крови сквозь неокрашенную, бесцветную роговицу. Но есть мыши, обладающие активным белым цветом, глаза у них бывают и голубые, и карие, как у людей или собак, но бывают и красные. Было в те времена несколько способов узнавания, альбинос ли перед тобой или же активно белая мышь, но самый хитрый способ — это узнавание по цвету глаз. Для этого надо только вооружиться терпением, дать подопытной мышке выйти замуж и наплодить деток, а потом отобрать из деток белых мышек с красными глазками, дать им подрасти, снова спарить их и снова отбирать — и тогда, примерно в двенадцатом колене, можно с достаточной уверенностью утверждать, что пра-пра-пра- и так далее бабушка обладала гомозиготно-доминантной белой окраской шкурки и соответственно ярко-красным цветом глаз. А при ином результате можно было сообщить соседу по парте: «Ты знаешь, Гельмут, у 427-й мышки краснота глаз была, оказывается, гетерозиготной! Вот нахалка, а?»

Разумеется, и я, и большинство гельмутов отлично понимали, что затеи, подобные экспериментальной проверке Менделевых законов наследственности, не более чем умелый педагогический прием нашего биолога. Но это пони-

мание ничуть нас не смущало, даже напротив! Мы только влюблялись в учителя, ухитрившегося нас, нормальных двенадцатилетних циников-урбанистов, увлечь своей наукой. Об отвлеченной «любви к природе» он и не заикался: гимназия была мужская, ахи и вздохи на нас не действовали, и даже не припомню я, чтобы кто-то из моих одноклассников возился дома с аквариумом или с птичкой в клетке: в моде были фотоаппараты и первые радиоприемники, духовые ружья и велосипеды. А вот наш биологический кабинет мог бы украсить иную нынешнюю станцию юннатов. Биологию преподавал нам аспирант института Гольдшмидт, и нам ужасно льстило, что нас не пичкают прописями по учебнику, а доверяют нам — пусть в скромных школьных масштабах и в меру доступных нам знаний предмета и техники — проводить опыты, параллельные, а стало быть, потенциально и равноценные тем, которые ставил наш учитель в специальном исследовательском институте, — шутка ли!

Я не мог тогда знать, что вскоре у меня на родине генетику объявят буржуазной лженаукой и запретят, а в Германии — превратят в бредовую расовую теорию, так что сейчас я вспоминаю о моем тогдашнем увлечении теорией наследственности не из запоздалого кокетства, а из куда более грустных и утилитарных соображений. Я вот думаю: пойдет Юрка-маленький в школу и станут ему начитывать насчет тычинок и пестиков, или насчет образа лишнего человека в литературе XIX века, или насчет впадения Волги в Каспийское море — в общем, ту же примерно бодягу, какую его маме и бабушке начитывали, — и что же Юрка усвоит? И не начнет ли его поташнивать раньше, чем он обретет вкус к познанию? И когда, собственно, научится он высшей радости жизни — работать, находя крупницы творческой радости в любой работе, хоть в нарезке гаек, хоть в разведении кактусов, хоть в сбрасывании снега с крыши, — если он уже сейчас так свыкся с тем, что все на свете делают для него и за него чужие дяди и тети, оставляя на его долю разве что никому не нужное карябанье кружочков и палочек? Зачем ему каллиграфия — в век стенографии, диктофона и пишущей машинки? Зачем волку жилетка — об кусты рвать?

Эти педагогические раздумья завладели мной, правда, задолго до рожденья Юрки-маленького. В сорок восьмом, дав нам годик отдышаться, нас — «набор» тридцать седьмого — решили снова «призвать»: видимо, по первому заходу

не удалось определить, кто истинный альбинос, а кто мимикрирует, маскируется. После соответствующих процедур мы отправились «на вечное поселение» в Красноярский край (кавычки-то потом появились, когда выяснилось, что ничто не вечно под луной, а тогда было еще не до кавычек), и там, в районном селе, отстоящем от железной дороги на семьдесят километров и основанном еще в 1762 году для тех же самых целей (за прошедшие два века там успели пожить и поумирать, в частности, несколько декабристов), мне довелось — меж прочих разнообразных дел — пару лет поработать счетоводом в школе, а попутно и вести в пятых — седьмых классах черчение и физику: учителей у нас permanently не хватает. К счастью, уже начали поговаривать насчет политехнизации школы, а то бы я спасовал. Вспомнив самое яркое из собственного детства, я отправился в соседнюю МТС и провел там артподготовку. Вскоре нам выделили выбракованный двигатель, мы там же распилили его вдоль и перетащили в школу, прихватив от шефов еще и кучу таблиц — от прошлогодних курсов трактористов остались.

Занятия в автотракторном кружке (а в этом первом кружке занималось под конец учебного года чуть ли не полшколы, так что пришлось разделить занятия на три группы, и принимать одних успевающих, и подвергать исключению нарушителей дисциплины, и т. д., и т. п.) служили отличным катализатором для всей физики, и для химии, и даже математики! Одно дело — учить какие-то там правила правой или левой руки, формулы сопротивления и прочие законы Ома в селе, живущем почти сплошь на керосине. Другое дело — всамделишный мотор! Ах, оказывается, в нем нужно какое-то зажигание? От аккумулятора? От динамо? Сделайте одолжение, расскажите про электричество — это ж совсем другое дело!

...И снова я думаю: бедный мой Юрка-маленький! Какими калачами придется его заманивать — ладно, не про электричество идет разговор: это я ему как-нибудь сам растолкую, невелика н а у к а , — а вот, скажем, в сферу термодинамики? или акустики? или оптики?

В Сибири ради этой проклятой оптики пришлось организовать фотокружок — приятное с полезным. А что делать в Москве?

Вернее, так: что делать сегодня, чтобы и нашим детям показалось увлекательным и удивительным, что вот, оказывается, зеркало отражает предметы по закону «угол

падения равен углу отражения» и так далее, чтобы они не проходили равнодушно мимо зеркала, словно и чуда-то нет в нем никакого? Не так давно Юрка-маленький спросил меня, для чего в нашем лифте висит зеркало. Я ему сказал: чтобы ты и другие мальчики, пользующиеся лифтом, смотрели в зеркало, а не царапали на стенках кабины всякие непристойности. Юрке бы подивиться мудрости отца, но об этом он и не подумал. Он только пристаёт ко мне с тех пор: что такое непристойности и как их царапать на стенке.

А ребята в той сибирской школе одновременно с ее окончанием получали на руки и права — тракториста и водителя автомашины. Я не знаю, пригодились ли эти документы (или знания) кому-нибудь из моих кружковцев практически. Во всяком случае, никому из них не угрожал конфуз, случившийся со мной перед Дорой...

Кстати, и в консерватории меня влекли, сколько я помню, лишь новые сведения, новые факты, — пожалуй, иной раз и новые звучания, и новые (для меня — новые, но в действительности очень даже древние) объяснения различных звучаний... Никогда не забуду, каким откровением было для меня объяснение «таинственности» увертюры к «Летучему голландцу». Ну, все вы знаете эту увертюру, и совершенно исключается, чтобы вы не ощутили этакого холода, пробегающего по коже при первом же проведении первой темы: столько в ней напряженной неизвестности, недосказанности... А ларчик открывается весьма просто: оказывается, тут Вагнер впрямую недосказывает — очень долго он не дает прозвучать терции, ни большой, ни малой, и мы, слушатели, из-за этого умолчания никак не можем определить тональность — то ли мажор, то ли минор? Вместо определенного трезвучия (мажорного — с большой терцией или минорного — с малой) звучит голая квинта, затем звучат еще и промежуточные ступени (кроме шестой, которая тоже могла бы «проболтаться» о своей тональной принадлежности), и эта-то недосказанность в первую очередь и создает у нас чувство тревоги, таинственности и прочей мистики.

О том, как трудно сегодня играть Моцарта и вообще клавесинную музыку на современном рояле, я уже говорил, а сейчас упомяну только, что сама-то трудность эта привлекла к себе мое внимание в свое время опять-таки в связи с открытием, сделанным мною в первое же посещение нашего музея — коллекции старинных инструментов. Стоял там и моцартовский клавесин, и с высочайшего разрешения

смотрителя можно было присесть к нему и поиграть на этом странном драндулете, даже и клавиши которого были «не нашего» цвета: нижние — черными, а верхние — белыми... Я опустил руки на эти клавиши, хранившие, как кажется в подобном случае, еще если не тепло, то, может, остатки дактилоскопии моцартовских пальцев, — ну, почему ж и не пофантазировать?

Я только капельку поиграл, самую малость — каких-нибудь десяток тактов, а дальше играть не мог: радость вызывает и смех, и слезы. Слез не было (я ведь толстокожий), а смеялся я от души: вон как, оказывается, звучало то, что написал Моцарт! А мы-то, дурачки, хотим воспроизвести это на Бехштейне! Ну-ка, ну-ка, давай еще немного попробуем... Ах, черт, как это звучит!

С этого и началось.

Потом, уже у Шрекера (Франц Шрекер номинально руководил нашим дирижерским классом, но из-за старости, бурной композиторской и дирижерской деятельности, да еще из-за своего «генерал-музик-директорства», совсем ему ненужного, посещал нас крайне редко, поручая занятия многочисленным ассистентам), я чуть ли не каждый божий день узнавал все новые профессиональные секреты, по-настоящему увлекательные, неожиданные, гениальные и простые одновременно. Чего стоит хотя бы «проблема атаки», как называют эту штуку молодые (а иногда и не очень молодые) дирижеры! Суть дела состоит в том, что начало игры — атака — протекает совершенно различно на разных инструментах. Ударные и струнно-смычковые могут практически начать «строго по руке»: первое же прикосновение к звучащему телу (струне, коже литавры, тарелке и т. д.) зарождает звук. Иная картина у духовых: подуть в кларнет или в тромбон — это еще не значит извлечь звук, воздушному потоку необходимо еще возбудить определенные колебания, привести весь инструмент в некое состояние звучания, — короче говоря, у духовых атака слегка задержанная.

У плохого дирижера оркестровые вступления нередко звучат этаким расхлябанным арпеджио — будто после неопределенного приглашения вожака («Ну, пошли, что ли?») двинулись в путь туристы, погромыхивая котелками и побрякивая плохо пригнанным снаряжением. У хорошего дирижера оркестр вступает слитно, как лейб-гвардейцы на церемониальном марше... или, без отвлечений, — как единый инструмент под пальцами уверенного музыканта. Уж

как это достигается — рассказать, пожалуй, невозможно, это можно разве что показать. Но есть в этом, конечно же, и сугубо ремесленная, профессиональная сторона, технология которой складывается из приемов и частностей, ничуть не более мудреных, чем любая другая — например, технология лесоповала. Ее надо попросту знать. Надо уметь это делать, вот и все.

Ну, чего вы смеетесь? Насчет лесоповала? А вы сами когда-нибудь пробовали повалить топором кедр в три объёма? Ну вот — попробуйте, а тогда уж смейтесь, если вам весело будет. Мне как-то пришлось попробовать — ничего смешного, уверяю вас. Было это под Комсомольском, с Аркадием, вскоре же после прибытия в те славные края. Выдали нам лучковые пилы и топоры, привели на делянку, велели разбиться на пары и валить строевой лес. Объяснили в двух словах, какова норма выработки «на большую горбушку» и как определяется кубатура бревна... В скобках — к слову пришлось — любопытная деталь: бревно круглое, но бригадиры и десятники вычисляют кубатуру без всяких там «пи квадрат», опять же каким-то своим, профессионально-безошибочным способом.

Так вот, стало быть, мы с Аркадием, несмотря на полудистрофическое состояние, все же быстро сообразили, что в толстом дереве кубатура больше, нежели в тонком, и что нет, пожалуй, смысла расходовать энергию на зауряд-дерева обычных габаритов. В этом сказалась наша интеллигентность, чтоб ей пусто было. Побродили мы по участку и выбрали деревцо, в которое легко вписалась бы экспериментальная однокомнатная квартирка с совмещенным санузлом. Взяться за лучковую пилу и довольно скоро утопили ее в стволе так, что ни взад, ни вперед она уже не двигалась. Потом взялись мы за топоры и пообкусали кору и капельку древесины поверх запиловки. На этом первая атака исчерпалась: ни пилой, ни топором дальше пути не было, и мы переместили свои усилия немного в сторону, по касательной к первому надрезу. Так, шаг за шагом мы чертили первую линию нападения и к концу второго дня замкнули кольцо вокруг нашего кедра. Потом мы продолжали нашу работу — как нам казалось, с возрастающим мастерством — в течение почти трех недель. С голоду мы не умерли только потому, что в течение первого месяца нас держали на карантинном «гарантийном пайке» — восемьсот граммов хлеба нам было обеспечено, не считая приварка. Потом мы уехали на другой объект, так что я уж не знаю,

удалось ли кому-нибудь после нас свалить тот кедр, или же он так и стоит до сих пор с незначительной поясной зарубкой у самого основания. Надо бы съездить и поглядеть — все никак не соберусь...

Комсомольск-на-Амуре и по другим статьям оставил по себе весьма глубокие следы в моей памяти. Их яркость вызвана, очевидно, и свежестью — первичностью — впечатлений, и непродолжительностью пребывания там, и перенесенной цингой (из-за нее меня оттуда и выпроводили), и даже известной экзотичностью многих явлений. Уже самое начало было любопытным. С вокзала нас отправили прямо в тайгу пешком и налегке, и вместе с нами шли сани с палатками, плотницким инструментом и провиантом. Охраны было совсем мало — человека три, четыре, не более. Достигнув какого-то пункта, для непосвященных ничем не приметного, старшой скомандовал привал и собрал нас на самую крохотную и толковую конференцию, какую мне довелось повидать. Смысл выступления старшого был таков: хотите жить? Устраивайтесь. Вот лес, а вот — топоры и пилы. Стройте себе дома. Хлеба хотите? Стройте пекарню. Мыться хотите? Стройте баню. В общем, стройте что хотите — и клуб, и кино, и санаторий. Зоны не будет: проволоки не завезли. Охраны не будет: людей мало. Да, кстати, — кто хочет, может бежать. На все четыре стороны. Чтобы всем ясно было, в какой стороне что находится, старшой дал исчерпывающие пояснения. Вон туда — он показал на северо-запад — лежит путь на Москву и Ленинград. Но только надо пересечь поначалу Буреинский хребет — не советую: бездорожье, волки, медведи, даже тигры, а жрать нечего. Вон туда — жест на юго-запад — бежать лучше: на Биробиджан или Хабаровск выйти можно. Но только, сами понимаете, это ж сплошные лагеря, кругом вохра и собаки, вмиг сцапают. Вон туда — на юго-восток — путь на Совгавань, в Японское море, кто плавать умеет. Только аккуратней в ближайших окрестностях: это ж надо через Комсомольск, мимо вокзала и пристани, через Амур... В общем, едва ли проскочите. Ну-с, остается вот это направление — северо-восточное, Николаевск-на-Амуре. Туда бегите — мы туда-то и трассу прокладываем. Кто первый прибежит, досрочно освободится. Так что очень советую приналечь на это направление: прорубать тайгу, класть лежневку «и так далее».

Очень нам понравилась эта речь. Видимо, старшой знал, как это делается. Все это оценили и, как могли, налег-



ли на доверенный нам объект. Мы с Аркадием пошли в лесорубы...

Вечерами у костра Аркадий читал мне свои замечательные переводы из Рауле Стийенского, рассказывал о Багрицком (Аркадий был его «единственным соавтором», я это знал еще до встречи и знакомства с ним...), о своей красавице-жене, — но почему-то очень неохотно и редко читал что-нибудь свое. Много позже, встретив в одном литературном сборнике («Тарусские страницы») новые стихи Аркадия, я еще раз порадовался его могучему таланту и великолепному чувству слова. И живо вспомнил — и наш этап, и нашу тщетную борьбу с вековым кедром, и многое другое, что лежит в подтексте таких, к примеру, строк:

...Это все миновало, и мне не вдогадку:  
Сколько лет позади, сколько зим впереди?  
Сыпь, слезовая соль, как в бездонную кадку,  
Разымай мои раны, томи, береди!  
Уведи меня вспять по Сибирской дороге,  
Прожитая, разутая правда моя,  
Шерстью вышей кисет в пересыльном остроге,  
Приласкай, как жена, и ужаль, как змея!..

Кисет... Аркадий курил тогда трубку. И носил длинные запорожские усы — врагу назло: головы нам брили, а усы и бороду носить не возбранялось. Я избрал бороду, Аркадий — усы. Любопытно бы взглянуть, носит ли он их сейчас? Все не соберемся встретиться, все некогда, текучка...

Вслушайтесь в этот шуршащий шелест: «Шерстью вышей кисет в пересыльном остроге» — и согласитесь, что Аркадий умеет это делать.

Всю жизнь, сколько я себя помню, это казалось мне величайшим счастьем — уметь что-то делать. Не как-нибудь, не тяп-ляп, а по-настоящему красиво, легко, свободно, виртуозно. Разницы в профессиях для меня в этом отношении просто не существовало. Красивая работа столяра или пианиста, токаря или живописца, слесаря-лекальщика или хирурга — все мне казалось равно прекрасным и вызывало горячую зависть. «Вот мне бы так» — пожалуй, наиболее постоянный лейтмотив моих заветных дум и мечтаний в течение долгих лет, чуть ли не всей жизни. Только сейчас, в самое последнее время, все чаще ловлю я себя на том, что мне уже не хочется — или не очень хочется — чему-то такому (новому) научиться, чем-то овладеть, и это

меня печалит: явный признак старости. Старения. И мечты мои, если быть честным, устремлены уже не в будущее (прежде они тешили меня несбыточными и полусбыточными картинками моего виртуозничанья — в самых разных и даже немислимых областях жизнедеятельности, и эти мечтания как-то бальзамически компенсировали мою истинную неполноценность), а в прошлое. Я уже тешу себя воспоминаниями о каких-то профессиональных удачах, мысленно повторяю пережитые микроуспехи и достижения, в общем, еще немного — и я начну похвалиться своими действительными и мнимыми трудовыми победами не про себя, а вслух. И это будет вершиной маразма.

Вот и сейчас меня так и подмывает рассказать — похвастаться! — как здорово я владею оркестровой атакой. Описать, как я дирижировал Восьмую Брукнера с ее адски трудным вступлением. Понимаете, вся штука там в том, что на коротком отрезке в каких-нибудь 24 такта шесть раз надо преодолеть совместные атаки струнных с духовыми, но это еще не все. За этот же отрезок надо успеть разогнать звучность — от тишайшего пианиссимо до могучего фортиссимо... Да, очень хочется «поделиться опытом», побравировать мастерством, пощеголять профессионализмом — эх, кому в моем возрасте этого не хочется?! Откройте любые мемуары — любовные, военные, литературные, исторические, научные: кто из авторов избежал соблазна?

Будьте ж и ко мне снисходительны, я тоже всего лишь человек — к тому же не первого сорта. Вот Юрка, если бы дожил, — тот никогда и ни за что не стал бы ни «исповедоваться», ни как-либо иначе демонстрировать свои достоинства: ему бы просто лень было зря трепаться. А любовь к высокому профессионализму ему была присуща, пожалуй, не меньше моего, да и ценил он ее, подобно мне, в самых разных областях человеческой деятельности. Чтоб уж остаться в сфере музыки, сошлюсь хотя бы на Юркину поэму «Софроницкий» — гимн известному в свое время и горячо любимому (не только ленинградцами) пианисту. Примечательно: в те годы много ведь было у нас великолепных пианистов, но Юрку покорила именно Владимир Софроницкий — и не случайно. Мои сверстники, имеющие хотя бы любительское касательство к музыке, поймут меня (и Юрку) без комментария, а всем прочим никакой комментарий ничего не скажет — тут нужна целая монография.

Но вспоминаются мне и немзыкальные эпизоды, вызывавшие у Юрки ту же радость, что и у меня. Сразу же

после войны к нам стали поступать миниатюрные токарные станочки — не нашенские, а трофейные. И хотя были они изготовлены в военное время, и хотя предназначались они для одной-единственной операции на потоке (например, для расточки хвостового или головного оживала в отливке), отличались они от нашенских одной достопримечательностью: хромированной задней бабкой.

Задняя бабка на токарном станке — это, в общем-то, чугунная блямба произвольной конфигурации, от которой требуется всего-то два качества — строго соосное возвратно-поступательное движение по направляющим полозьям станка и столь же строго соосное отверстие для несения упорного центра или режущего инструмента (скажем, сверла или цапфенбора). Отечественные станки оснащались тогда бабками, разве что слегка зачищенными на наждачном круге, а то и прямо из-под литейной формы — в общем, черными. Токарю-операционнику приходится то и дело закреплять бабку в определенном положении и снова освобождать и отгонять, чтобы сменить обрабатываемое изделие. Для уверенной обработки бабку надо закрепить покрепче. Соответственно для ее открепления требуется повышенное физическое усилие. Токарю проще — стукнуть по рукоятке крепления и по самой бабке «ручником», трехкилограммовым молотком. Нашей, простой советской, бабке от этого постукивания вроде бы ничего не делается — правда, довольно скоро направляющие («ласточкин хвост») разбалтываются, и станок перестает обеспечивать заданные допуски обработки, проще сказать: начинает поставлять брак. Увещевания и плакаты («Не применяй молотка при перемещении задней бабки!») помогали в наших условиях, как мертвецу припарки...

И вот однажды — звонок: «Осел, иди в механический! Эти сигимицы гениально решили проблему бабки!» Если уж Юрка говорит «гениально», надо пойти посмотреть. Прибегаю. Застаю, словно на заказ, цирковое представление. Мастер, должно быть, только что расставил операционников по станкам, смонтированным этой ночью на поточной линии. Раздал им инструмент и объяснил, что и как. И тут молодой парнишка спрашивает: а для чего, мол, задняя бабка вылизана и хромирована, словно тульский самовар? Мастер — ему в ответ: принеси-ка ручник. Токарь достает незаменимый инструмент из тумбочки. Мастер велит ему — ох, как это трудно перевести на литературный язык! — ну, в общем, ударить кувалдой по бабке. Токарь

смотрит на мастера, как на сумасшедшего: по хромированной поверхности — молотком!? И тут довольный мастер подводит итог: вот, мол, чтобы ты (опять же — привожу слабенький цензурный эквивалент), дурак, не портил станок своим ручником, сигимицы его и захромировали.

Вот ведь, оказывается, как просто... В московском метро никто не курит и никому в голову не придет бросить на пол шкурку банана или обертку мороженого: там чисто и люди соблюдают чистоту. Устройте вместо мраморного — глинобитный пол, его мигом захаркают и загадят, никакие плакаты и воззвания не помогут. Декорум — великая штука, это не только внешней стороны жизни касается. Я часто ловил себя на мысли, что, скажем, и в области идеологической испытываю какие-то весьма схожие представления... То ли жизнь моя сложилась по-дурацки, то ли мозги у меня малость вывихнуты — не берусь определить, да это и не нужно, ибо не в оправданиях дело и не в причинах. Но факт остается фактом: я, кажется, предпочитаю хромированный декорум любым черным (в смысле, свежееотлитым, необработанным) новациям, а посему отношусь, видимо, скорее к консерваторам, нежели сторонникам преобразований. Приведу лишь небольшой, но весьма характерный пример моей реакции на всемирно известное событие.

Было это в Красноярском крае в дни для нас, ссыльных, совсем беспросветные: некоторое время тому назад нас поштучно вызывали в комендатуру и дали нам расписаться в документе, персонально предупреждавшем каждого, что в случае попытки самовольно отлучиться за пределы предписанного нам населенного пункта ссылка будет «БСС» (без суда и следствия) заменена на 25 лет каторжных работ, т. е. практически на медленную смерть. И вот морозным мартовским утром в моем закутке счетовода местной семилетки радиорепродуктор, в течение нескольких дней уже готовивший нас напряженными бюллетенями, принес известие о смерти Сталина. Можете смеяться: я зарыдал. Впервые — чуть ли не с самого детства. Свидетелей не было, не перед кем было выпендриваться, и мог бы я промолчать о своих эмоциях до самой кончины. Но я не делал из своих ощущений особого секрета, так что впоследствии мне было выдано по этому поводу все, что положено. И сейчас я об этом рассказываю, рискуя снискать ко всем прочим аттестациям еще и самую нелестную, — ну, мне к этому не привыкать, но я-то ведь знаю, что я — не Рабинович. Мне хочется самому разобраться в своих тогдашних

чувствах, или мыслях, или их конгломерате, но я не могу подобрать иного раздражителя, чем упомянутое выше посягательство на определенный декорум... пусть даже сопряженный со всеми прелестями времен культа личности.

Встречал я потом разных людей, тоже плакавших — по разным причинам: одни — от горя, другие — от радости. О себе знаю точно, что ни горя, ни радости я не испытал. Я просто-напросто был потрясен: казалось, рушится земная твердь и т. д. Рушится декорум. Умер тиран, державший в железном повиновении сотни миллионов людей и какие-то огромные механизмы государственного управления. Он наломал немало дров, рубя свой лес, но он-то знал про щепки (так думалось мне), что они летели от его рубки — нужной или ненужной, это другое дело. Он и был единственно мыслимым богом и властелином, который, натешившись и выполнив все задуманное, мог бы — должен бы! — вспомнить о щепках, сказать: ладно, я только пошутил, чтоб вы злее были, — и возвратить выживших в лоно живых, а мертвым воздать посмертно. А теперь — кому теперь докажешь да объяснишь, почему не разнес ты к чертовой матери все вокруг себя в первую же минуту, как посягнули на твою свободу и независимость? Почему пошел со спокойной улыбочкой на конвейер, в этап, в лагерь, в ссылку? Какими такими калачами — если отбросить твою фанатичную веру в непогрешимость отца и учителя, в то, что все это нужно партии, а р о д у, — могли заманить тебя в этот трагедийный спектакль?!

Да, братцы, как ни верти — и я, и еще многие, ох, сколь многие сверстники мои объективно поддерживали декорум. Поддерживали искренне, истово, самозабвенно. Я слышал о людях, кричавших перед расстрелом: «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!» — и не думаю, что в этом было на йоту больше расчетливости (а вдруг помилуют?), чем в возгласе точно такого же содержания, с которым боец из штрафбата грудью кидался на вражеский дзот или, опоясавшись бутылками с горючей смесью, бросался под фашистский танк. Ему вы верите? А почему не верите нам — мне, например? Только потому, что мы выжили? Тогда простите мне, что я выжил. Я больше не буду.

Всю жизнь, и особенно тот ее отрезок, который я провел по ту сторону решетки, я завидовал людям твердых убеждений. Мне казалось, это должно быть прекрасно — жить и умереть в твердой вере и нерушимой уверенности

в какой-нибудь абсолютной правде, единой, неизменной, безо всяких там диалектических эволюций и виляний туды-сюды. Что может быть завиднее судьбы, увенчанной смертью за идею, борьбе за которую отдана вся предшествующая жизнь! Идеалом мне видится, скажем, судьба Джордано Бруно...

Если отрешиться от дешевой демагогии, необходимо признать, что Джордано сожгла на костре не какая-то «кучка фанатиков и церковных мракобесов» — тут линчеванием даже и не пахло. Джордано противостояло, если угодно, целое общество, все общество, во всяком случае, для своего времени «самая передовая», во всяком случае — самая образованная, следовательно и самая прогрессивная часть нации: духовенство, философы, юристы, государственные мужи и политические деятели европейского масштаба — поборники просвещения и прогресса, как им, вероятно, представлялось. И это общество всего лишь защищало свои устои, свой прогрессивный, гуманный, высоконравственный и высоконучный правопорядок от опасной ереси бунтаря-одиночки... На это единоборство общество расходовало нешуточные средства и силы, чуть ли не целое десятилетие длились философские, теологические и юридические диспуты. Это еще раз подтверждает, что ни о какой скоропалительной, односторонней, случайной расправе каких-либо своекорыстных злоумышленников над неугодным конкурентом говорить нельзя.

Наконец, сама казнь осуществлялась публично, при неограниченном стечении народа, взиравшего, судя по всему, вполне одобрительно на эту справедливейшую акцию, а может, даже и ликовавшего по поводу столь очевидного торжества справедливости, законности и прочих доказательств «правильности» устоев и принципов жизни в этом лучшем из миров. Не знаю точно, я там не был.

Вернее, я был там, но несколько позже, так что самого сожжения уже не застал и никого из очевидцев расспросить не мог. Подняв голову и окинув дотошным взглядом каре домов, образующих некогда столь знаменитую, а ныне даже не включаемую в число обязательных (для туристов) достопримечательностей Вечного города площадь Цветов, я безошибочно остановился на минимум трех домах с причудливыми над- и пристройками, изобличающими архитектуру конца шестнадцатого века. Вот, стало быть, из этих окон, и вон из этого, и уж непременно вон с того балкончика, и — как пить дать! — с этих двух крыш друг над дру-

гом, а возможно, даже с той многогранной башенки гла-зели римляне — мужчины, женщины, дети, главным обра-зом дети — на факел справедливости, пылавший здесь, вот на этом самом месте, может, на тех же булыжниках, семнадцатого февраля 1600 года. Сейчас, через триста шестьдесят четыре года, восемь месяцев, четыре дня и при-мерно шестнадцать часов после достопамятного события, нельзя уже с полной уверенностью утверждать, что в чер-ных швах меж гранитными брусками отчетливо различимы следы запекшейся крови и крупички пепла — слишком мно-го воды и грязи пролилось здесь с той поры, да и продол-жает литься ежедневно, ежечасно.

Сейчас, в полночь, тут течет, правда, только вода: льет непрекращающийся дождь, изредка подкрепляемый вспыш-ками молнии и раскатами оперного грома, — для нашего брата, признаться, в октябре все это довольно непривычно и несерьезно. Площадь почти пустынна, только в ее центре, у подножья седого памятника, ничем не освещенного, если не считать слабого света от нескольких случайно еще бодр-ствующих окон, толпится кучка мужчин — остатки про-ходившего здесь предвыборного митинга левых социали-стов. Двое парней взобрались на постамент и снимают с него знамя, служившее, видимо, фоном для ораторов. Это красное полотнище с белой эмблемой — серп и молот в при-вычном для нашего глаза скрещении. Должно быть, для нынешних римлян привычно и сочетание этого знамени с памятником великому Джордано; странно только, что зна-мя было прикреплено не к лицевой, а к тыльной стороне памятника, да и весь митинг проходил сзади него, а не пер-ед ним. Мне — странно, а им, вероятно, совсем безразлич-но. Как, впрочем, и большинству моих товарищей по тури-стической поездке: почти все остались в отеле, только трое ненасытных упросили нашего гида провести нас на Кампо ди Фиори: в программу, как сказано, это не входит.

На следующее утро я спозаранку прибежал сюда уже сам: еще раз взглянуть на все при свете дня. И решил, что заблудился: площадь кишела людьми и продуктами, такого столпотворения мне больше нигде видеть не довелось. Тут только я понял, откуда ночью мне все мерещился запах рыбы... Да, сейчас здесь торгуют рыбой, не только рыбой, разумеется, но главным образом — свежей рыбой. Она на-валена кучами и горами — на льду и просто на лотках, и даже прямо на земле, на соломенной подстилке или на кус-ке грязного брезента, и крикливые торговки расхваливают

ее не менее крикливым покупательницам, а еще кричат — не по существу, а просто так, от избытка энергии и радости бытия — многочисленные детишки в своих колясках, которых мамы, бабушки и тетушки непременно таскают с собой на рынок. Кричат, расхваливая свой товар, торговцы галантереей и всем тем, что мы именуем промтоварами, от женских платьев до ночных горшков, от соломенных шляп до порнографических открыток. По краям рынка, заполнившего всю без остатка площадь и даже прилегающие устья улиц и переулков, прямо на земле ютятся старьевщики. Тут выстроились в ряд рваные башмаки и кастрюли, ветхозаветные альбомы с картинками и марками, новейшие зажигалки со всех, пожалуй, континентов и обломки мрамора, подобранные так, что их смело можно выдать дома за «собственную находку» на каких-нибудь древних развалинах...

Над площадью густо висит рыбный и вообще рыночный запах и носятся большими стаями нахальные голуби. Пролетая над лотками и палатками, они присаживаются отдохнуть и пообщаться на единственной возвышенности — на голове и плечах Джордано Бруно. Их помет прилипчив и дождю неподвластен, и этим объясняется, оказывается, впечатление, которое производит памятник ночью — ну, в общем, эта его величественная седина, этот светлый ореол. Как просто все — и как грустно!

Быть может, минорные тона моего восприятия — всего лишь результат субъективных предпосылок. Путь мой на Кампо ди Фиори был, вероятно, и без того не слишком гладким, а последние дни были просто перенасыщены внутренними и внешними психическими атаками. Из Москвы мы вылетели 14-го утром и о важнейших событиях на родине, свершившихся накануне, узнали только из итальянской прессы и телевидения — не в самом вразумительном виде, с невероятными наслоениями, домыслами и попросту клеветой, усугубляемыми тем, что Италия находилась в предвыборной горячке. Шестнадцатого китайцы взорвали свою атомную бомбу, а я потерял на минутку сознание в лифте отеля Альберго дельи Амедеи — разумеется, вне всякой связи с китайцами, а лишь из-за того, что отправился и поездку в переутомленном состоянии. Я просто перечисляю, что во мне накапливалось. По утрам мы заседали на нашем конгрессе, а потом допоздна бегали глотать культуру, которой и в самом Милане, и в его окрестностях — всяких там Чертозе де Павиа — собрано в избытке. При-



бавьте к этому, что мне, как всегда, «больше всех надо», и вам нетрудно будет поверить в элементарную перегрузку каналов информации, как это называется у связистов. Если нормальному туристу достаточен, так сказать, самый факт, что перед ним — оперный театр по имени Ла Скала, то ненормальному не возбраняется взобраться внутрь, в музей, и насыщаться созерцанием волнующих реликвий: клавишины Верди и его автографы; партитуры. Скрипки Паганини. Слепок руки Шопена, сделанный посмертно Листом. Портреты всех — от Амелиты Галли-Курчи до Шалаяпина и Собинова, от Беллини до Тосканини. А снизу, откуда-то из-за сцены, тем временем несется могучий перезвон явно российских колоколов... Как же не полюбопытствовать? Ну да, конечно же: это ж наши, московские, приехавшие на гастроли, готовят машинерию и звукооформление для «Годунова»! Мир тесен...

Чинаколо Винчиано — «Тайная вечеря» Леонардо. В скромной трапезной доминиканцев. Кое-как отреставрировано после прямого попадания американской бомбы. Тут же, на стенде — две фотографии: как это выглядело сразу же после бомбежки... Но это ведь вовсе не начало разрушения, начало было малость раньше. Вот поглядите на роспись: в самом ее центре, в том месте, где находятся ноги Христа, часть картины как бы вырублена полукружием. Сейчас оно заделано, но все же отчетливо видно. Спрашиваем у гида: нешто здесь дверь была? Отвечает: когда писалась картина, в 1495-м, никакой двери не было. Появилась позже, с пришествием Наполеона: помещение понадобилось императору для конюшни, ну и пришлось прорубить ворота в «Тайной вечере» — а ля гер ком а ля гер, и это всегда так было и будет.

Впрочем, император «зато» понасаждал тут очагов культуры — пожалуй, даже с лихвой. Перестроил, например, монастырь в музей — «Пинакотека ди Брера» называется эта Академия художеств. Понавезли сюда с тыщонку образцов живописи XIV—XIX веков и теперь вот показывают за 150 лир всем желающим. Хавайте, люди: Бергоньоне, Брамантино, Луини, Веронезе, Савольдо, Бонвичино, Марони, Лоренцо Лотто, Бордоне, Питати, Кальяри, Якопо Робусто (это который Тинторетто), Мигеле де Верона, Кривелли, Беллини, Андреа Мантенья, Тициан, Амброзио да Фоссано (это все тот же Бергоньоне) Прокачини, Нуволони, Рондинелли, Никола Пизано, Рафаэль (под пулеустойчивым стеклом и за оградкой и под неусыпным при-

смотром специального стража — после того, как какой-то псих исполосовал эту картину кинжалом. Хорошо, что нам кинжалов не выдали, — пожалуй, не он один утратит тут психическое равновесие, у всех голова кругом идет...), Рубенс (в том числе и его «Тайная вечеря», эту тему все они рано или поздно принимались трактовать. Почему, интересно? «Не успеет петух пропеть, как один из вас предаст меня» — не по этому ли мотиву? Неужто и эта тема извечна?), Эль Греко, фламандцы, Рембрандт (великолепный портрет сестры, которого мы почему-то не знали даже по слухам), Орланди, Тьеполо, Сальватор Роза, Чезаре Таллоне, а из самых поздних — Филиппо Каркано, умерший только что, в 1914 году.

Потом был замок Сфорца (Кастелло Сфорцеско — по-итальянски все это звучит как-то иначе, верно?) с таким же необозримым набором чудес, с плафоном, расписанным Леонардо и тоже реставрированным после военных разрушений, с потрясающей *Pieta Rondarini* Микеланджело, — все еще спорит весь мир: окончена эта «Пиета» или не окончена? Ведь он работал над ней до последней минуты... Юрке она бы понравилась — именно этой своей мучительной незавершенностью. Но Юрки нет, я смотрю и запоминаю за двоих. Зачем? Разве воспоминания можно унести, передать, вообще как-либо «использовать»?

Потом была Венеция, о которой я знал, что там полно каналов, но как-то не представлял себе, что там еще больше узеньких улочек, таких узеньких, что если двое встречаются с открытыми зонтиками, им приходится проделывать специальную манипуляцию, чтобы разминуться без членовредительства. Да-да, и гондолы были, и Площадь Св. Марка (окно моего номера даже выходило на эту площадь, и голуби сидели на подоконнике, я даже Юрке-маленькому привез оброненное ими перышко — ох, уж эти мне сантименты!), и дворец с очередной Биеннале, на которой много любопытнейшей современной живописи, на сей раз и советской, пользовавшейся широким интересом, — и поездка на остров с собором *Di Santa Maria* (там Тициан оставил немало шедевров). Потом была Флоренция — все сначала! Галерея Уффици. Главный собор. Еще всякие неглавные — например, *Santa Croce*. Усыпальница Медичи — окосеть можно: в одном месте могилы Данте, Микеланджело, Россини, Галилея, Керубини, Макиавелли (со знаменитой эпитафией: «Нет таких слов, чтобы восхвалить достойно имя...») и доброй сотни не менее знаменитых покойников.

Дом, в котором Чайковский писал «Пиковую даму». Дом, где жил Достоевский. Вообще, что ни дом — кто-нибудь да жил и что-нибудь да создавал, — один Давид чего стоит!.. Потом поездка в Fiesole — уйма всякого пейзажа: это Юрке тоже понравилось бы. Обитель Стендаля. Дачи Медичи. Монастыри. Галерея в замке Питти: Рафаэль и его многочисленные мадонны, Бартоломео, Бордоне, Кассана, Мурильо, Ван Дейк, и снова Тициан, и Тинторетто (опять же он же Якопо Робусто, пора бы вам уже запомнить), Россо, Джиголи, Дольчи, Россели, и снова Сальватор Роза, и Джакомо Стелла, и Сустерманс, и Джоваккино, и Содома, и Фурини, и Гасперо, и Чиголи (поразителен его «Ессе Ното», я прежде о нем не слыхивал), и Андреа дель Сарто...

В общем, пока мы добрались до Рима, мы — я, по крайней мере — до краев уже были полны. Сверх всякой программы мы ведь еще занимались «делами»: киностудии и копировальные фабрики, Экспериментальный киноцентр и беседа с руководителем киношколы профессором Фьораванти, несколько просмотренных фильмов... Так что традиционную процедуру с бросанием монеток в фонтан Треви («чтобы снова сюда вернуться») я совершал уже по инерции, без истинной веры, даже и не знаю теперь: может, в этом случае заклинание и не сбудется? Очень жаль будет — я ведь задумал побывать здесь вдвоем со Светой, посидеть с ней у этого фонтана, побродить по кишасим кошками и американцами развалинам Колизея.

Очень хотелось бы знать, что подумает Света насчет нескончаемых «Тайных вечерь» — вспомнит про петуха или найдет другой мотив?.. Очень хотелось бы дожить до того, как Юрка-маленький сюда съездит — хотя бы для той же цели: будет ли еще и в его дни волновать людей — пусть хотя бы отдельных психов — петушина проблема, или все позабудется и травой порастет?.. Очень хотелось бы понаблюдать, как шло бы накопление культурных ценностей в условиях ничем не нарушаемого всемирного мира — без бомбежек и разрушений: по тем же классическим законам отбора или, может, по каким-то новым? Сейчас — я это понимаю, я же грамотный! — отбор приходится вести с оглядкой, с примеркой, со всяческой выверкой. Разбудите меня ночью — я вам отрапортую: Джойс, Пруст и Кафка — не литература, Хиндемит, Онеггер, Шёнберг — не музыка, Кандинский, Шагал и Пикассо — не живопись; а про кино я вам даже всех соотечественников перечислю, которые «не кино».

...Я вполне понимаю Климента Альдобрандино (был в свое время такой папа римский): он просто не мог не сжечь Джордано Бруно. Долго сопротивлялся этой необходимости, восемь лет пытался переубедить его — уговорами, пытками, подкупом, лестью, угрозами. Наконец, отчаявшись, отправил упряма на костер. Я завидую Джордано Бруно, но я прекрасно понимаю Климента Восьмого. Доведись мне, допустим, встать на место Джордано — не ручаюсь, что сыграл бы эту роль так же безупречно. Ну, а если б на место папы? А вы бы как себя повели?

Объяснение вроде «мы трагически заблуждались» лично мне ничего не объясняет. Человечество только и делает, что заблуждается, этим оно выгодно отличается от животных, и нечего так уж сокрушаться и делать вид, будто с завтрашнего дня всё станет совсем-совсем иным. Чтобы все постигли всё, что необходимо для всемирного счастья, — ох, как много еще поработать надо. Поразузнать всякой всячины, поразведать.

...Вот, собственно, почему я давеча так расстроился, узнав, что с безграничностью познания приключились очередные неприятности: еще один декорум лопнул, пожалуй, самый для меня дорогой.

А с Восьмой Брукнера, если говорить просто, безо всякого тумана, — дело не такое уж хитрое. Надо только уметь это делать. Вы поднимаете руки — с палочкой или без, это зависит от привычки — и выжидаете, пока оркестр и слушатели приготовятся. Оркестр приготовится быстро, а публика будет долго шебуршить задами и туфлями, покашливать, шелестеть программками, дошептывать недосказанные кухонные или парламентские сплетни, — в общем, так начинать Восьмую нельзя. Вы отмахнете и опустите руки и голову, покорно ожидая тишины. Если вам повезет, она наступит скоро. Если вы родились под моей звездой, вам придется поднимать руки трижды. И вот наконец в относительной, почти идеальной тишине вы можете дать вступление — в Восьмой вступают поначалу первые и вторые скрипки и первые две валторны (капризнейшие по атаке инструменты!), причем пианиссимо, когда атаковать звук особенно трудно. Вся хитрость тут в том, что левой рукой вы даете валторнам вступление на долю секунды раньше, чем правой — струнным. Если вы спросите об этом у дирижера-профессионала да еще педагога, он возмутится и запротестует, — вы можете мне поверить: сам-то он именно так и поступает, иного выхода просто нет.

Если вам удастся зародить «из ничего» это легчайшее тремоло, считайте, что первую тему вы можете сыграть вразумительно. Сама-то тема начинается в басах и виолончелях в самом конце второго такта, на последней шестнадцатой. Она проста, строга, ясна, но и тут специфика инструмента — я имею в виду виолончели — несет в себе опасность: уж так им хочется сыграть «с чувством»! А этого никак нельзя, все пойдет насмарку, это будет сразу же не Брукнер, а Брамс или Чайковский. Тема должна прозвучать предельно сухо — тогда ее дальнейшая «судьба» может представить немалый интерес для слушателей. В противном случае она самоисчерпается, не успев прозвучать и войти в сознание. Очень скоро — на двадцать четвертом такте — та же тема прозвучит уже фортиссимо в меди, и истинное ее качество раскроется во всю мощь; если же первое проведение будет слюнтяйским, педалированным, — второе прозвучит просто пародией, издевкой.

Ну, это всё — специальные дебри, шут с ними, кому это интересно? Я только хотел сказать, что железная, чуть ли не механистическая ансамблевость — первый и самый существенный критерий игры исполнительского коллектива и дирижера. «В руках» большого дирижера талантливый оркестр всегда звучит как единый инструмент. Не знаю, имеет ли смысл распространять это за пределы оркестра — скажем, на талантливый народ... но знаю, что принадлежность к такому коллективу дает чувство радости и счастья, — если ты играешь «в ногу» со всеми и мало-мальски правильные ноты. Это — чисто субъективное, упаси меня бог от рецептов. Я лишь о себе рассказываю: не люблю играть поперек всех и вообще расстраиваюсь от всяких «киксов», как говорят лабухи.

Другое дело, что исполняемая партитура может быть мурой собачьей, — ну, это уж дело реперткома, мы — люди маленькие, рядовые оркестранты. Партитуры — особь статья, мы этого не проходили.

Вру, конечно: мы и это проходили — во всяком случае, в буквальном смысле слова. Еще мы проходили скальные разработки (заделку лунок под взрывчатку — знаете, это когда вас подвешивают на канате, пропущенном хитрым узлом вокруг одной ляжки и пояса, над вертикальной скалой, дают вам с собой ломик и кувалду, и вы ударяете кувалдой — желательно по ломик, а не по руке, — пока в скале не образуется полуметровая лунка, или шурф, диаметром в вашу кисть. Вас раскачивает ветер, раскачивают

и собственные удары кувалдой, но прохладиться нельзя — мороз под пятьдесят, надо шевелиться, искать упора и равновесия ногами и чем хотите — в общем, любопытная работенка, чтоб ей пусто было!), проходили и путеукладку с последующей балластировкой (состав платформ, груженных щебенкой, притормаживает на вашем участке, вы на ходу вскакиваете на платформу и на ходу же ее разгружаете прямо под колеса, а потом трамбовками и прочим нехитрым инструментом загоняете щебенку под шпалы), проходили и бытовое строительство. Оно мне особенно запомнилось — опять же благодаря учителю, умевшему это делать.

Он был высок и строен, в любую погоду ходил с непокрытой слегка седеющей головой, в ладно пригнанном комбинезоне и легких сапожках. Носил усики а-ля Адольф Менжу, был так же изящен и — как только открыл рот — оказался действительно французом. Взмахнув игрушечным топориком, он показал нам, как окантовать бревно, предпослав показу устное уведомление, которое письменно надо бы передать примерно так: Aucantoffqua breuvin pro-uzeveau-dite-ça slaid'uschîme aubrasom... Мы разинули рты, словно не предполагали, что и среди французов могут встретиться виртуозы-плотники, Кола Брюньоны деревянной архитектуры.

Еще проходили мы — уже на заводе — хромирование и вообще технологию любых металлопокрытий. Занятно, что на хромировке впервые подумал я о бесконечно многообразном переплетении знаний — любых знаний! — в каких-то причудливых взаимозависимостях. Чем больше знаешь, тем, должно быть, сложнее и вместе с тем органичнее это переплетение — это и я, недоучка и верхогляд, тогда ощутил. Позже и Юрка подтвердил мое наблюдение своими собственными — на добром десятке примеров из самых неожиданных областей, о которых я и не слышал, признаться, ничего ровным счетом. Так что сейчас я на них ссылаться не буду — боюсь напутать и наврать. А насчет хромировки — пожалуйста, это мое родное, сам придумал или, во всяком случае, продумал, нигде не вычитал и не подслушал.

И будет это уж самым последним отступлением — дальше отступить просто некуда.

Вы, вероятно, слышали, что перед погружением в электролит хромируемые поверхности «обезжиривают». Это значит, что их протирают мокрой ваткой или тряпицей, обмакнутой в венскую известь, а затем тщательно промы-

вают проточной водой. Но вот чего вы, наверно, не слышали: если после этого самого обезжиривания продержат деталь минут пять-шесть на воздухе, даже не прикасаясь к ней, — хром на нее ложиться не станет, покрытие пойдет разводами и пятнами, будто кто-то нарочно замарал деталь вазелином.

Любому хромировщику знаком этот каприз, это чудо природы, но едва ли многие специалисты объяснят вам толком, в чем собака зарыта. Для этого надо знать совсем другие вещи — ну, хоть немного заняться акустикой музыкальных инструментов... или хоть краем уха услышать что-то про полировку пропеллеров.

Не обязательно для этого садиться в тюрьму, но можно, как видите, и в тюрьме накапливать разумное, вечное и вообще гожее на всякий пожарный случай.

Я лично в данной области накопил вот что: полированный пропеллер, скрипка Гра и хромируемая (зеркально гладкая) поверхность детали имеют меж собой, оказывается, нечто общее. К их идеально ровной поверхности присасывается, прилипает тончайший — молекулярный — слой воздуха. Трение скольжения — слышали про такое? Да, вы правильно вспомнили: скользят друг по другу лучше всего разнородные материалы (лыжи по снегу, нож по маслу, ось и втулку всегда делают из разных материалов, из одного и того же они мгновенно стираются). А однородные материалы слабо сопротивляются скольжению, у них — как у всяких близких родичей — весьма высокий коэффициент трения. Вот почему полированный пропеллер лучше «цепляется» за воздух и обладает лучшей «тягой»: молекулярный слой воздуха на нем образует с окружающим воздухом куда более сильно трущуюся пару, чем «голый», неполированный пропеллер — то есть просто дерево — с тем же воздухом.

Звуковые колебания, колебания струны — колебания воздуха — «раскачивают» деку скрипки в поперечном направлении, о чем непосвященному просто невозможно догадаться: казалось бы, дека «должна» раскачиваться вверх-вниз, подобно вытряхиваемому одеялу. Ничего подобного! Она колеблется — должна для хорошей акустики колебаться — параллельно собственной плоскости. Если хорошо отполирована и на ней благодаря этому закрепился молекулярный воздушный панцирь, поперечные колебания воздуха, вызванные колебаниями струны, «имеют за что схватиться» и раскачивают деку как следует. Если им не за что хвататься, они преспокойно скользят себе по деке-дере-

вяшке туды-сюды, и звук у такой зауряд-музтрестовской скрипки за семнадцать тридцать примерно той же цены.

Как сказано, до этих ассоциативных связей я сам додумался, ей-богу! А в поисках новых связей и пикантных аналогий я ненароком напоролся на страшную мысль: а что, если и человеческий материал... человеческий характер... Ну, если долго тереть предмет, он станет гладким, отшлифуется — даже камни на морском берегу подтверждают это. А если долго тереть и молотить человека — небось тоже отшлифуется и даже отполируется? Может, и молекулярным панцирем покроется — панцирем, тысячекратно повышающим трение. С другими характерами. Со всем миром. А?

Ведь любые колебания будут раскачивать его сильнее, чем менее полированных — более толстокожих. Это произойдет помимо его воли, если даже он от природы будет скорее инертен и флегматичен, нежели импульсивен и холеричен. Даже если он будет внешне пассивен и немного ленив, — как многие талантливые люди.

Например, как поэты. Как Юрка.

И тогда он может просто не выдержать: постоянные колебания ему непосильны — в таких сверхдозах. Он ведь слишком хорошо резонирует для нашей жизни — для нашей тогдашней жизни.

Он, пожалуй, еще узнает, например, как производится «окантоффка бревэн на шетире канта», и для чего сигимицы хромируют заднюю бабку, и кучу других любопытных истин, способных наполнить тебя чувством радости и даже счастья, а порой и заставить забыть — кто ты, что ты, где ты, за что и зачем. Он еще может погрузиться в сонеты дю Вентре. И острить. И писать нежные письма далекой маркизе Л. И дожить до конца первого срока. И вернуться с тобой вместе на минутку в Москву — не во сне, а взаправду, пусть нелегально, пусть фуксом, но все же вернуться, — о, какое это счастье!

Но для второго захода его может не хватить — слишком высок класс выпавшей ему полировки, слишком велик резонанс. Впрочем, что касается Юрки — он ведь и так был счастлив...

И что такое счастье?



Сонеты дю-Вентре

Петрадь I

ЗДРАВСТВУЙ,  
МОЙ ПАРИЖ!



Прошли сраженья. Заживают раны...  
Увидев мой простреленный камзол  
И взгляды восхищенных парижанок,  
Агриппа был неимоверно зол.

Но не теряться же! — Свою квартиру  
Он за ночь превратил в кромешный ад,  
Изрешетив парадный свой наряд  
Из пистолета — чуть ли не мортиры, —

И в зеркало скосил пыливый глаз.  
А льстивое стекло солгало враз:  
— Какое мужество! Какая сила!

...Мы вечером нахохотались влечь,  
Когда Марго участливо спросила:  
— Неужто... моль в Париже завелась?

Вentre угрюм — как пьяный гугенот,  
Нечаянно попавший в лапы Гизу.  
Подумать только: он вина не пьет!  
Он о сонетах позабыл, маркиза!

Пугаются сорбоннские врачи:  
Он бредит наяву, он тощ, как призрак...  
Его болезнь сумеет излечить  
Один бальзам: ваш поцелуй, маркиза!

О, сжальтесь! Жизнь его — на волоске.  
Все чаще повторяет он в тоске:  
«Любовь и смерть — нет лучшего девиза!»

Еще неделя, и Гийом погиб:  
Не смерть страшна, а Фор-л'Эвек (долги!)  
Его спасет лишь ваше «Да!», маркиза!

У всякого свои предубежденья!  
Вас злит лорнет, месье, иных — сабо,  
А, скажем, господина моего —  
Все, что к рогам имеет отношенье.

На днях он выбил изобилья рог  
Из рук фарфоровой богини счастья.  
Над Зодиаком, к счастью, он не властен —  
А то бы сбил созвездье Козерог!

Шарахается прочь рогатый скот,  
Когда навстречу стаду он идет,  
И прячет свой рожок пастух, бледнея...

Месье, кладите шляпу на кровать:  
Рога в передней велено убрать.  
Ох, мне уж эти узы Гименея!

Задорным кружевом гасконских рифм  
Всю исписав, что под рукой, бумагу,  
Всё, что положено, до дна допив,  
Зевну от скуки — и в могилу лягу.

Всплакнувши над «собратом» для приличья,  
На крест перо и шпагу водрузя,  
Сам д'Обинье споет дискантом бычьим  
Горячий дифирамб — своим друзьям.

Затем, оповестив страну и двор,  
Среди поклонников устроит сбор  
На памятник любимому поэту.

Но монументу быть не суждено:  
Проект Агриппа спрячет под сукно  
И — без меня, увы! — пропьет монету.

**ДЕНЬ СВ. ГЕНРИХА**

От залпов пушечных дрожит земля.  
Кричат герольды в переулках грязных —  
Сегодня именины короля!  
Всех парижан зовет Анри на праздник!

Огромные столы на площадях  
Трещат, заваленные снедью разной.  
Быков и куриц жарят на кострах —  
Бесплатный аромат прохожих дразнит.

И для поэтов жаркая пора:  
Потея над цветистым мадригалом,  
Малерб изгрыз сто двадцать два пера.

И я блеснул бы, да таланту мало:  
Кормить Пегаса нечем стало мне.  
Овес-то, сами знаете, — в цене!

**КРИТИКАМ АГРИППЫ**

Кто право дал над Гением глумиться  
Тупому попугаю и свинье?  
Как смеете, чернильные моксицы,  
Ругать при мне Агриппу д'Обинье?!

Из всех поэтов — д'Обинье поэт!  
В его руках воскресла древних лира.  
Его стихам — взлетать над клеткой мира,  
Ломая крыльями преграды лет!

А вам — клевать навоз вороньим клювом.  
Мне одному бранить его дано,  
Ему — меня. Другим — запрещено!  
Прочь руки от Агриппы, говорю вам!

Quod licet Jovi, это значит — нам,  
Non licet bovi — вам, слепым ослам! \*

\* Что дозволено Юпитеру... то не дозволено быку (лат.).

---

**ПОД ЗНАКОМ КАДУЦЕЯ**


---

Мир начался с торговли: дед Адам  
 За яблоко расстался с райским садом.  
 Христос был продан выгодней куда —  
 За тридцать серебром, с доставкой на дом.

С тех пор торгуют все по мере сил:  
 Попы, юристы, сводники, маркизы...  
 А Клеопатре головой платил  
 За ночь любовник — вот дороговизна!

С Наваррским закупили как-то мы  
 Париж, Марго и десять лет тюрьмы —  
 Всего лишь за обедню — просто чудо!

...А в наши дни потерян всякий стыд:  
 За тридцать су всю Францию сулит  
 Испанцам некий Генрих Гиз, иуда!

**В ТАВЕРНЕ**


---

*Агритте д'Обинье*

Хозяйка раскраснелась у огня.  
 Гасконец тощий, отрезвев от злости  
 (Он проиграл и плащ, и шпагу в кости),  
 Кричит: «До нитки обобрал меня!»

Трудясь над жирным крылышком индюшки,  
 Вздыхает, потом исходя, монах:  
 «Святой Мартин! Опять ни капли в кружке!  
 Sic transit... Эй, хозяйка, — вина!

Жонглер бродячий бьет мартышку спяна.  
 О чём-то врет раскрывшим рот крестьянам  
 Ландскнехт в камзоле четырех мастей...

Так жизнь течет. Все словно ждут свершенья —  
 По воле рока, по вождей веленью,  
 По прихоти игральных ли костей...

Свою концы с концами еле-еле:  
Залез в долги я по уши опять.  
Пришли займы мне хоть пистолей пять  
До пятницы на будущей неделе!

Я с воскресенья безнадежно пуст,  
И кошелек мой тем же самым болен.  
Пришли займы хотя бы пять пистолей,  
Коль есть в тебе хоть капля добрых чувств!

Жениться с горя? — Лучше лечь в могилу!  
Пришли мне хоть пистолей пять займы!  
Фортуна-потаскушка изменила —  
Я просто чудом избежал тюрьмы...

Что делать мне? — Схватить перо осталось  
И написать тебе: читай с начала!

В шальной калейдоскоп фортуны-шлюхи  
Весь я не погружался ни на миг:  
Я видел все, я слышал, щупал, нюхал,  
Я пробовал от скуки на язык —

Всё вскользь... Увы, казалось: только снится  
Мирских делишек пестрый карнавал!  
Я лишь Свободы робкие зарницы  
Шестым чутьем угадывал, искал...

Пять чувств оставил миру Аристотель.  
Прощупал мир я вдоль и поперек,  
И чувства все порастрепал в лохмотья —  
Свободы отыскать нигде не смог.

Пять чувств кормил всю жизнь я до отвала,  
Шестое чувство — вечно голодало.

---

\* «Из глубины...» (лат.) — начальные слова заупокойной молитвы.

---

**БЫВШЕМУ ДРУГУ**

---

Я был тебе как пилигриму — посох,  
Как бунтарю — оружие в бою:  
Припомни, как связал я жизнь свою  
С твоей, король-солдат, король-философ!

Как спали вместе на земле сырой,  
Одним плащом истрепанным укрыты...  
А помнишь, как — с гитарой под полой —  
Мы пробирались к окнам Маргариты?

Я был оруженосцем, другом, тенью...  
Теперь ты стал французским королем.  
Боюсь я, скучно будет нам вдвоем!  
Зачем тебе Гийом? Для развлечения?

Довольно! Льстить и врать, как сивый мерин,  
И быть твоим шутком — я не намерен.

---

**ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЛИКОВАНИЕ**

---

Вчера нашли какого-то Гийома  
На Пре-о-Клер — с пробитой головой.  
Привлечена столь радостной молвой,  
Сбежалась тьма соседей и знакомых.

В харчевне «Лев» ему обмыли лоб,  
Останки всунули в камзол дырявый,  
Те Deum затянул кюре гнусаво —  
Поспешно в яму опустили гроб.

Прятели охотно и задаром  
Непосвященным разъясняли с жаром:  
Покойник был тупица. И нахал.

— Увы, друзья! Стрела промчалась мимо:  
Ваш дю Вентре — живой и невредимый.  
То тезка мой, трактирщик, дуба дал.

---

**СТАРАЯ ПЕСНЯ**

---

Какой меня злосчастный гений гонит?  
Я вечно наступаю на мозоль  
Какой-нибудь почтеннейшей персоне,  
И очень часто это — мой король!..

Опять меня анафеме предали:  
Париж решил не кланяться со мной.  
Я вычеркнут из хроники баталий,  
Куда был прежде вписан, как герой.

Меня бегут девчонки, как чумного,  
В харчевне выпить не дают в кредит,  
Ари мне отрубить башку грозит...

Как хорошо, что все это не ново:  
И Карл меня чуть было не повесил,  
А я — все жив и, как ни странно, — весел!

---

**ANNO DOMINI MDC \***

---

Часы бьют полночь... Через миг умрет  
Последний день шестнадцатого века.  
— Вина! Твое здоровье, время-лекарь!  
Что принесет нам Новый век и год?

Настанет мир. Подешевеет соль.  
Жак перестанет в суп плевать соседу.  
Обещанную курицу к обеду,  
Расщедрясь, даст нам скупердяй-король.

Придворным дамам скинут лет по двадцать.  
Дозволит Ватикан Земле вращаться,  
Наука вообще шагнет вперед.

Меня за скептицизм накажут плетью,  
И много прочих радостей нас ждет.  
Все это будет!.. Но в каком столетье?

---

\* В год 1600 (лат.).



---

**ЗА ЧТО МЕНЯ ЛЮБИЛИ**

---

Когда стоишь одной ногой в могиле,  
Ты вправе знать: за что тебя любили?

Меня любила мать за послушанье,  
За ловкость рук — учитель фехтованья,  
Феб-Аполлон — за стихотворный пыл.

За томный взор меня любили прачки,  
Марго — за вкус, а судьи — за подачки.  
Народ за злой язык меня любил.

Отец духовный — за грехов обилье,  
Раскаянье и слезы крокодилы.  
Агриппе нравилось, что я — чудак.

Три короля подряд меня, как братья,  
Любили так, что чуть не сдох в объятьях.  
Лишь ты меня любила «просто так».

---

**ЧТО СКАЖУТ ОБО МНЕ**

---

Век Валуа и Гизов тонет в Лете.  
Иного солнца вижу луч вдали!  
Простым бойцом на рубеже столетий  
Приветствую грядущий День Земли.

Не суждено мне быть любимцем Музы,  
Не суждено Плеяды пить нектар.  
Иначе вспомнят обо мне французы,  
Чем о тебе, божественный Ронсар:

— Он Аполлону не служил молебны  
И жертв не приносил земным богам.  
Он рвался в бой, Пегаса шпора гневно,  
И злыми песнями разил врага.

Короче: был солдат, а не поэт он.  
И на Олимп ворвался с пистолетом.

---

**ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!**

---

Прощай, Париж! Прощай, волшебный город,  
Фата-Моргана юности моей!  
Налей, Агриппа, кубки пополни, —  
Прощайте, Елисейские просторы!

Войти в твой Пантеон — надеждой ложной  
Не льщу себя, любовь к тебе воспев.  
Мне б хоть, в сердцах друзей струну задев,  
В их памяти оставить след ничтожный...

Я шел к тебе сквозь пламень испытаний.  
Ни в радостях, ни в боли, ни в страданье  
Не плакал я — нигде и никогда.

Разлуки лед мне обжигает руки.  
Я не стыжусь бессильных слез разлуки —  
Прощай, Париж! Надолго. Навсегда.

---

**МОЕ УТЕШЕНИЕ**

---

Я часто против совести грешил  
И многих был ничтожней и слабее.  
Но никогда не изменял себе я  
И никому не продавал души.

Пускай враги льют желчь и поздний яд,  
Тупым копытом мой лягают труп;  
Пусть сплетничают нежные друзья,  
Что был я подл, труслив, завистлив, скуп...

Кидайтесь! Плюйте бешеной слюной  
На гордый лавр, на мой надгробный креп —  
С листа Истории ваш хриплый вой  
Стереть бессилен имя дю Вентре!

Пусть что угодно обо мне твердят,  
Мне время — суд, стихи — мой адвокат.

*Агриппе д'Обинье*

Мы жили зря. И так же зря умрем:  
Ни подвига — потомкам в назиданье,  
Ни мысли дерзкой. Нам ли оправданье —  
«Пророка нет в отечестве своем»?

...На площади Цветов сожжен живьем  
Джордано Бруно — гордый светоч знания,  
Ни подкупом, ни пыткой, ни страданием  
Не сломленный: спор разрешен огнем!

Но жалкие попы сожгли лишь тело.  
Бессмертна мысль, и Правда не сгорела!

Для счастья и любви на этом свете  
Вновь зеленеют рощи и поля,  
Во славу Разума, на радость детям,  
Попам назло — возвращается Земля!

Пройдут года. Меня забудет мир.  
Листы моих стихов загадят мухи.  
Какой-нибудь невежда вислоухий  
В них завернет креветки или сыр...

Что жизнь моя? Что творчество и слава?  
Самообман. Химера. Сказка. Сон.  
Меня на свалку отвезет Харон —  
Мышам и глупым совам на забаву.

Мой юмор злой, мой стихотворный пыл  
Зальют зловонной клеветой попы —  
Я не дойду к грядущим поколениям!

И если бы в Агриппиных твореньях  
Меня бессмертный автор не лягал, —  
Чем доказать, что я существовал?..

Вот, собственно, и все.

К поэтической биографии относится, вероятно, еще и обзор «первых публикаций» — прижизненных или хотя бы посмертных. Но тут мне, как вы догадываетесь, рассказать нечего. Самое первое «издание», состоявшее из сорока сонетов и издевательского комментария, было выполнено Юркиной каллиграфией на кальке, размножено светопиривальным способом и сброшюровано в пяти экземплярах. Мы разослали эти экземпляры своим далеким — ну, скажем так: друзьям. А те уж понесли их — с самыми благими, впрочем, намерениями — весьма солидным ценителям и специалистам.

Реакцию ныне здравствующих экспертов мне приводить не хочется — разве что за одним-единственным исключением, и право на это исключение дает мне хотя бы временная дистанция. Дело в том, что этот отзыв писался совсем недавно, когда Юрки давно уже в живых не было, и не на первые сорок, а на нынешние сто сонетов. Поэтому все упреки адресованы мне, я их с благодарностью воспринял — и не стесняюсь обнародовать.

Реакция же ушедших в мир иной была, как ни странно, более чем лестной. Получая через наших непосредственных корреспондентов все новые и все более восторженные отзывы, мы с Юркой вскоре поняли, чему обязаны столь теплым, даже горячим, приемом: для всех наших читателей на воле мы ведь были прежде всего «репрессированными», арестантиками во глубине сибирских руд и т. д. — как же было скупиться на похвалу, на участие, на моральную поддержку! Может, от этой поддержки жизненно важные вопросы зависят — быть или не быть несчастным «переводчикам», продолжать ли свое ужасное, должно быть, существование — или уж совсем отчаяться и покончить все разом?!

Ничем иным, кроме подобной доброты (разумеется — чрезвычайно ценной, и не только для нас с Юркой, но и более широко, так сказать, для верной характеристики морального облика многострадальной российской «прослойки», сколько б ее ни мордовали...), невозможно объяснить безоговорочную апологию творчества дю Вентре такими мировыми величинами, как, например, М. Лозинский в Ленинграде и М. Морозов в Москве. Немного позже, в сорок

сдьмом, мне посчастливилось лично — в доме все той же Женюры — услышать из уст ныне покойного Владимира Луговского форменный панегирик не только поэту, но и его переводчикам. Владимир Александрович утверждал, что это надо немедленно печатать — причем немедленно в том прямом смысле, что все порывался вскочить и куда-то бежать, не выпуская из рук нашей книжицы, и мы все с трудом его удерживали. Был уже первый час ночи, но мы не так уж много и выпили, опьянение было совсем иного рода...

Единственным неліцеприятно трезвым рецензентом нашим — на самой первой стадии, то есть еще в начале сорок шестого года, — оказался Николай Альфредович Адуев. Он прислал нам в лагерь подробное письмо — четыре страницы убористой машинописи! — с весьма суровыми поправками, замечаниями и конкретными советами. Начал он с того, что мы-де напрасно тешим себя уверенностью, будто обладаем единственным уцелевшим томиком дю Вентре в оригинале. Еще будучи студентом Сорбонны, утверждал Адуев, он откопал у старичка-букиниста на Монмартре такой же точно томик, явно того же издания... И вот он не понимает, как мы, вроде бы достаточно тонко чувствующие язык и манеру дю Вентре, можем допускать такие-то и такие-то явные неліпицы, безвкусицы, оплошности и т. п., и т. д. Следовал преподробнейший список — и все в безжалостно-едкой, остроумной и даже зарифмованной форме.

Трудно переоценить значение этого письма в нашей работе...

Надо ли говорить, что в сорок сдьмом, едва попали мы в Москву, одним из первых наших визитов был визит к Адуеву. Мы ждали этой встречи, как праздника, — и не ошиблись. По нашей просьбе Адуев, уже тяжело больной, оставил у себя в машинописи всю сотню сонетов — «на расправу». По нашей же просьбе он выставил каждому сонету (вернее — нам с Юркой за каждый сонет) оценку по пятибалльной системе и свои замечания на полях. Этот экземпляр с адуевскими оценками и ремарками «лег в основу настоящего издания», как говорят в более солидных случаях. Во всяком случае, он лег в ящик моего письменного стола — как самая дорогая реликвия.

Приведу лишь несколько примеров «редактуры на полях», как мне представляется, — очень характерных для поэтического и человеческого облика Николая Альфредовича.

Рифма «увенчан — женщин» обвешена многозначительной и сердитой чертой. Приписка: «Очень изъезжено. Даже у меня есть!»

В строке «Хотя б ты, старый черт, писал почаще» обращение подчеркнуто волнистой линией. Внизу странички — приписка: «Слабо. Этот залихватский тон по отношению к другу-сопернику звучит и нарочито, и весьма не по-французски. «Старый черт» отнюдь не эквивалентно vieux diable'ю».

...В «Химерах» первой редакции второй катрен описывал, как «друг друга рвут зубами обезумевшие кони». Адуев поставил рядом снежинку-сноску, а внизу написал: «„Еще рыдают раненые кони" (Стийенский). „Хохочет, обезумев, конь" (Сельвинский). И вы, Вентре, в ту же конюшню?»

...Седьмая строка в «Четыре слова» первоначально выглядела так: «За них я шел в Бастилию и в изгнание». Адуев: «А лучше так: в Бастилию, в изгнание. На что ж даны нам знаки препинанья?»

...Поправка в строчке «Генрих Гиз — дерьмо» — совсем крохотная: многоточие. Но вот как аргументирует Николай Альфредович: «Точнее бы mot на рифму дерьмо. Но поскольку г-но, сойдет и давно. Только... поставьте в связи с этим перед «дерьмо» многоточие».

...«Не француз, не XVI век, а ученик Игоря Северянина!» — это по поводу «Ты встречи ждешь, как в первый раз, волнуясь, Мгновенья, как перчатки, теребя» и т. д. Бесчисленные «как» обвешены Адуевым кружочками, а сбоку дан совет: «Сонет творя, не «как»-айте зря!»

В общем — всем бы поэтам такого редактора!.. Тем более что на похвалу Адуев был не менее щедр — и не менее изобретателен.

Так или иначе, но пока мы с Юркой, сами того не ведая, стали в глазах наших современников такими новоявленными Орестом и Пиладом с креном во французскую поэзию шестнадцатого века — ну, как же: Варфоломеевская резня и все такое прочее... Как сказано, мы с ним на сей счет не обольщались и навсегда сохранили по отношению к нашему дню Вентре добрую улыбку, и даже счастливую и лишенную хоть капли горечи, — но все же только улыбку: он был ведь для нас средством, а не целью. Будь он целью, мы за него едва ли когда-нибудь взялись бы: не та профессия, между нами будь сказано. Наша жизнь после сорок седьмого пошла разными дорогами, хотя и на вполне парал-

тельных курсах. Пути наши (но не мы сами!) даже встречались: один только успевал покинуть очередную пересылку, как туда вваливался другой. Входя в предбанник, я иной раз знал, что из раздевалки этой бани, на той стороне, сейчас выгоняют партию «повторников», в которой находится Юрка. Оба мы попали в Красноярский край и довольно скоро отыскивали друг друга — подумаешь, четыреста километров, тоже мне расстояние!.. Но переписка наша никак не налаживалась: о чем писать? Здоровье, настроение, род занятий — кому это интересно?!

Двадцатого января пятьдесят первого года Юрка отправился в обеденный перерыв проверить что-то в вентиляционном устройстве одной из штолен — он проектировал это устройство, и доводить свою работу до кондиции было у нас законом еще издавна, пожалуй, с детства. С этой проверки он не вернулся. Его нашли на дне штольни, в воде, мертвым, но без видимых повреждений. Диагноз: разрыв сердца. ...А немедицинский диагноз? 20 января — годовщина смерти Люси. В тумбочке у Юрки, этого лентяя и неряхи, — тщательно собранные в стопки письма матери, братьев. Разложены по датам, перевязаны, надписаны — кому переслать и т. п. Вот, собственно, и всё.

Смерть Сталина я, может, еще потому оплакивал, что я вот — дожил до того, что теперь будет (а что с нами непременно что-то будет в связи с этой смертью — не обязательно хорошее, но непременно что-то, — в этом никто не сомневался), а Юрка так и не дожил. Но это уж — нынешние мои домыслы и предположения...

Что жизнь недодала Юрке, она зато с лихвой выдала мне. Я говорю это вполне серьезно: объективно расценивая, количества счастья, выпавшего на мою долю за последующее десятилетие, хватило бы и на нас двоих. Мне остается лишь быть достойным такого счастья, что, признаюсь, не так легко. Москва, любимая работа, студенческая молодежь, которой я, кажется, все-таки нужен, — я не об этом сейчас говорю, это все могло быть так, а могло и как-нибудь иначе.

Я говорю о том, что вот носится сейчас по квартире Юрка-маленький, мой сын, задолго до своего рождения нареченный именем человека, на которого хорошо бы ему быть хоть капельку похожим... Я счастлив, что смогу рассказать Юрке-маленькому о Юрке-большом и о себе, — хотя бы вот этой рукописью, даже если не суждено ей будет стать книжкой всамделишной.

Юрка-маленький не с неба свалился, хотя, признаться, в его появлении на свет участвовали какие-то не до конца понятные силы. Одной наукой тут, в общем, мне не обойтись — придется и вам принять на веру объяснения, не лишённые мистических туманностей.

Света — моя жена и соответственно мама Юрки-маленького — вышла замуж... за идеального человека (а не за меня, каков я есть на самом деле). И познакомилась она с этим человеком задолго до нашего с ней знакомства. Было это на тесных нарах в женском бараке, на Воркуте. Накатавши тачку с глиной или доведя себя до соответствующего состояния иными полезными занятиями, девчата и Женщины расходовали избыток сил... на поэзию. Вспоминали и читали друг другу, вероятно, всё подряд — пока однажды, исчерпав запасы классики и современности, одна из них не стала припоминать сонеты дю Вентре — ну да, в нашем переводе: другого-то отродясь не было. И надо же было, чтобы чтица хорошо знала обоих переводчиков, — сами понимаете, она слегка романтизировала нас. Ну, в смысле силы духа и прочих эпитетов, обладающих среди прекрасного пола какими-то особыми чарами.

Света, Светинька м о я , — наслушалась на свою беду. Навоображала себе, как я позже догадался, этакий яркий, одухотворенный образ... И как только судьба нас свела воочию («судьба» вам не нравится? Но я ведь предупреждал насчет мистики!), она меня за муки полюбила, а я ее — ну, уж это даже смешно: ее просто нельзя не полюбить.

Короче: мы вот уже второй десяток лет — любящие друг друга супруги и восьмой год — любящие родители Юрки-маленького. И эту книжку, если хотите знать, надо бы посвятить именно Свете: если б не ее настойчивость, эта рукопись отродясь не состоялась бы, я бы ее все откладывал — на «потом»... Вот только для какого бы то ни было посвящения недостает второй подписи: Юрка-то не дожил и мне доверенности не оставил.

Как видите, при всем моем жизнелюбии мне не удастся завершить свой мрачноватый труд безоблачно-счастливой развязкой. А уж как хотелось мне закрутить сладчайший хэппи-энд, закончить весело и даже подчеркнуто «облегченно» — это было бы так в духе дю Вентре, а уж Юрки — подавно! Но только Юрки уже нет, я теперь один за двоих — живу, люблю, пишу, работаю, хандрю, изредка пытаюсь острить, поглядываю по-прежнему на стройные



женские ножки, ну и так далее. Нешто одному мне сочинить облегченную концовку?

И потом — я уже дедушка, мне порываются место уступить в общественном транспорте. Во всяком случае, я уже достаточно стар и мудр, чтобы не только понимать относительную (э, чего уж там: абсолютную!) слабость и неполноценность нашего дю Вентре, взятого вне контекста с конкретно-историческими данными его появления на свет, но даже радоваться нелицеприятной критике. И даже находить удовольствие в том, чтобы поделиться этой — казалось бы, сомнительной — радостью с вами.

Позвольте я напоследок познакомлю вас с такой критикой — с оценкой наших сонетов, принадлежащей перу одного из самых любимых и популярных наших поэтов, которого не одно поколение советских писателей искренне считает своим учителем. Эти сонеты попали к нему без нашего ведома, через другого талантливую и доброго человека, тем временем, к великому нашему горю, скончавшегося: Ф. А. Вигдорову. Фрида Абрамовна, добрейшая душа, стремилась, видимо, «наконец что-то предпринять» — в смысле публикации дю Вентре, обладавшего в ее глазах определенной, стало быть, ценностью — пусть не поэтической, это роли не играло. И хотела сделать нам приятный сюрприз...

Еще надобно предупредить, что сонеты попали к автору нижеприводимого письма без заглавного листа, зато, вероятно, с избыточным устным комментарием — обо мне одном, поскольку Фрида Абрамовна Юрки не знала, да и о нем знала не больше, чем то, что он был «там» моим другом. По этой-то причине в письме речь идет обо мне одном — и поделом мне!

«Дорогая Фридочка! Что делать? Научите, пожалуйста. Сонеты Харона мне ужасно не понравились. Я ненавижу щегольство стилизацией, манерничанье, Гийомов, Агасферов, Обинье, Валуа, Мануциев, Аматти, и *Finita la commedia*, и *Quod erat demonstrandum*, и *Sic transit...* Умом я понимаю, что кое-где есть и остроумие, и меткость, и мастерство, но для души мне это нисколько не нужно — мне скучны эти дешевые позы, этот моветон наигранного снобизма, эта мармеладная Гаскония. Мне так хотелось, чтобы все это было прекрасно, — но с каждой страницей книга становится все более чуждой мне. Даже острая тематика на стр. (...) и др. не примиряет меня с ней. И кроме того, я, старовер, люблю, чтобы сонеты были сонетами. Эта

труднейшая форма требует точных рифм. А здесь слово «сабо» рифмуется со словом «моего» (и «зубов»), слово «спасти» со словом «Стикс», слово «Нострадамус» со словом «руками». Есть крылатые слова, есть эффектные мысли, но — разве этого мы хотим от поэзии?

Не правда ли, как грустно? Я так хотел, чтобы стихи мне понравились. Надеюсь, Вы не сказали поэту, что они у меня. Умоляю Вас не читать ему этих строк. Скажите, что я болен (это правда!), что я уехал, ради Бога — ведь я невиноват, — помогите!

Ваш...»

Зная мой легкий нрав неунывающего оптимиста, Фрида Абрамовна последней просьбы не выполнила, — чем доставила мне неподдельное удовольствие, омрачаемое лишь сожалением, что и Юрке не довелось прочесть этот приговор. Вот уж кто бы повеселился! Юрка выучил бы его — да просто запомнил его наизусть с ходу, и всякий раз, как я стал бы что-то «редактировать», утирал бы мне нос подходящей цитацией — о, как он это умел!.. «Не очень надрывайся-то, — язвил он обычно, — не то доредактируешься, чего доброго, до того, что нас за настоящего дю Вентре примут...»

Я не разделял подобных опасений, я был, так сказать, выше этого... И вот судьба сжалилась надо мной и познакомила меня с поучительной, прелестной аналогией.

Марко де Грата — никогда про такого не слышали?

В Миланском соборе, в самой глубине, справа от главного алтаря, в нише красуется невзрачное — нет, просто уродливое! — изваяние: святой Варфоломей. Вы догадываетесь, что само имя привлекло мое настороженное внимание, — я созерцал скульптуру, так сказать, во все глаза, вернулся сюда гйда и с пристрастием допросил его... Черная бронза тщится выразить нечеловеческие муки, испытываемые тощим старцем, с которого живьем содрали кожу, — смотри на сей счет соответствующую легенду в Новом завете. Ребра и прочие косточки выполнены, насколько я могу судить, вполне грамотно (обладая добротой и объективностью нашего последнего рецензента, я непременно сказал бы: «Кое-где и меткость, и мастерство...»), однако никакой эмоциональной убедительностью или хотя бы впечатляемостью эта фигура почему-то не обладает.

Миланцы, и вообще-то охочие до шуточек, откровенно потешаются — не над святым, разумеется, а над бесталанным скульптором. И все же статую эту они и не подумают

убрать или хотя бы спрятать от любопытных туристов — с какой стати?! Пусть не сумел ваятель выразить всех мук Варфоломея, зато он исчерпывающе выразил муки собственного тщеславия, снабдив постамент внушительными литерами: «Эту фигуру изваял не Пракситель, а я, Марко де Грата».

Вот так.

...Может, следовало бы и нашу книжку снабдить подобной надписью?

---

## КОММЕНТАРИЙ К СОНЕТАМ

---

### Сонет Строка

- 2** 13 *Кларенс* — герцог Клэрэнс, брат Генриха Восьмого Английского. Будучи приговорен к смерти за измену, родом казни избрал — быть утопленным в бочке мальвазии.
- 3** 11 *Женева или Рим* — Женева была религиозным центром французского протестантизма: там жил и проповедовал Кальвин (1509—1564). Рим — резиденция католического папы.
- 14 *Марго* — Маргарита Валуа (1553—1615), сестра Карла IX и Генриха III, в 1572 г. стала женой Генриха Наваррского. Славились своей красотой.
- 7** Загл. *Картель* — здесь: вызов на поединок.
- 10 *Кварта* — Игра слов: кварта — мера жидкости («четверть») и кварта — фехтовальная фигура.
- 14 *Пти-Мэзон* — парижский дом умалишенных в XV—XVII вв.
- 8** 13 *Агриппа* — здесь и в остальных сонетах имеется в виду поэт Агриппа д'Обинье (Теодор Агриппа д'Обинье. 1552—1630).
- 9** 1 *Три Генриха* — Генрих Конде, Генрих де Гиз и Генрих Наваррский, впоследствии Генрих IV.
- 21** 2 *Альо Мануций* — известный также под именем Альдо Пио (1450—1515) — один из венецианских первопечатников.
- 22** 12 *Забава наподобие Васси* — намек на зверское избиение кальвинистов наемниками де Гизов в Васси, центре округа Верхняя Марна, 1 и 2 марта 1562 г. Этот погром считается началом тридцатилетних религиозных войн во Франции.
- 24** 13 *Жак Боном* — собирательное имя французского простолюдина («Жак-простака»).
- 25** 12 *Колиньи* — Гаспар де Шатильон (1519—1572), адмирал, политический деятель, вождь гугенотов. Убит наемниками Карла IX накануне Варфоломеевской резни.
- 29** 5 *Нострадамус* — иначе: Мишель Нотр-Дам (1505—1566), лейб-медик Карла Валуа, известный своими предсказаниями «конца света» — предсказаниями, свершения которых ожидали еще в XIX веке!
- 6 *Мессер Рене* — скорее всего, подразумевается Рене Бираг (1507—1583), кардинал, затем канцлер, один из организаторов Варфоломеевской резни.
- 7 *Монлюк* (1499—1577), *Таван* (1555—1630) — политические деятели, полководцы Католической лиги.
- 38** 1 *Жонглер* — здесь: уличный певец, менестрель.

- 42 5 «Глобус» — театр Шекспира в Лондоне.
- 49 10 *Д'Алансон* — Франц Анжуйский, младший брат Карла Валуа, пожаловавшего ему Алансонское герцогство.
- 51 2 *Ариосто* — великий итальянский поэт (1471—1533), автор «Неистового Роланда».
- 54 10 *Апеллес* — великий живописец Греции второй половины IV века до н. э.
- 57 Загл. *Бонифас де Ла-Моль* — друг Генриха Наваррского, приговорен к смертной казни за попытку освободить последнего из-под ареста в Лувре и организовать его бегство. 6-я строка данного сонета — иносказание: дю Вентре не мог реально видеть казни, ибо сам в это время находился в каземате, в Бастилии.
- 59 1 *Осса и Пелион* — по греческой мифологии, две горы, взгромоздив которые друг на друга, титаны пытались штурмом овладеть Олимпом.
- 14 *Кроканы* — участники крестьянских восстаний на юге Франции.
- 66 7 *Шатильон* — см. Колиньи (сонет 25).
- 69 Загл. *Жижка Ян* (ок. 1360—1424) — чешский национальный герой, прославившийся в гуситских войнах и в борьбе с папскими крестовыми походами. Предание гласит, что Жижка завещал соратникам после его смерти снять с него кожу и натянуть ее на войсковой барабан.
- 76 Загл. *Эндимион* — в греческой мифологии прекрасный юноша, взятый Зевсом на Олимп и восплавленный любовью к его супруге Гере, за что Зевс погрузил его в вечный сон.
- 82 13 *Фор л'Эвек* — долговая тюрьма в Париже.
- 87 Загл. *Кадуцей* — жезл глашатая, парламентария и торгового посла у древних греков и римлян. Здесь подразумевается лишь последнее его назначение.
- 88 11 *...в камзоле четырех мастей.* — Наемные солдаты (ландскнехты) носили одежду цвета знамени своего господина. Если наемник служил двум и более вассалам одновременно, его платье нередко отличалось разноцветными рукавами, штанами и т. п.
- 92 2 *Пре-о-Клер* — излюбленное место дуэлей в Париже.
- 98 10 *Надгробный крест.* — Во времена дю Вентре придворным цветом траура считался... лиловый.

Я. Харон

---

---

## ГИЙОМ ДЮ ВЕНТРЕ И ЕГО СОНЕТЫ

---

---

...Некоторые из них занимались исключительно переводом книг, что является делом совсем легким; но когда они брались сочинять что-либо самостоятельное, то получалось смехотворное безобразие.

*Шарль Сорель*

Предлагая вниманию советского читателя избранные сонеты одного из многочисленных, в большинстве своем забытых поэтов-воинов, поэтов-гуманистов Франции второй половины XVI века, необходимо, пожалуй, хотя бы в общих чертах напомнить историческую обстановку, их окружавшую, — общественный фон и среду, определявшие эволюцию сознания и нашедшие столь яркое отражение, в частности, в поэтическом творчестве Гийома дю Вентре.

После непродолжительного царствования Франциска II (1559—1560) французская корона переходит к его брату Карлу IX, до совершеннолетия которого страной управляет его мать, Екатерина Медичи Валуа.

Вторая половина XVI столетия, века «образования великих монархий, которые повсюду воздвигались на развалинах враждовавших между собой феодальных классов: аристократии и городов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1933. Т. 10. С. 721), для Франции была эпохой ожесточенной борьбы за власть между двумя политическими партиями — католиками и гугенотами. Конкретный символ власти для обеих партий — французская корона, по всем признакам не очень прочно сидевшая на головах последних Валуа. Королевская власть, выступавшая «в качестве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства» (там же) при Франциске I, вскоре деградирует и при его дегенеративных внуках утрачивает всякую социальную опору. В этих условиях вполне закономерно возникли «политические качели» — единственно мыслимое средство спасения династии, не без успеха примененное Екатериной Медичи, «королевой-матерью», «итальянской ведьмой» — фактической правительницей Франции при трех последних номинальных королях из рода Валуа.

Собственно, принцип «*Divide et impera*» \* был не нов; новинкой — даже в те мрачные времена — было столь откровенное и неуклонное следование этому принципу, возведшее кинжал, яд, измену и подкуп в ранг обыденных средств дипломатии и политики.

Однако и эти средства не могли изменить хода истории.

---

\* Разделяй и властвуй (*лат.*).

Даже в руках такой талантливой интриганки, как Екатерина, королевская власть не смогла удержаться в прежнем качестве, она неминуемо должна была рухнуть — или же возродиться на новой основе, как это случилось при Генрихе IV. Королева могла только отсрочить конец, — например, разжигая провокациями религиозные распри. Она не останавливалась, впрочем, даже перед предательством национальных интересов страны.

Социальный состав обеих партий не был однороден. Реакционнейшие вожди католиков, претенденты на трон — Гизы, — демагогически играли на тяготении буржуазии Северной Франции к сильному государству, к централизованной власти в руках короля-католика и сумели собрать значительные материальные средства и людские силы. А сепаратистские тенденции южно-французского дворянства отлично уживались с кальвинизмом — прогрессивной для того времени идеологией буржуазии. «Королевскую партию» связывает с Католической лигой, разумеется, не только общность религии. И двор, и Гизы одинаково симпатизируют католической Испании, оказывают ей немалые услуги и взамен получают от нее солидную помощь деньгами и наемными солдатами. И двор, и Гизы ненавидят партию гугенотов, возглавляемую Жанной д'Альбре (матерью Генриха IV) и адмиралом Гаспаром де Колиньи.

Ареной наиболее острых схваток, местом решающих ставок в политической борьбе становится Париж, сердце Франции, Лувр — резиденция короля. Здесь незадолго до Варфоломеевской ночи мы и встречаем семнадцатилетнего повесу и дуэлянта, забияку и баловня женщин Гийома дю Вентре. При дворе еще посмеиваются над не успевшим выветриться провинциализмом молодого гасконца, но уже не на шутку побаиваются его метких, безжалостных эпиграмм и острых бонмо. Редкая проделка придворной молодежи обходится без участия Вентре, и шпага его, наперекор всяким эдиктам, то и дело окрашивается кровью на Пре-о-Клер. Принц Генрих Наваррский души в нем не чает, и некоторым влиятельным особам, испытавшим на себе неожиданные царапины этого резвящегося львенка, остается разве что припрятать камень мести за обшлагом камзола: кажущееся отсутствие каких-либо религиозных или иных нравственных убеждений, очевидная аполитичность всех его выходов и приключений, благородное происхождение и дружба с отпрысками королевских фамилий делают его покамест неуязвимым.

Но наше представление об этой молодежи было бы весьма неполным и даже ошибочным, если бы мы сбросили со счетов другую сторону понятия «благородства» тех времен. В своих знаменитых «Мемуарах» Агриппа д'Обинье, например, рассказывает, как о чем-то само собой разумеющемся, что с четырехлетнего возраста специальный наставник обучал его грамоте — французской, латинской, греческой и древнееврейской, так что к шести годам он уже читал на четырех языках и свободно переводил с листа. «Семи с половиной лет, с некоторой помощью своих настав-

ников, Обинье перевел Платонова «Критона», взяв с отца обещание, что книга будет отпечатана с изображением ребенка-переводчика на титульном листе» \*. Мишель Монтень, родившийся двадцатью годами раньше Вентре, в пятилетнем возрасте считал латынь своим родным языком, затем овладел греческим и немецким, а уж потом «совершенствовал свои познания во французском»... Благородство предполагало, помимо принадлежности к знатному роду, владение не только шпагой, правилами куртуазности и т. п., но еще и изрядной дозой гуманитарного образования. Молодой дю Вентре не только был знаком с произведениями современных ему гуманистов (Франсуа Рабле и всей Плеяды), но следил и за ходившими по рукам беспощадными памфлетами гугенотов, бичевавшими продажность французского двора, кулачное право феодалов, ханжество и коррупцию духовенства и т. п. Естественно, что он внимательно прислушивался к этим новым голосам: еще небольшая численно гугенотская прослойка (по данным большинства историков — не более полутора миллионов из 20 миллионов французов) в те дни выступала уже как самая энергичная, духовно наиболее активная часть нации. Кальвин «с чисто французской резкостью... выдвинул на первый план буржуазный характер реформации, придав церкви республиканский, демократический характер», — подчеркивает Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1931. Т. 14. С. 675).

К началу семидесятых годов гугеноты становятся настолько влиятельны, что королевская партия решается на союз с Католической лигой в надежде покончить с кальвинистами одним ударом. Подготовка ведется в глубокой тайне. Под предлогом свадьбы Маргариты Валуа и Генриха Наваррского в Париж приглашаются виднейшие вожди гугенотов, и 24 августа 1572 года организуется «Варфоломеевская резня». По сигналу колоколов хорошо вооруженные предтечи гитлеровцев, облаченные в белые повязки и кресты, врываются в дома гугенотов, убивают, насилуют, грабят, жгут. В одном Париже — свыше двух тысяч именных жертв (слуг и прочих плебеев никто не подсчитывал), свыше тридцати тысяч — по остальной Франции. Это — начало непрерывных «религиозных войн».

«Кровь лилась со всех сторон, ища стока к реке», — свидетельствует очевидец страшной парижской бойни, поэт Агриппа д'Обинье. Озверевших погромщиков напутствует яростная пропаганда. «Пускайте кровь! Пускайте кровь!» — рычит маршал де Таванн, один из вдохновителей и организаторов Варфоломеевской ночи. «С ними человечно быть жестокими, жестоко быть человечными», — вторит ему набожная королева-мать.

Трудно вообразить себе, но это факт: массовая резня была детально согласована с Римом и папа поручил своему кардиналу благословить оружие убийц. Карл V Испанский спешит поздра-

---

\* Агриппа д'Обинье. Трагические поэмы. Мемуары. М., 1949.

вить «христианнейшего короля»: поражение французских протестантов даст ему возможность в следующем — 1573 — году так же радикально разделаться с их нидерландскими единоверцами!

Варфоломеевская братоубийственная лавина обрела такой размах и такую инерцию, что сам король не в силах был остановить ее: указ о прекращении резни пришлось отменить через два дня после его издания — под давлением Лиги и сообщников Екатерины...

Варфоломеевская ночь — одно из наиболее страшных проявлений феодально-католической реакции XVI века. Этой позорной странице истории Франции суждено было стать и переломной вехой в жизненной и творческой биографии многих ее современников, в их числе и юного дю Вентре. С неимоверной силой возмущения и гнева, неожиданной и даже удивительной для вчерашнего изящного каламбуриста, угождавшего своими эффектными, но безыдейными остротами всему Парижу, Вентре обрушивается на инициаторов погрома — Карла IX, королеву-мать, Гизов.

Первые же два-три образца творчества в новом жанре обеспечивают их автору место в Бастилии и увлекательную перспективу — расстаться с собственной головой на Гревской площади. Пожалуй, лишь незаурядная популярность поэта и его широкие связи побудили Карла заменить смертную казнь «за королевскую измену», как это тогда называлось, вечным изгнанием дю Вентре из Франции.

Разделавшись — хотя бы на время — с гугенотами, королева-мать тем самым чрезвычайно усилила позиции Лиги, которая тотчас начинает упорно добиваться перехода королевского титула к своему ставленнику — Генриху де Гизу. Последнего из Валуа, Генриха III, пытаются похитить и насильно постричь в монахи. Борьба обостряется: короне приходится обороняться одновременно и от Лиги, и от гугенотов.

Генриху Наваррскому, в ночь св. Варфоломея для сохранения жизни отречьемуся от протестантизма и плененному в Лувре, удастся в конце концов бежать на юг Франции, в гугенотские провинции. Здесь он снова становится протестантом, объединяет под своими знаменами значительные гугенотские силы и организует новый поход против короля. Осадами и сражениями Наваррский упорно прокладывает себе путь на север, завоевывая город за городом, провинцию за провинцией.

Здесь, в местах наиболее ожесточенных схваток, мы снова встречаем нашего героя, нелегально вернувшегося из Англии, чтобы сменить перо и рифмы на шпагу и пистолеты. В этом амплуа дю Вентре весьма успешно рассказывает многое из того, чего не успел изложить в стихах, — настолько успешно, что папистские историки тех лет затрудняются определить, какой вид оружия более опасен в руках этого кавалера. «Что же сказать о военном мужестве и отваге неприятеля, — пишет, к примеру, Пьер л'Эту-



аль, — если при Клермоне некий шевалье дю Виндрей, сопутствующий лишь дюжиной кирасиров, с криками «За двадцать четвертое августа, каналы!» пробился через отменно фортифисированные диспозиции целого полка наших нерадивых воителей и чуть было не пленил самого маршала Вогана!..»

В 1589 году под кинжалами убийц погибают два Генриха — де Гиз и царствующий Валуа. За год перед этим пал в сражении третий Генрих — Конде, принц крови, также имевший известные основания претендовать на французскую корону. Обезглавленная Лига вынуждена согласиться на провозглашение королем единственного — после смерти Конде — кандидата гугенотов, четвертого Генриха — Генриха IV, короля Наварры, при условии... его перехода в католичество.

Борьба гугенотов увенчивается победой лишь в 1598 году: Нантский эдикт узаконивает свободу вероисповедания и для истерзанной междоусобицей и войнами Франции наступает на какое-то время долгожданный мир.

«Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нацию» — так учит сталинская теория (Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос. М., 1936. С. 27). Складывание французов в нацию в бурную эпоху религиозных войн не могло не выразиться в небывалом расцвете духовных богатств этого народа. И действительно, именно эти десятилетия французского Возрождения оказались чрезвычайно плодотворными для французского искусства, в частности и в особенности — для поэзии. Соответственно сложности и богатству духовной жизни нации, музыкальности и пластичности ее языка возникает и развивается множество поэтических жанров и форм. «С той поры как Ронсар и Дю Белле создали славу нашей французской поэзии, — утверждает Мишель Монтень в своих «Опытах», — нет больше стихоплетов, сколь бы бездарными они ни были, которые не пучились бы словами... Никогда еще не было у нас столько поэтов, пишущих на родном языке» (Монтень М. Опыты. М., 1954. Т. 1. С. 217).

К этому можно бы прибавить, что никогда — ни до, ни после — поэты Франции и остальной Европы не испытывали такого пристрастия к сонету. Многие просто не признавали никакой иной поэтической формы, и этому странному обстоятельству мы и обязаны в конечном счете столь разнообразными и перспективными трансформациями данной ветви поэзии. Увлечение Гийома дю Вентре сонетом — скорее всего дань моде; но оно объясняется, если угодно, еще и активной неприязнью юноши к псевдоклассическим длиннотам придворной поэтической речи. В детстве поэта окружал скупой и сочный язык гасконских крестьян, известных своей способностью одним острым словом взбеленить соседа и заодно лишнуть дара речи его сварливую жену (разумеется, если она не гасконка). «Одной прибауткой гасконец убивает трех провансальцев», — говорят еще и сегодня на родине дю Вентре. Привлекательная сила сонета — в его лаконизме, позволяющем,

однако, облечь содержание, объем и тематический диапазон которого недоступен ни одной из прочих миниатюрных форм.

Что же случилось с сонетной формой во Франции к середине XVI века?

Унаследованная французами преимущественно от итальянцев (петраркистская школа), она претерпела существенные изменения не только идейно-смыслового, но и ритмического, и рифмического порядка. Клеман Маро (1496—1544), по-видимому, первым из французов «решился» на формальную модернизацию сонета: так, вместо привычной — классической — терцины  $sdc + dcd$  или удвоенной  $sde + cde$ , образующей заключительное шестистишие (коду), он прибегает к «произвольной» расстановке рифм:  $ecd + eed$  или  $cdcd + ee$ . Вскоре эти формы коды надолго становятся образцом \*. Еще радикальнее «осваивает» сонетную форму Пьер де Ронсар (1524—1565). Мистически-религиозная любовь к абстрактному женскому идеалу сменяется в его сонетах вполне земной, чувственно полноценной любовью, и соответственно обновляются и лексика, и ритмика сонета. Иоахим дю Белле (1522—1560) создает совершенно новые формы — точнее говоря, жанры — сонета: лирический сонет, бытописательно-сатирический, философски-публицистический и т. п.

У дю Вентре мы уже встречаем сонет-сатиру, сонет — жанровую сценку, наконец, сонет-декларацию, в котором заключительные строки — «ключ» — обретают выразительность и функцию призыва, лозунга. Современники по-разному воспринимали эти вольности — одни их порицали, другие ими восторгались и подражали новатору. Мишель Монтень с присущей ему широтой и мудростью сказал по этому поводу: «Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то, значит, и все оно безупречно; по-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно было богато смыслом и содержанием, — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец...» (Монтень М. Опыты. Т. 1. С. 217). А, например, Агриппа д'Обинье, близкий друг — и литературный «противник» — дю Вентре, упрекает его в сонете же, ему посвященном:

Твой стих, Гийом, нагнать способен страху:  
Ты влил в него и желчь, и пьяный бред!  
Сумел ты изуродовать Сонет,  
Как дьявол искорежил черепаху... и т. д.

Так или иначе увлечение сонетной формой с той поры стало весьма распространенным. Лаконичность сонета, ясность и строгая логика его построения («диалектичность»: 14 строчек,

---

\* Подробнее по этому вопросу см. в статьях В. Ф. Шишмарева и В. А. Римского-Корсакова (История французской литературы. М.; Л., 1946. Т. 1).

4 строфы — теза, антитеза, синтез и ключ, неожиданным афоризмом или иным эффектным аккордом венчающий поэтическую миниатюру и одновременно раскрывающий читателю гражданский ее подтекст) обусловили широкое распространение этой формы во всех литературах Возрождения. Любопытно, что каждая литература вносила в сонетную форму свои, особые, большей частью национально-языковые коррективы. Так, специфика английского языка вызвала к жизни сонет с одними мужскими рифмами — форму, чарующую «континентального» европейца и нас, русских, своей музыкальной «недосказанностью»... Но самое удивительное: сонеты с исключительно мужскими рифмами встречаются и в испанской, и в итальянской, и во французской поэзии ничуть не позже, чем они появляются в английской! У нас нет никаких материалов (да нет, признаться, и особой потребности) для выяснения «приоритета» в этом вопросе, и меньше всего интересуют нас сейчас проблемы взаимовлияния европейских поэтических течений и школ. Известно только (и мы упоминаем об этом лишь как о любопытном факте), что при дворе Елизаветы Стюарт, симпатизировавшей и помогавшей гугенотам, знали и ценили французскую поэзию Ронсара, д'Обинье, дю Вентре, дю Белле, Малерба, пожалуй, не меньше, чем на их родине, и что годы своего изгнания дю Вентре, вероятно, именно по этой причине провел в отечестве Шекспира, звезда которого в те дни восходила над Европой и миром.

А «живучесть» сонетной формы поистине поразительна. Пройдя многовековое испытание временем, она влекла и манила еще величайших поэтов XIX века: Пушкина и Байрона, Мицкевича и Уордсворта, Шелли и Мюссе, Верлена и Верхарна... На рубеже столетий отдали дань сонету Бунин и Брюсов, и русской советской поэзии сонет не стал чуждым — укажем хотя бы на двойной сонет М. Рыльского «Провидец бури» (к десятилетию со дня смерти М. Горького) или на блистательные элегические сонеты А. Штейнберга, не говоря уже о всемирно прославленных советских переводах западных сонетов.

Достоверные данные о биографии дю Вентре отсутствуют; ничего почти не известно, в частности, о последних годах его жизни. Есть лишь косвенные указания, что дю Вентре, подобно д'Обинье, религиозным фанатизмом которого он так возмущался, радикально порывает с Генрихом IV и его двором, удаляется в свое чахлое родовое поместье в западной Гаскони и там, видимо, тихо и неприметно завершает свою бурную жизнь. Отсутствие дат и иных документальных оснований исключает возможность строгой хронологической систематизации литературного наследия этого солдата, ворвавшегося — по собственному его определению — с пистолетом на Олимп, этого столь же одаренного, сколь и легкомысленного французского бунтаря. Исходя из ошутимой автобиографичности его произведений и руководствуясь собственными стилистическими соображениями, мы расположили избранные нами 100 сонетов в пяти тетрадах, в известной мере отвечающих

пяти важнейшим этапам жизни и творческой эволюции их автора. В качестве заглавий этим тетрадам мы подобрали цитаты из самих сонетов.

Если хоть в малой мере удалось нам приблизить к читателю гневные и веселые, грустные и насмешливые строки дю Вентре, его любовь к родине, ненависть к ее врагам и отвращение к «воронью», терзавшему Францию в ту сумрачную эпоху, — мы сочтем свой скромный труд оправданным — вне анализа его поэтических достоинств.

*Ю. Вейнерт*  
*Я. Харон*

---

**Я. А. ВЕЙНЕРТ**

**КНИГА ДЛЯ МОИХ ДЕТЕЙ**

---

**Глава из воспоминаний**

---

Настоящая, реальная жизнь встретила Юру потрясениями. Первая травма была нанесена в 1929 году арестом мамы и папы. И ссылкой их в Ярославль.

Вся тяжесть драмы пала на Бусеньку (бабушку) и Тусю (старшую сестру), которая на своих полудетских плечиках многие годы несла груз воспитания младших, забот о их питании, одежде, сохранении квартиры, хлопот о паспортах, не говоря об учебе.

Понятно, что возраст Юры, да и всех остальных, предъявлял свои права и сказывался в том, что Бусина и Тусина жизнь отравлялись постоянно и двойками в школе, и драками, и домашними ссорами, и непослушанием, и нетерпеливым «есть хочу... а я все равно хочу», когда есть-то было нечего. Понятно и то, что нарушенный порядок домашней жизни нарушил и привычный моральный порядок, что сказалось на дальнейшем формировании духа ребят. Но несомненно и то, что вся предыдущая жизнь на всех оставила след хотя бы в форме нежной, пусть порой и платонической привязанности к семье и друг к другу.

Эту привязанность мы с Колей всегда чувствовали в письмах ребят в Ярославль, в Кинешму и впоследствии в Архангельск, Красноборск и Черевково. К сожалению, письма все почти пропали во время войны в наше отсутствие.

Первая встреча после нашей высылки произошла в 1930 году в Ярославле.

Мы в это время работали в школе Дозауч и сняли комнату на лето по ту сторону Волги.

Юра за это время успел пережить многое. Передачи, которые они с Тусей приносили нам на ул. Воинова, посещение прокуратуры с запросами о нас, встречи с такими же лишенными семьи, как они, и, естественно, не примирившимися с этим; целый ряд таких же потерпевших и переживавших несчастье школьных товарищей — все это вызывало у ребят (Юре шел 15-й год) желание чем-то поделиться, что-то пересмотреть, против чего-то протестовать, что-то перечитать.

Ребята встречались, говорили, по-видимому, читали не то и не так... Словом, еще в 1929 году, когда нас временно освободили и мы были дома, звонок — являются с винтовками делать обыск... у Юры. Конечно, дома — отчаянье. Чтобы подготовить маму, всегда страдавшую пороком сердца, обострившимся при волнении, я возможно осторожнее разбудила ее и предупредила об обыске. Она быстро оделась и вошла в комнату в тот момент, когда раскрывали Юрин детский столик, наполненный «железками», и в нем искали недозволённого.

Бусенька бросилась к Юре, прижалась к нему и с отчаяньем воскликнула: «Юра, и за тобой, таким дитенком!» А Юра

был счастлив: «Бусенька, не горюй, понимаешь, ведь это значит, что я уже совсем большой!..» По-видимому, Юрины ребячьи «железки», детский столик и это восклицание произвели впечатление на обыскивавших. Просмотр Юриного имущества был прекращен, изъять было нечего, и ему было предложено вместе с ними проследовать на Гороховую улицу. Мало того, мужу и его другу Анд. Ник. было разрешено поехать с ними. Ехали в трамвае, причем сопровождавшие сидели отдельно и «преступнику» было разрешено даже разговаривать с отцом. О дальнейшем я узнала частью от Юры, частью от Коли и от представителя Красного Креста, к которому я обращалась с запросом о Юре. А позже, при моем следующем аресте, о Юре рассказывал мой следователь Стронин, знавший о деле ребят и с большим сочувствием отзывавшийся о Юре.

Когда Юру ввели в комнату, где он должен был ждать вызова в кабинет, «преступник», прождав сколько-то времени, мирно заснул и проснулся только от осторожного прикосновения к своему плечу и слов: «Гражданин, вас ждут». Собеседование со следователем, по словам Юры, было очень неприятно по тону: «Будто и в самом деле я преступник». Разговор длился, по-видимому, несколько часов, и вскоре выяснилось, что «гражданину» и говорить-то было нечего. Муж долго ходил по Гороховой, наблюдая, как кого-то, похожего на Юру по детской ковбойской шляпе с полями и не по росту короткому пальто, посадили в «черный ворон» и куда-то увезли. Так как движение на улице прекратилось и дальше ждать было бессмысленно и небезопасно, он ушел домой, а через час-полтора раздался звонок и явился сам Юра. «За отсутствием улик» он был отпущен. Пришел, конечно, гордый, довольный приключением и, главное, признанием своей «взрослости» и своего «гражданства».

Когда он через несколько дней явился в школу, некоторых из его товарищей там не оказалось, а мальчику впервые пришлось испытать отношение к себе «общественности». Правда, некоторые говорили с ним с подчеркнутым почтением, но больше было таких, которые отвернулись от него как от опасного или, по крайней мере, подозрительного субъекта.

Когда Юра приехал к нам в Ярославль на каникулы, пережитое сказалось на нем: он показался нам более сдержанным, пожалуй, даже скрытным, менее общительным с новыми знакомыми, не так откровенно высказывал свои впечатления от того, что видел...

С увлечением он играл на рояле (удалось устроить возможность практиковаться), конечно, много читал.

После этого мы с Юрой не виделись до 1935 года, когда он вернулся уже из своей ссылки. Это время, самое трудное, когда ребенок, детеныш, становится мужчиной, когда так нужна поддержка взрослых, отца, старшего брата, когда так необходимо спросить и тут же получить ответ на мучительный вопрос, совет, как поступить, — это время Юра был предоставлен себе, и сча-

стье, что его неиспорченная натура уберегла его от пошлости и грязи.

Окончив школу в пятнадцать лет (тогда была девятилетка), он оказался на распутье. О вузе нельзя было и мечтать по возрасту. По совету друзей решил поступить в ФЗУ. Главным событием этой его «эпохи» была любовь к Леночке; кажется, она отвечала ему взаимностью, но что-то произошло между ними, поссорились, разошлись... Юра долго помнил любовь — он всегда понимал ее только серьезно и переживал мучительно. Будучи в ссылке, из Мариинска он просил отца побывать у Лены, поговорить с ней, быть может, что-то выяснить, что-то восстановить. Коля все сделал, что мог, но Лена (это было, если не ошибаюсь, в 1934 г.) была уже замужем.

ФЗУ Юра кончил через год, получив кое-какие права на «железку», которые не раз его потом выручали. Вновь воскресли мечты о вузе. Попасть было очень трудно: отец и мать в ссылке. Но откровенный разговор с кем-то, имеющим достаточную силу, чтобы поддержать его, помог — и вот он студент путейского института (потом ЛИИЖТ). Но счастье длилось несколько месяцев.

За этот год окончилась досрочно ссылка его товарищей по школе. Они были в Медвежьей горе, где к ним отнеслись исключительно доброжелательно, помогли им получить специальность. Ребята вернулись в Ленинград, стали встречаться, опять чтение нерекомендованной литературы, разговоры о том, о чем не надо было говорить, донос и арест. Мы в это время были в Черевкове Архангельского края, и письмо об аресте и ссылке Юры нас ошеломило. Впоследствии нам рассказывали об обыске, о том, как Юра, узнав об аресте своих товарищей, решил бежать, не зная куда, о том, как, начитавшись мемуарной литературы, держал у себя килограммы махорки и нюхательного табаку, чтобы защищаться при аресте, ходил около дома, а потом бросился бежать, оказался около Михайловского сквера (за ним гнались), упал и был задержан, когда какой-то бдительный прохожий подставил ему подножку. Это, пожалуй, было самым страшным: чувство затравленного зверя, которому грозит смерть, и сознание ее неизбежности. Потом все стало легче: смерть прошла мимо, хоть она, казалось, была рядом; ул. Воинова, перестукивание с товарищами по несчастью — преимущественно стихи — с одной стороны немецкие и перевод их на русский, с другой — русские и перевод их на немецкий. Поэтическая дружба, основанная на любви к поэзии, продолжалась впоследствии, в недолгие годы свободы обоих.

Переживал Юра и тяжелые моменты в свою бытность на ул. Воинова в эти годы. Прежде всего, конечно, встречи со следователем. По словам Юры, оба они — старший и его помощник — были искренними, вполне порядочными людьми, убежденными если не в преступности, то в ошибочности мнений своих подследственных, всей компании ребят, товарищей Юры. Разобравшись

в них, они решили их переубедить, перевоспитать. Следствие вели по всем правилам и методам того времени. Юра позднее вспоминал заключительный разговор со следователем, который говорил с ним сурово, убеждал в преступности и закончил обещанием «высшей меры».

Юра, конечно, побледнел (ему было только 17 лет), но, уходя с победоносным видом, он бросил следователю: «Что ж, могу передать там привет от т е б я ». — «Кому же?» — «Дзержинскому или самому Ленину». Этого было достаточно, чтобы следователь, немногим старше Юры, вышел из роли. «Дурак», — бросил он в ответ и заговорил простым, товарищеским и потому гораздо более убедительным языком. Вместо «высшей меры» он обещал высылку всей компании в Архангельский край, что и было исполнено. Одновременно он подарил Юре книгу Ленина, с трогательной надписью: «Юре от его следователя» — и потребовал, чтобы мальчик внимательно прочел ее и передумал свои выводы.

Уехали мальчики вместе, поселились в Архангельске тоже вместе и жили коммуной. Каждый из них нашел себе работу, главным образом, в «железке». Юра использовал свою подготовку в ФЗУ, но, по-видимому, недостаточно опытный в практике, пренебрег осторожностью и искалечил палец. Об этом впоследствии мне рассказывала позже сосланный в Архангельск Г., работавшая там врачом или сестрой.

Юра сам пришел в амбулаторию, был страшно бледен, обескровлен. Но прежде чем потерять сознание, успел попросить разрешения присесть. Это настолько поразило сестру (или врача), не привыкшую к вежливости пациентов, что она оторвалась от работы и, взглянув на пациента, оказала ему немедленную помощь, а потом заговорила с ним и узнала, что он мой сын (меня она знала по улице Воинова). Конечно, нашлось много общих тем, отвлекавших Юру от невыносимой боли при последующих перевязках.

На месте ранения образовался фурункул, и пришлось палец оперировать: Юра потерял сустав (указательного пальца) и навсегда лишился возможности играть на рояле, отчего очень страдал.

Экономическая сторона коммуны давала возможность ребятам неплохо кормиться и даже не отказывать себе в некоторых удовольствиях, как кино, театр, редкие концерты.

Вся зарплата, посылки, денежные переводы сдавались в общую кассу и уходили на общие и индивидуальные потребности с ведома всего коллектива.

Жили хорошо, много читали и были довольны жизнью, если б не сознание несвободного существования, постоянные проверки, иногда обыски и другие репрессии, вызывавшие мальчишеское стремление к протесту. Оно проявлялось в несдержанных разговорах, порой в шалостях на улице, на работе.

В результате под влиянием общины Юра написал следователю, что рекомендованные им книги перечитал, но остался при



прежних убеждениях и отказывается выполнять другие его требования и поручения. (Он никогда не говорил, что имел в виду.) Следствием письма были перевод всей группы из Архангельска в район Шенкурск и вскоре вторичный арест Юры. Совпадение: его везли в Ленинград в том же поезде, в котором мы возвращались после первой ссылки из Черевкова.

Не помню, на какой станции мы должны были пересесть на ленинградский поезд, но на вокзале ждали несколько часов, не подозревая, что где-то поблизости, быть может в другом углу того же зала, под конвоем так же ждет пересадки бедный наш мальчик. Как мы упрекали себя, что, еще травмированные ссылкой, сидели на одном месте: все казалось, что за нами следят, что, несмотря на освобождение, ежеминутно могут вновь нас арестовать.

И тем не менее, если бы хотя бы предполагали, что Юра где-то здесь, конечно, мы бы бросились к нему, несмотря на запрещение его конвоя. И насколько всем нам троим было бы легче. О Юрином аресте мы узнали случайно и далеко не сразу: сообщил, как это бывало обычно, кто-то из освобожденных, сидевших с ним в одной камере.

Юра попал к тому же следователю, пережил, кроме обычных огорчений, еще личные его упреки в том, что не оправдал дружеского доверия, оказанного ему в первом «деле».

Вторичный эпизод Юриной эпопеи закончился ссылкой в Мариинск.

В Мариинске Юра, самый маленький из группы ссыльных, был тепло встречен. Сначала все были на общих работах, тащили из замерзшей земли турнепс и свеклу, потом были на строительных работах. В группе строителей счастливо сочетались: архитектор, музыкант и художник-живописец. Жадный на всякие знания, особенно по разным видам искусств, Юра оказался благодарным учеником. Глотал, пожирая, все, о чем говорилось, выработывал свою точку зрения, свой собственный вкус, а технически — стал хорошим чертежником, что ему, в добавление к «железке», очень пригодилось в дальнейшей ссылке.

Мариинск Юра всегда вспоминал с благодарностью к людям, с которыми там имел счастье общаться.

В то время еще можно было освободиться досрочно, добросовестно работая, и в 1935 году Юра был отпущен из Мариинска без права жить в Ленинграде.

Прожив некоторое время дома, Юра должен был куда-то уехать. Хотелось бы поближе, и мы решили отправить его за 100 км, в Малую Вишеру. Но нужно было там найти работу, а это непросто, когда масса амнистированных ленинградцев, семьями связанных с нашим городом, ринулась в Лугу или Малую Вишеру. К тому же почти все они были крупными специалистами и для такой мелочи, как Юра, не находилось мало-мальски подходящей работы. Места чертежников, экономистов, статистиков, бухгалтеров, учетчиков и т. п. оказались занятыми профессорами, чуть

ли не академиками. Так как физического труда Юра не гнушался, к тому же получил боевое крещение в Мариинске, к тому же работа, независимо от денег (нам в это время жилось неважно), необходима была для хлебной карточки, Юра поступил сплавщиком. За работу взялся, как обычно, рьяно, страстно. Но так как одежда была неподходящая, вскоре промок и простудился.

В это время я была у него в Малой Вишере. Маленький городишко, скорее село, деревянные домики, грязь, немощеные дороги, и на каждом шагу — то научный сотрудник Эрмитажа, то известный историк-архивист, то профессор университета — «бывшие», конечно, иногда с женами, жили где попало, часто среди клопов и тараканов, в изобилии водившихся в деревянных жилищах. Ходили оглядываясь, боялись встречаться, чтобы не быть обвиненными в каком-нибудь коллективном деле. У Юры почти не было знакомых, недостаток книг чувствовался особенно мучительно, хоть мы и старались восполнить его присылкой своих. Общества он также не искал, вообще чувствовал себя затравленным, предпочитал Мариинскую ссылку такому полусвободному существованию.

Стали хлопотать о любой работе, более постоянной и подходящей. В это время строился канал Москва — Волга, и Юре удалось там устроиться сначала чертежником, потом техником.

О том, как он там работал, Коле рассказывал начальник строительства, очень хорошо относившийся к Юре. Он привел два эпизода, характеризовавших Юру и его отношение к работе и окружающим.

Юра был назначен руководителем работ на какой-то отдаленный участок, где рабочие были ссыльными; сначала они отнеслись к Юре как к бывшему собрату, переменявшему фронт и выслуживающему доверие начальства. Но вскоре отношение к нему переменялось. Юра делал все, что мог по своему положению, чтобы оберечь рабочих от злоупотреблений мелких служащих, готовых любыми средствами нажить состояние. Таким оказался приезжавший на участок кассир. При расчете с рабочими он всячески урезывал их скудный заработок, причем делал это умеючи, и найти, в чем «ошибка», мог только человек, знающий работу. Юра сам стал вести строгий учет и, поймав кассира на мошенничестве, предупредил его, что еще один-два случая — и он расправится с ним сам.

Когда кассир не прекратил своих фокусов, Юра при всех поколотил его. Кассир пожаловался, и Юру должны были судить за самоуправство. Когда начальник строительства призвал Юру и потребовал объяснения, упрекнув в том, что он не обратился к начальству, Юра ответил: «Доносчиком я не был и не буду, а кулаки у меня здоровые, да для таких ловкачей, как этот, они и убедительней, по крайней мере, не вернуться от наказания, и этот впредь будет осторожнее».

«А ты знаешь, чем это грозит тебе?» — «Знаю, но сейчас по крайней мере будет за что». Начальник дело замял, ограничившись переводом Юры на другой участок.

Там произошел другой случай. На строительство, на Юрин участок, поступила какая-то новая иностранная машина, которую нужно было наладить для работы. То ли не хватало каких-то частей, то ли не было хороших специалистов, но с машиной ничего не могли сделать: не работала.

Юра, никогда прежде не видевший таких, на свой страх разобрал ее, изучил и пустил в ход. Машина двинулась, но застряла на дне реки. Надо было ее вызволить. Была середина ноября, вода холодная. Юра предложил нырнуть. Никто не решался. Тогда он сам нырнул. «И вот идут минуты за минутами, а его все нет и нет. Мы уже стали шапки снимать: ясно — утонул. И вдруг что-то залопотало, заскрипело, машина двинулась и вынесла — землю, а сверху — Юру без сознания». Его долго приводили в чувство, конечно, не обошлось без простуды, но машина начала работать исправно. Юра получил благодарность и был премирован, престиж его установился прочно.

В то время в Дмитрове открывался филиал Гидротехнического института, и Юра был намечен кандидатом. Восторгу его не было пределов. Спешно отправили ему документы, нужные книги. Но... принять в число студентов бывших репрессированных не разрешало высшее начальство, несмотря на лестный отзыв о Юре, данный начальником строительства.

За первой восторженной телеграммой домой последовала другая, полная отчаяния. Но работы на строительстве заканчивались, опять появилась надежда: Юра был представлен к медали и снятию судимости. Оставались формальности, обнадеживающие мальчика стать комсомольцем — об этом он все время мечтал — и полноправным членом социалистического общества, искренним почитателем которого он был с ранних лет, несмотря на все невзгоды, которые он объяснял случайностью.

И вдруг опять телеграмма: «Ура, призван в Красную Армию. Все забыто, буду солдатом». Так он действительно думал, когда за два месяца до окончания строительства канала ехал в Псков. Но здесь его постигло разочарование: он был назначен, как и многие бывшие репрессированные, в строительный батальон, т. е. «ничего не забыто», это та же ссылка, те же работы, только с более суровой, солдатской дисциплиной.

И вот этой-то дисциплины он не выдержал.

Предшествовали этому события, развернувшиеся в Москве и Дмитрове.

Живя там, Юра познакомился в семье Павловых с девушкой, которая в него влюбилась. Некрасивая, не очень умная, но сравнительно образованная, студентка университета, к тому же гуманитарного, искусствовед, театрал, она, естественно, была интересным собеседником для Юры, особенно в Дмитрове, где мало было людей, с которыми он мог и хотел бы общаться вне работы.

К Лиле приезжала подруга Люся Хотимская, тоже студентка Московского университета. Это было настолько очаровательное существо, что, кажется, не было среди окружавших ее че-

ловека, мужчины или женщины, кто не поддался бы ее обаянию. Маленькая, очень хрупкая, темная шатенка, с неправильными чертами лица, огромными, прекрасными глазами, оживляясь, она становилась красавицей. Она вся светилась внутренним светом, который заставлял не видеть, не замечать, красива она или нет, но который озарял не только ее, но, казалось, все ее окружение. Разве можно было смотреть на кого-нибудь или на что-нибудь, когда появлялась Люся... Конечно, Юра не устоял. Началась трагедия: он любит ее, и она тоже любит его, но и другая любит его, и обе любят друг друга, к тому же он жалеет вторую, отверженную. Все встречи троих, все свидания двоих омрачались тенью грядущей трагедии, предчувствием сердечных бед. Вот в это-то время судьба вырвала Юру из Москвы и перенесла в строительный батальон в Пскове. Тоска по Люсе и по культурной жизни в Москве; в большинстве случаев грубоватые, малоинтеллигентные товарищи не могли удовлетворить его тягу к поэзии, музыке, вообще к прекрасному. Они по-своему любили его, но не всегда понимали.

С другой стороны — так близко Ленинград, родители, страсти и братья, которых он любил страстно, спокойно, как все, что он делал. И в Ленинграде — Эрмитаж, Русский музей и филармония, а тут скучная работа, в поисках строительных материалов разъезды по малокультурным районам. Начались злоупотребления командировками. Посылают Юру куда-нибудь, он, наскоро выполнив поручение, стремится домой, где покормят такими вкусными картофельными оладьями, где все хорошо, потому что это Ленинград, это дом, это люди, с которыми обо всем так интересно и так хорошо говорить. К тому же папа, защитивший диссертацию, пишет книгу о России, будет читать отрывки, и мама найдет что-нибудь интересное. А младшие будут смотреть влюбленными глазами, дурачиться, казаться взрослыми... Был 1936/37 г.

Отлучки в Ленинград не могли пройти бесследно. В один из приездов, садясь в спальный вагон поезда, направляющегося в Псков, Юра столкнулся с начальником. Конечно, расспросы, недоверие (хотя провожали мы Юру всей семьей, как всегда), служебное взыскание.

В это же время московские красавицы решили уступить Юру друг другу, а в конечном итоге великодушно предоставили ему выбрать одну из двух подруг. От большого ума и чувства они послали ему телеграмму, определившую его дальнейшую судьбу: «Мы свободны будь свободен и ты». Это был 1937 год. «Сомнительные» поездки в Ленинград, «подозрительная» телеграмма, недостаточно серьезное отношение к службе, какие-то «непонятные» стихи — этого было вполне достаточно для ареста.

Не получая долго писем от Юры, беспокойные молчанием и всем происходящим вокруг, мы отправляли телеграммы, писали к начальнику воинской части — все оставалось без ответа. Наконец мы получили пачку наших семейных фотографий, с которыми Юра не расставался, и узнали, что мальчик опять аресто-

ван. О времени пребывания в псковской тюрьме он не любил рассказывать. Говорил только, что было очень тяжело... Зато много рассказывал о сказочно прекрасной жизни в Дмитрове и Москве, конечно, о Люсе и друге Славе, которому был обязан самой братской дружбой, возможностью спорить по всяким серьезным вопросам философии, искусства, литературы, чтобы прийти к тому же выводу! Самое ценное в жизни — музыка и вообще искусство, а Люся — воплощение прекрасного.

Начался третий этап Юриных страданий. На этот раз Восток: Абакан, Комсомольск и др. К счастью для всех нас, Юра не был лишен права переписки — самая болезненная мера, совершенно отрезающая человека от родины и близких, обрекающая его на вечное одиночество.

После долгого молчания мы получили письмо сначала с пути, потом из Комсомольска и продолжали получать более или менее регулярно то от него непосредственно, то через Люсю, с которой переписывались и в этот период до нашего ареста, и в то время, когда я — сначала одна, а потом с Гусей — жила в Якутске.

Если предыдущие ссылки носили характер «свободных», когда давалось право поступать на работу, если тебя брали, устраивать свой домашний быт по материальным своим возможностям — с уведомлением об адресе соответствующих властей, с полной возможностью и постоянным ожиданием обыска, приглашения в «учреждения», ежечасным ожиданием неожиданных репрессий и обязательной периодической отметкой (иногда каждые 2—3 недели, месяц), то лагеря были связаны с постоянным конвоем (собаки-ищейки) при выходе за территорию лагеря-тюрьмы, с полным подчинением порой даже капризам далеко не всегда культурного начальства, каковым является любой конвоир.

Правда, не надо было заботиться о пище, но в этот период она была далеко не достаточной, и неоднократно Юра в письмах с восторгом изображал «Лукуллов пир», когда он с товарищами дополнительно к обеду жарил картошку на касторке или техническом жиру, «который иногда сильно отдавал керосином». Тяжелее всего было от недостатка «махры». К курению он пристрастился в первую сидку свою в тюрьме и потом постоянно прибегал к нему, когда становилось особенно одиноко.

К сожалению, мы редко могли ему помочь деньгами, на которые, как он писал, купить было нечего, или посылками: нам тоже очень трудно жилось. Чаще посылали Люся и ее родители, которые в этот период очень хорошо относились к Юре.

Большим утешением Юры в этот период была дружба с Яшей Х. и начатые совместно с ним «переводы» дю Вентре.

Первым толчком к выбору сюжета и формы послужил Мериمة своей «Хроникой времен Карла IX». Отсюда же заимствованы иллюстрации. Кстати, Юра мог быть незаурядным графиком, если бы специализировался в этом художественном жанре. Вообще, подобно отцу, он отличался исключительной многогран-

ностью дарований. А техникой графической был обязан своим друзьям-художникам, товарищам по Марииной ссылке. Его проекты книжных знаков, миниатюры и др. отличались точностью графической линии, простотой и вместе утонченным изяществом, стихи свои он также шлифовал с тщательностью и придирчивостью художника, много раз передельвая отдельные строфы, образы. Быть может, именно многогранность дарований помешала ему избрать один определенный вид художественной формы и усовершенствовать его, а жизнь, как и отцу его, делала все, чтобы отвлечь его от этого стремления. Только в одном случае помехой служила астма, в другом — ссылки...

Сблизившись с Люсей в дмитровский период, Юра не только не охладел к ней во время ссылки, но любовь его, несмотря на мучительные переживания разлуки, крепла. Люся стала для него всем: моральной поддержкой, строгим критиком, другом, любовью.

Все лучшее в жизни и в мечтах сосредоточивалось в ней. Он писал ей обо всем, не исключая своих случайных любовных похощений в ссылке, и она, страдая от них, тем не менее понимала, плакала, но прощала, больше всего ценя в нем искренность и зная, что любовь к ней неизменна, что она сметет, уничтожит все препятствия.

Люся пользовалась огромным успехом в писательских, актерских и других столь же высоких кругах. Время шло, ждать конца Юриных странствий становилось все труднее. И тем не менее ей даже в голову не приходила возможность какого-то иного устройства жизни, хотя Юра, отчаиваясь в своем освобождении, неоднократно предлагал ей не считаться с ним, с ужасом вместе с тем от возможности такого решения.

Как-то раз после объяснения с одним «блестящим» во многих отношениях молодым человеком, умолявшим ее стать его женой, она ответила: «Милый мой, я вас очень люблю, но ведь у меня же есть Юра». И у претендента поникла голова, опустились руки: Юру он знал и такой довод был слишком убедительным, чтобы на что-нибудь надеяться...

В это время Люся, окончив аспирантуру, писала диссертацию о драматургии Словацкого. Нетрудно угадать, почему она взяла такую тему: Юра почитал этого поэта так же, как и я.

Я откликнулась на призыв Люси помочь ей и в сорок седьмом году провела у Хотимских три или четыре месяца. Не знаю, какую пользу принесла я ей, хоть она и уверяла, что без моей помощи ей совсем бы не справиться. Но она так владела языком, так понимала все тончайшие оттенки мысли поэта, что, конечно, и без меня бы чудесно справилась.

Общество мое было ей ценно больше всего тем, что можно было говорить о Юре, о том, что он любит, о чем она не могла говорить с родными, которых она очень любила, но которые во многом были ей чужды. Недаром она меня называла своей «ленинградской мамой».

Но вот кончилась война, все чаще говорилось о том, что освободят окончивших срок ссылки...

В 1947 году Юра выехал в Москву. Все мы трое с нетерпением ждали и вместе с тем боялись их встречи. Как-никак прошло десять лет. Письма — письмами, но оба они изменились прежде всего физически. Будут ли они чувствовать при встрече ту же близость, какую чувствовали и о какой мечтали в разлуке?

На этот вопрос ответил мне Юра письмом. «Меня встретила Люся. Я думал, что не дождусь этой минуты, когда смогу обнять ее. Мы сели в машину... и тут я почувствовал, что Люся, правда, моя жена».

Нельзя было и мечтать о том, чтобы Юре устроиться в Москве или Ленинграде. Нашлись знакомые, которые посоветовали Юре оставить неосуществимые мечты о литературном заработке, как они ни восхищались его стихами, его дальнейшими планами. Юрию пришлось опять взяться за «железку». После месяцев ожидания он получил работу инженера-конструктора на вагостроительном заводе в Калининне.

Началась счастливая, но мучительная жизнь: Люся — в Москве, Юра — в Калининне. По пятницам ночью Юра едет в Москву, остается на субботу и в воскресенье вечером возвращается, чтобы, не спав, сразу взяться за работу на заводе. И тем не менее — везде есть хорошие люди — ему прощали, даже ценили его работоспособность, да и любили его как хорошего человека.

Отпуск свой Люся провела в Калининне. Жили они в светлой, почти лишенной мебели комнате, Люся была счастлива изображать замужнюю даму и хозяйку дома, выдумывала кушанья, ходила на рынок. Этот месяц был единственным счастливым временем 36-летней Юриной жизни. Так они жили до сорок девятого года.

В 1949 году Юру опять арестовали без предъявления обвинений, без объяснения причин, выслали в Красноярский край, в Северо-Енисейск. Можно ли говорить об отчаянии нашем и их обоих? Юре при погрузке удалось поговорить с Люсей. Конечно, старались поддержать силы друг друга, утешить, обнадежить... Частью тогда же, подробнее в письмах, договорились, что Люся, получив аванс в 3000 за сданную в печать работу, выедет в Северо-Енисейск и проведет с Юрой несколько месяцев. Совсем к нему переехать она не могла, средств не было. Юрино заработка не хватило бы, и она должна была зарабатывать, а работа ее — в театральном обществе и литературная — была связана с Москвой.

Хуже всего, что, учитывая ее болезненность (давнишняя болезнь печени, по-видимому, здоровье ухудшилось после вынужденного аборта, операции и частые припадки), родители категорически возражали против ее поездки и вообще требовали разрыва с Юрой.

О разрыве Люся и думать не хотела, а поездку пришлось отложить. Но вот и деньги получены, и срок намечен... Юра ждет

окончательной телеграммы с указанием срока выезда... И получает телеграмму от Люсиной сестры, что Люся скоростно скончалась.

Сестра послала эту телеграмму, несмотря на то, что, получив известие о гибели Люси, я тотчас же телеграфировала просьбу подождать извещать Юру, подождать, чтобы я смогла к нему поехать и лично известить его.

Получив телеграмму, он потерял сознание, а очнувшись, стал думать о самоубийстве.

Я ему телеграфировала, что выезжаю при первой возможности, умоляла подумать обо мне, взять себя в руки, ждать меня...

И Юра взял себя в руки, ждал. Когда, достав 3000 рублей, я приехала к Юре, он все еще ждал. Это была последняя наша встреча, и трудно говорить о ней.

Самолеты только что начали рейсы после зимних и весенних метелей. Постоянного расписания не было, телеграммы получались неаккуратно. Юра ждал меня, работая над проектом шахты, которую строил. Когда показался самолет, он бросился на аэродром, опоздал. Я сошла и успела (с трудом, было очень тяжело) дотащить чемодан до камеры хранения. От самолета это было около 1 км. Запыхавшись, я стала раздумывать о том, как быть дальше. Дело было не только в отсутствии транспорта, но даже адреса Юры я не знала, предполагалось, что он меня встретит. Вдруг вижу, не идет, летит: рыжая австрийская шинель, посланная ему братом, растегнута, развевается, как крылья. Голова и корпус вперед, ноги еле поспевают за ними (обычная его походка). На глазах слезы, готовы вырваться рыдания. Вспомнились все ссылки, Люся, дом... Чтобы отогнать свою готовность к слезам и почти вырывающиеся всхлипы, пытаюсь ругать «за опоздание», так сказать, переключить настроение мелкими хлопотами и упреками: адреса-то, мол, не знаю, куда было податься, как распорядиться с грузом? Виноватые любимые глаза, попытки оправдаться: «Самолет быстро сел, увидел его с работы, не успел добежать, все-таки далеко»... и опять мелкие заботы о багаже, хозяйке, чае. Только бы не распуститься...

Собственно, все мое пребывание там с апреля по июнь сводилось к этому — только бы не распуститься. У Юры — тоже. Только ночью, думая, что я сплю, позволял себе дать волю нервам: плакал, как маленький. О больном — почти не говорили, оба не умели. Весь смысл моего пребывания свелся к стремлению отвлечь, забыть. И ничего не забывалось. Ведь вырвать отсюда Юру я не могла, а здесь все напоминало о возможности быть с Люсей, получать хотя бы весточки от нее и о ней, даже просто знать, что она там, в Москве, думает о нем, о встрече, пусть не в этом году... В редких откровенных разговорах признавался: «Жить незачем, не для кого и не для чего. Жизнь кончилась, после меня никого и ничего не останется. Хоть бы простое человеческое счастье, если б сын...» Решил жениться. Была рядом девушка, сослуживица. За то, что она с ним изредка посещала кино, ее уволи-



ли с работы. Это тоже обязывало. Она уехала к сестре в Красноярск (в ожидании самолета я у них останавливалась). Судьба Кюхли. «Выхода нет» и т. д. Стоило ли говорить, что это не так, что скоро ссылка кончится (хоть выслан был без срока и без права возвращения). Жил Юра анахоретом, с ссыльными не сближаясь, так как у всех были свои интересы, свои надежды, да и рискованно было заводить друзей, и не тянуло к людям, хоть обо многих он очень хорошо отзывался. Стихи «не писались после Люси», книги проглатывались уж очень быстро, почти не оставляя следа.

Осталась «железка». Приходит оборудование, которое требует большой эрудиции. Надо лучше знать английский... Оба мы с ним добросовестно искали выхода и не хотели думать о том, что его уж нет. Тщательно береглась всякая мелочь, напоминавшая о Люсе: ее письма (отрывки из них иногда мне читались), ее медвежонок, ее книжки — все вещественное, что могло как-то напомнить о ней, не существующей.

Бывали мы с ним в кино: единственная возможность культурного развлечения. Тогда Юра надевал свое нарядное пальто и принимал тот независимый вид, который так отличал его от окружающих, заставляя раскланиваться с ним и уступать ему дорогу. Юра со всеми был отменно вежлив, предупредителен, но насторожен. Так как весь Северо-Енисейск был набит хулиганами («урками»), Юра особенно оберегал меня: шел под руку и зорко осматривал соседей. Стоило ему заподозрить, что кто-то был со мной недостаточно почтителен, как он бледнел, мускулы напрягались, я всегда боялась, что еще минута — размахнется и будет скандал. Сдерживался усилием воли. Этих общественных мест я боялась и предпочитала просто гулять с ним по окрестностям. Но даже когда началась чудесная сибирская весна с массой цветов, с чудесными «огоньками» (купальница), саранками, тюльпанами, огромными фиолетовыми гроздьями мышиного горошка, с ароматом сосен на сопках, — даже тогда я ходила за цветами одна или с соседскими ребятами: Юра избегал таких прогулок, возможно, они даже слишком живо напоминали ему о Люсе и дмитровских прогулках. Одно время он очень много работал над докладом по специальности (это была «железка») — о новейшем оборудовании электроприборами шахтного строительства. Я ничего не понимала по существу, но Юра читал мне свои «измышления» и прислушивался к моим «композиционным» советам. Он очень волновался, так как на докладе должны были присутствовать «настоящие» инженеры с вузовским образованием и многолетним стажем работы по специальности. Недели две работал он с увлечением, доклад прочел с успехом, выслушал ряд комплиментов от специалистов, но, вернувшись, опять всю ночь ворочался на постели (спал на полу, кровать, несмотря на мои протесты, предоставил мне), опять встал вопрос: «Зачем все это?»

В первых числах июля я уехала. Несколько ускорила мой отъезд мысль, что должна приехать Аня, начнет налаживаться

их общая жизнь, а в особенности в первое время этому лучше не мешать.

Расстались мы с надеждой на встречу, быть может, через год.

Аня действительно скоро уволилась с работы в Красноярске и вернулась к Юре. Сначала они жили на частной квартире, потом переехали к матери, в свой дом.

У Ани — тяжелый характер, неуступчивый, она могла по полгода не разговаривать с сестрой, живя с ней бок о бок. Матери ее я не знала, но, по отзывам окружающих, она часто смягчала Анину придирчивость, бестактность и бесхарактерность в семейной жизни. В письмах Юры иногда мелькала понятная неудовлетворенность жизнью, но мечта о ребенке сглаживала неровности.

Понимая Юрины настроения, я часто ему писала, и в декабре 1950 сделала попытку поговорить с ним по телефону. Разговор не состоялся...

Заказ был принят и подтвержден. Мы ждали всю ночь до 6 утра здесь, а Юра у себя, в почтовом отделении. И все же ничего не получилось. По-видимому, этому разговору Юра придавал какое-то особое значение, потому что прислал телеграмму с просьбой повторить вызов. Надо было вызывать через Москву — Красноярск, а там — по радио. Можно ли? Не покажется ли такой разговор подозрительным властям, ищущим каких-то других, не родственных взаимоотношений даже между матерью и сыном? Не повредит ли мой повторный вызов Юриной судьбе ссыльного? (В это время у них участились аресты.) Все это заставило меня пока воздержаться от повторного вызова. Как я себя корю за это сейчас! Быть может, это был бы последний разговор. А может, он бы удержал Юру от чего-то страшного?

Словом, 20 января повергшая всех нас в ужас телеграмма, что Юра разбился в шахте, умер...

Потом подробности. Перед этим за неделю получил от Люсиной подруги пакет с посмертно вышедшей книжкой Люси. Отчаянье, вновь вспыхнувшее с неудержимой силой. Сжег все ее письма. И мои тоже. В магазине купил всяких материалов на халат Ане и ожидаемому ребенку фланели и еще чего-то.

20-го он должен был в последний раз осмотреть построенную им шахту, чтобы пустить ее в ход. Перед торжественным открытием пошел... без фонаря и... упал в нее. Разбился. Когда Аня, узнав, прибежала, он был еще теплый, но мертв.

Вот и все. Обмен телеграммами с Аней и сослуживцами. Поехать на похороны невозможно: расстояния, денег нет, даже если б были, самолеты, зависимость их от январской погоды. Хоронила Аня по обычаю, сослуживцы несли открытый гроб на кладбище, хотели даже музыку, но начальство не разрешило: боялись мертвого. Поминки, чтобы «как у людей». И вот наш мечтавший о жизни, о любви, о работе, о полезной работе на радость себе, близким и всем людям, наш голубоглазый, с меланхолией в этих

открытых глазах, с настойчивостью, упорством — сросшиеся брови и, особенно после смерти Люси, сжатые губы... Наш Юра покоится на высоком кладбище в Северо-Енисейске. Аня заботится о нем, вернее, о могиле. Вешает на крест венки из искусственных цветов, хорошо, что сделали ограду.

А между тем вот уже седьмой год ее мальчику, Николаю, названному так по имени деда, по желанию Юры. Мальчик числится без отца, не носит его фамилии, и мы мечтаем лишь о том, чтобы хоть фамилия, если не отчество, напоминала о Юре...

*Л. ...*

Дни салютуют сухим глассандо,  
Тоской на вынос и на распив.  
А ты — как дождь в окно веранды —  
Врываешься в дневную пыль.  
И вот — опять бегу из плена,  
Спускаю в память старый шлюп —  
Отыскивать меж волн и пены  
Изгиб полузабытых губ.  
Неблагородная задача —  
Любви твоей решать кроссворд,  
Всего себя отдав без сдачи,  
Балласт судьбы швырнув за бор т, —  
Но выбор мой до дна исчерпан,  
И за межой висков седых  
Я знаю: только ты — во-первых,  
Всё остальное — во-вторых!  
VIII. 1941

---

---

**МОСКВЕ**

---

Слепая луна до земли  
Тянула стеклянные пальцы:  
Исшарит осеннюю слизь  
И медленно двинется дальше.  
Ноябрь. Фонари. Тротуар,  
Желтеющий пятнами окон,  
Авто запоздалый угар,  
И капли дождя с водостоков.  
Любил я шататься с тобой  
По сонным, пустым переулкам.  
На мокрый асфальт тишиной  
Шаги отпечатаны гулко,  
Весь город завешен плащом,  
В туманную осень укутан,  
В свинцовую ткань. А вдвоем —  
Так было светло и уютно!  
Прошли вереницей года.  
Сквозь дней запотевшие стекла  
Я вижу твой город всегда  
Таким, полутемным и мокрым.  
За словом забытым: «Москва»  
Из памяти снова всплывают  
Твой голос, дыханье, слова,  
Звонок запоздалых трамваев.  
Какой-то нахмуренный дом,  
Дождя монотонные струи  
И, смешанный с мокрым дождем,  
Вкус первых твоих поцелуев.  
13.VI.41

---

\* \* \*

---

*Врубель. «Раковина»*

После игр и забав в изумрудных глубинах  
На жемчужную раковину, утомясь, прилегла  
Молодая, любимая дочь Водяного,  
Размечтавшись о том, что изведать нельзя.  
    Надоело ей всё. Улететь бы на небо,  
    Увидать бы земные города и людей...  
    Вот бы крылья, как у чайки, что над волнами реет!  
    Впрочем, там, над водою, нечем дышать...  
Загляни ей в глаза. Оторваться не сможешь,  
Навсегда зачарует загадочная глубина.  
Потеряешь рассудок, о невесте забудешь,  
За царевной морской канешь на дно...  
    ...Причесала зеленые длинные косы  
    Черепашовым гребнем, что недавно прислал  
    Ей в подарок Тритон, в нее крепко влюбленный  
    (Вот смешной! Никогда за него не пойду!).  
А вокруг — пучеглазые рыбы и крабы,  
Неуклюже-старательные сторожа,  
И жемчужная раковина в голубом перламутре,  
Как цветок драгоценный, царевну хранит.

29.XII.41

---

\* \* \*

---

*Ван Гог. «Прогулка арестантов»*

Одни несут свои шаги,  
Как непомерный груз Атланта.  
В притворной удали других  
Сквозит угрюмость арестантов.  
    Весенний ветер. Щебет птиц  
    Несется с каменной ограды.  
    Весь круг землисто-желтых лиц  
    Как взят из дантовского ада.  
На плесень стен, на сырость плит,  
На дно тюремного колодца  
Бросает солнце яркий блик.  
И эхо гулко отдается.  
    За кругом — круг, за шагом — шаг  
    (Дорожкой, выбитой ногами),  
    В железе тело и душа,  
    И сердце превратилось в камень.  
Какие мысли в бритых лбах?  
Мечты под курткой желто-серой?  
Я знаю, в их сердцах судьба  
Еще не потушила веры.

За шагом — шаг, в кругу тоски,  
В штанах и куртках полосатых.  
Угрюмо сжаты кулаки,  
Как будто близок час расплаты.  
Крутя холеные усы,  
Куря, лениво и уютно  
Седой тюремщик на часы  
Поглядывает поминутно.  
Еще минута и — пора.  
За ними дверь запрут, как прежде.  
И будет завтра, как вчера,  
В томленьи, злобе и надежде.

19.XII.41

---

\* \* \*

---

В зареве бед,  
в грохоте бомб  
Уходит военный  
сорок первый год.  
Слушай, вселенная,  
голос громад:  
Будет разбита  
коричневая чума!  
И память о ней  
с земли сотрем:  
На удар — ударом,  
на огонь — огнем!  
Советскую гордость,  
и волю, и гнев —  
Грозным оружием  
народной войне!  
Пусть знают враги  
и закажут другим:  
Советский народ —  
*непобедим!*

5.X.41

---

\* \* \*

---

*Из Омара Хайама*  
Мне мысль о смерти раздражает печень:  
Пока в артериях струится кровь,  
Я в этом странном мире жил бы вечно,  
Забыв о тишине иных миров.

Верблюды судьбы качаются лениво  
В пустыне дней, в томительных песках.  
Одни лишь миги трепетно красивы,  
Все остальное — пыльная тоска.  
За эти миги я отдал бы вечность,  
И вот теперь, когда уже пора,  
Мне мысль о смерти раздирает печень:  
Моя бы воля — я б не умирал!

42

---

## СЕНТЯБРЬСКИЕ ЯМБЫ

---

«Всегда доволен сам собой...»

*А. Пушкин*

«Доволен обедом своим, и женой»

*А. Блок*

Мне говорят: с годами блекнут грёзы.  
Покончивши с житейской суетой,  
Дожив неторопливо до склероза,  
И ты найдешь незыблемый покой.  
Блюди покой и дедовский обычай,  
Доволен будь обедом и женой,  
Разъевшимся котом под нос мурлыча,  
По вечерам спеши к себе домой.  
Семья, тепло, уютный отблеск лампы...  
Чего еще для счастья твоего?  
Меняй на суррогат камфарных ампул  
Побед и поражений первенство!  
Блюди покой, не думай ни о чём.  
Что ты Икубе, что тебе Икуба?  
Спокойно допивай свой пресный кубок,  
Мурлычь под нос разъевшимся котом!  
Вся жизнь твоя пройдет по расписанью:  
Известно всё, на всё готов рецепт,  
И даже смерть предвидена заране —  
Готово завещанье, вырыт склеп.  
Блюди покой прадедовских привычек,  
Судьбою и собой доволен будь.  
Важны лишь аппетит да безразличие.  
Всё остальное в жизни — как-нибудь!  
С такой судьбы... Я, право, сыт по горло  
Заботой и советами друзей.  
Пусть случай сам, без выкладок и формул  
Заботится о гибели моей.  
С такой судьбы — на выбор смерти в лапы:  
Пожар, веревка, виселица, взрыв —  
Но не по предписанью эскулапа,  
Под шприцем морфия иль камфары!  
Уж если смерть — пускай придет мгновенно,  
В бою, на полпути, в разбеге л е т , —  
И чтоб никто не знал во всей вселенной,  
Куда ушел и где уснул поэт.

Пусть хлещет дождь осенней частой сеткой,  
В последний путь бродягу проводив,  
Пусть листопад, слетая с чёрных веток,  
Последней песнью душу бередит.  
Пусть грусть берез скользит осенней птицей  
С высоких гор в вечерней тишине,  
А я засну. И пусть мне жизнь приснится  
Последний раз, в последнем, вечном сне!..

IX.42

---

---

## ПИРАМИДА

---

---

*Леся Украинка*

«Да славится Озирис и Изиди!  
Да светит вечно солнце над землей!  
Здесь приказал воздвигнуть пирамиду  
Великий властелин Рамзес Второй!»  
...Сгорали дни, и леденели ночи...  
Едва с востока алый диск всходил,  
В палатке просыпался старый Зодчий  
И бич надсмотрщика рабов будил.  
Мы на работу шли шеренгой длинной.  
Опять бичи над спинами взвились.  
Опять гремят подъемные машины,  
За глыбой глыбу поднимая ввысь.  
Скрип, скрежет, молотки каменотесов,  
Крик, стоны, брань сливаются в одно.  
Толпе рабов нагих, голодных, босых  
Погибнуть за работой суждено.  
Нас пожирала зной и лихорадка,  
Мы дрались за глоток воды гнилой.  
Мы отдыхали только лишь украдкой...  
Проклятие тебе, Рамзес Второй!  
Но в мире для всего конец наступит,  
И пирамида — высится горой.  
В песках закопано сто тысяч трупов...  
Проклятие тебе, Рамзес Второй!  
Кто вспомнит имена погибших тысяч?  
Лишь имя фараона на стене.  
Чтоб в память мертвых эту надпись высечь,  
Бежавший раб отдал остаток дней:  
«Века сотрут проклятья и обиды.  
О, Фараон! Вот приговор судьбы —  
Не ты воздвиг в пустыне пирамиду,  
Её воздвигли жалкие рабы!»

X.42



---

\* \* \*

---

«...Когда ты загнан и забит  
людьми, заботой и тоскою...»

«Возмездие»

Нет, не спеши уйти в миры,  
Откуда не найдешь возврата!  
Нет бесполезнее утраты —  
Не кончив, выйти из игры!  
    Едва лишь ты перешагнешь  
    Земные грани и пределы  
    И холодеющее тело  
    Предсмертная обнимет дрожь —  
Тогда спохватишься на миг,  
Вися над пропастью бездонной,  
И пожалеешь (слишком поздно!)  
О непрожитых днях своих.  
    Не верь, что выход — тишина,  
    Не верь, что жизнь проходит мимо:  
    Непоправима смерть одна,  
    Всё остальное — поправимо.  
Терпи надежду и нужду,  
И одиночество и голод.  
В отчаянье, в полубреду —  
Не торопись в загробный холод.  
    Терпи, изверившись во всем,  
    Терпи, устав и обессилив:  
    Что б ни было в мозгу твоём —  
    Всегда успеешь быть в могиле.  
Как смеешь проклинать судьбу,  
Из жизни уходя трусливо?  
И как судьба простит рабу,  
Зарывшему талант счастливый?  
    Пускай изломано в есло, —  
    Плыви! Грядущее — в тумане,  
    Сегодня было тяжело —  
    Быть может, завтра легче станет!

XII.42

---

\* \* \*

---

Я счастье всю жизнь стерегу,  
Гоняюсь за светлой химерой,  
А дни — как следы на снегу:  
И однообразны, и серы...

I.43

---

\* \* \*

---

Но нет, все тот же я! Быть может, суше, строже,  
Не так доверчив и порывист, как с тобой,  
И горечь новая иначе душу гложет,  
Иные призраки терзают мой покой.

Дожив до седины, в золе надежд изверься,  
Познав людей во всей их наготе,  
Я ничего не жду. Мне золотая ересь  
Иллюзий не нужна. Я не слуга мечте.

В болтливой суетне... пусть копошатся люди.  
Мне все равно. На дальнем берегу  
Я вижу всё, что есть. А завтра? Будь что будет!  
Хочу и буду жить. Пока смогу.

Жить... Нет, не радостно мне это время!  
Как часто хочется всё бросить и уснуть!  
Куда идти? Так неприглядна темень,  
И груз тяжел, и бесконечен путь...

Песчинка я, пустыня дней безбрежна.  
О, сколько слез в ней, грязи, горя, лжи!  
Но в мире — ты, и я — всё тот же, прежний,  
И молод, и влюблен, влюблен в тебя и в жизнь.  
Пусть грубо жизнь толкнет. С упрямою досадой,  
Израженный (который раз?!), встаю:  
Мне никого и ничего не надо —  
Одну тебя, далекую мою!

44

---

\* \* \*

---

«The love of the life»

*J. London*

Когда в чужом обветренном краю  
Сто раз в глаза увидишь смерть свою —  
Костлявую, голодную, гнилую —  
Сто раз захочешь жить.

Когда бредешь на ощупь сквозь пургу,  
Уже ничем на свете не волнуем,  
Одна лишь мысль — последняя — в мозгу:  
«Во что бы то ни стало — жить!»

Грызя замерзший, ставший камнем хлеб  
— Последний хлеб, и больше нету пищи! —  
Ты повторяешь вновь, упрямы и слеп:  
«Я буду жить!»

И вновь следы потерянные ищешь,  
Полуживой, в полубреду встаешь,  
Предсмертную осиливаешь дрожь,  
Гонимый словом «жить!»

Из ледяного плена возвратясь,  
Полузабытые целуя губы,

Любимой скажешь: «Я не мог пропасть,  
Я должен был дожить».

Теперь я знаю, дней тропа узка,  
Растоптаны мечты поэта грубо,  
Но тот, чья жизнь спокойна и легка,  
Не знает слова «жить!»

II.45

---

## В АЛЬБОМ

---

Стихом взволнованным и злым  
Покой наивный не нарушу.  
Не обнажу глазам чужим  
Обветренную жизнью душу.  
Пусть другие Вам поют  
Сентиментальные романсы:  
У дней романтику свою  
Давным-давно я взял авансом.

Моим стихам скитаться в дождь,  
В ручьях дробиться звонким спектром,  
В сугробах гибнуть ни за грош,  
Бороться с голодом и ветром.

Не уместится в Ваш альбом  
Роняющая листья осень,  
Сухой таёжный бурелом,  
Бег потревоженного лося.

Альбому — под стеклом лежать,  
Парадно, мирно и понуро.

А я мочил свою тетрадь  
Слепыми брызгами Амура,  
Я видел беды всех мастей,  
Свои стихи, стихи бродяги,  
Писал гвоздем на бересте  
(В тайге не продают бумаги).

Я утром их читал ветрам,  
Беспечно забывал их к ночи:  
Лишь мысль излить, лишь спеть, а там —  
К чему заботиться о прочем?

Но странно: в зарослях глухих  
В мерцанье звёзд, в огнях заката  
Я часто находил стихи,  
Придуманные мной когда-то.

Они искали путь ко мне  
По никому не зримым вехам,  
Как птичьи стаи по весне,  
Как звонкий отголосок эха.

И вновь по миру я бродил,  
Нигде не находя покоя.  
Но кто сказал, что я — один,  
Когда стихи мои со мною?!

46

---

---

## МАЛЬЧОНКА

---

---

Я помню: трясется дорогой телега,  
По ось увязают колеса в грязи,  
А сзади, почти задохнувшись с разбегу,  
Мальчонка торопится: «Дядь! Подвези!»  
Вихрастый и маленький, грязный и тощий...  
Куда тебе лошадь догнать босиком!  
Сейчас обернется веселый извозчик  
И, не торопясь, перетянет кнутом.  
И страх, и надежда в искрящихся глазках:  
А вдруг не ударит! Посадит на воз,  
Даст лошадей править! — Как в мамкиной сказке,  
И страшно и весело, — прямо до слез!..  
...И я, как мальчишка, бегу, спотыкаясь,  
Не раз опоясал безжалостный кнут.  
И боль — и боязнь, и надежда — и зависть:  
Быть может, и вправду с собою возьмут?!

П.3.46

---

---

\* \* \*

---

---

Мы слишком много врем и знаем.  
Кого страшит угрюмый Стикс?  
Мы смело мир ниспровергаем  
Какой-нибудь *idée fixe*.  
    А между тем — уходит время,  
    И дней стремительный каскад  
    Все ниже, ниже по ступеням  
    Разубеждений и утрат.  
До гроба нужно врать и хвастать  
Себе и (главное!) — другим.  
В итоге — гроб, могила, заступ...  
Кого мы жизнью удивим?  
    Чем безнадежней — тем упорней  
    Я не желаю умирать.  
    Я в жизнь пустил такие корни,  
    Каких и смерти не порвать.  
Мне ничего от вас не надо:  
Ни эпитафий, ни венков,  
Я жизнь вложил бессрочным вкладом  
В недвижимость моих стихов.  
    Всё в этой жизни — только средство,  
    Кирпич, который нужен в стих.  
    Поэта звонкое наследство  
    Важнее дел его земных.

---

**П. Н. Демичеву**

---

Глубокоуважаемый Петр Нилович!

За последние годы в советскую литературу вошла среди прочих новиц тематика тюрьмы и лагеря периода культа личности. Она встретила живой интерес в достаточно широких читательских кругах: среди молодежи — потому что сама она знала эту сторону жизни лишь в одностороннем и пристрастном освещении, даже если такое освещение было изустным и принадлежало, скажем, кому-то из репрессированных родных или знакомых. А старшее поколение, испытавшее прямо или косвенно на собственном опыте все прелести так называемой ежовщины и бериевщины, не могло не возрадоваться тому, что теперь не только правда восторжествовала (в плане юридическом и гражданском), но что эта правда находит свое заслуженное место уже и в художественном творчестве.

Эта тематика — вернее, то или иное ее освещение, ее трактовка в художественной, мемуарной, очерковой прозе и в поэзии — служит темой нескончаемых и достаточно жарких дискуссий на самых разнообразных «уровнях» — от солидных и многолюдных редакционных заседаний до узкоприятельских и даже семейных диалогов... Своеобразным мерилем «прогрессивности» или «консерватизма» (более употребительная аттестация: «мракобесия») того или иного печатного органа, цензурной инстанции, даже отдельного работника служит в глазах множества людей (я говорю сейчас о читающей публике и вообще широких кругах интеллигенции — не только в Москве, но и на весьма отдаленной периферии) их отношение именно к данной тематике — вероятно, как к наиболее броскому, «лакмусовому» показателю отрицательных сторон культа личности. Я не боюсь даже утверждать, что для множества людей — во всяком случае, для той части интеллигенции, которая стремится смотреть вперед и хочет быть «в курсе» не только прошлого и настоящего, но и перспектив эволюции нашего общества, — самый факт выхода в свет очередного произведения, хотя бы косвенно касающегося темы «тридцать седьмого» или «сорок восьмого» годов, как это именуется для краткости, равно как всевозможные слухи и сообщения о «непрохождении» какой-то повести, рассказа или романа на данную тему, — служат чуть ли не барометром внутривнутриполитической «конъюнктуры» в стране — со всеми далеко идущими домыслами и прогнозами...

Всё это Вам известно, вероятно, лучше и доскональнее, чем мне. Уверен, что Вы не усматриваете в самом этом явлении чего-либо предосудительного и заведомо порочного: во все времена люди судили и рядили о своем обществе не только на основе официальной информации, но и на базе частных сведений, изустных сообщений о предполагаемых или проектируемых реформах и т. п., и в первую очередь — об отношении официальных инстанций к современным новым веяниям в литературе и искус-

стве. Так было в XVI веке, когда Мишель Монтень писал свои «Опыты», так было во все последующие времена во всех пишущечитающих странах, так оно, вероятно, будет еще довольно долго. Иной вопрос, что питание текущих умонастроений может быть всяким — и полезным, истинно прогрессивным, и бесполезным, и попросту вредным.

Вот об одной такой частности — о материале, который мог бы и должен бы быть полезным, в действительности же нередко оказывается, на мой взгляд, по меньшей мере дезориентирующим, искажающим то широкое, многогранное и неохватное, что именуется правдой ж и з н и, — мне и хотелось высказаться — для начала именно Вам, как человеку, достаточно осведомленному о том, что такое хорошо и что такое плохо.

По-моему, плохо — когда односторонне. Подобно тому как для постижения научной истины необходимо беспристрастное рассмотрение явления с максимально большего количества возможных точек зрения, так и в искусстве любое общественное явление следовало бы анализировать достаточно широко, непредвзято, в различных ракурсах. «Бога нет, это научный факт» — аргумент, высмеянный еще Ильфом и Петровым. Чтобы противопоставить религии, которую создавало человечество в течение тысячелетий, исходя из каких-то, надо полагать, насущных (и прежде всего — нравственных) потребностей, пока оно не стало располагать чем-то более осмысленным и менее оскорбительным для «маленького человека», — мало одного отрицания бога; нужна, видимо, не менее грандиозная (по затратах труда) работа: создание не только новой нравственности, но и методики ее привития человеку, начиная чуть ли не с пеленок. Чтобы противопоставить трагическим сторонам культовой деспотии нечто более прогрессивное и разумное, мало одного крика и брани в адрес Сталина. Борьба с фашизмом не исчерпывается тем, чтобы лишний раз обозвать Гитлера бесноватым, коричневой чумой и т. д.: рождение фашизма и неофашизма в Америке, в ФРГ, в Англии и даже в Израиле — лучшее тому доказательство...

Возвращаясь к моей наболевшей теме, хочу уточнить, что мне лично представляется односторонним и потому дезориентирующим. Приношу извинения за то, что в полемическом задоре наверняка кое-где излишне сгущаю краски.

Суммируя свои впечатления от опубликованной у нас (а частично и неопубликованной, «непрошедшей») литературы на лагерно-тюремную тему советского периода, можно без особой натяжки выделить две-три весьма уязвимые мысли, разделяемые, пожалуй, всеми авторами — будь то художественная проза или чистые мемуары. Позволю себе сформулировать эти — на мой взгляд, неверные — мысли в конспективно-сжатом виде.

1. «Сталин был плохим, и мы все знали это с самого начала, но должны были молчать». Я этому не верю. А если б поверил, то должен бы думать о своем народе намного хуже, чем думаю сейчас. Это, так сказать, косвенная клевета на нас же самих.

2. «Настоящие, советские люди не сдавались, и их нельзя было сломить. Они ничего не подписывали...» и т. д. Всё это — тоже враки. Начать с того, что подобная «настоящность» предполагает, по меньшей мере, чтобы подследственный заведомо считал следователя своим врагом (или наоборот). А если я так не считал — да и сейчас еще не уверен, что обязан так считать? Мой следователь выполнял свой патриотический долг, долг коммуниста. Я так думал тогда, мне трудно и сейчас допустить что-то другое... несмотря на 17 лет, в которые обошлась мне такая вера. Другой вопрос, куда более жгучий: а разве, скажем, на Нюрнбергском процессе гитлеровские палачи не оправдывались своим «партийным» и служебным «долгом»? И хотя аналогия тут недопустима по масштабам и методам, по идеологическим и тысяче других причин, — по нравственным мерилам я все же позволяю себе постановку такого вопроса. Видимо, дело тут непросто и одной «настоящстью» ни черта не доказывается. Командарм Якир был «настоящим» — теперь в этом никто не сомневается. За секунду до расстрела он восклицал: «Да здравствует Сталин, да здравствует партия!» Любопытно бы спросить иного автора, как разрешил бы он вопрос о «настоящести», если б Якиру пришла мысль выкрикнуть в ту минуту не здравицу, а проклятие Сталину... Сам-то автор считает себя вправе заявлять, будто он, автор, в тридцать седьмом-то уж точно знал, какой плохой Сталин. Как же прикажете совместить две такие «настоящести»?

3. Словно сговорившись, чуть ли не все стремятся доказать, будто в лагерях «работяги» трудились «на общих», а интеллигенция ухитрялась просочиться в «придурки», в конторы, в общем — как на воле была, есть и будет вредным наростом на теле народа («прослойкой!»), так и в лагере не изменила своей сущности. Унижение и истребление интеллигенции — в моих глазах, пожалуй, самый тяжкий грех Сталина. Тяжесть этого греха столь велика, что даже такой талантще, как Солженицын, хоть он-то и сам принадлежит к интеллигенции, ничтоже сумняшеся, создает «Ивана Денисовича» — так сказать, гимн честному труженику (на мой вкус, правда, слегка того толка, который мы — опять же по сталинскому неверному наущению! — когда-то аттестовали эпитетом «с кулацким душком...»). А в художественных рамках этого «гимна» выводит, скажем, Цезаря — этаким образчик интеллигентшишки, лизоблюда и подпевалы и т. д.

Мог бы я назвать еще несколько весьма болезненных «типических» однобокостей — ну, скажем, совершенно непонятную мне трактовку так называемых блатных — уголовников... Но от количества аргументов едва ли выиграет убедительность моего письма.

Поэтому всё остальное я изложу по возможности кратко.

Я не писатель, хотя и пишу изредка всякие там статьи по специальности, — я киноработник, звукооператор с музыкальным образованием, полученным за границей в конце двадцатых — начале тридцатых годов. В тридцать седьмом, 23 лет от роду, после

пятилетней счастливой работы на «Мосфильме», попал в тюрьму, потом в лагерь, где познакомился и подружился с таким же «контриком» — Юрием Вейнертом. Мы и там работали отлично (можно, я не буду прилагать всякие приказы, почетные грамоты и прочее?), то есть много и разносторонне, и участвовали в самодеятельности, — но нам всего этого было, видимо, мало. Мы выдумали себе Гийома дю Вентре (перефразировав буквы Юриной фамилии) — «французского поэта эпохи Карла IX и Варфоломеевской резни» — и занялись «переводом» его сонетов, — как вы догадываетесь, отчасти весьма даже крамольных... Эти сонеты мы отправили родным и друзьям — в Москву и Ленинград. Друзья и их друзья восхитились «величием человеческого духа» — не мне судить, правомерно или пристрастно. Полагаю, что им тогда очень нужна была вера в величие духа, и не их вина, что им не подалось более достойных доказательств, чем наши с Юркой вирши...

Отсидев свой «червонец», мы ненадолго попали в Москву, потом еще немного попаслись на свободе, но примерно через год нас пригласили назад и отослали — теперь уже порознь — в Сибирь «на вечное поселение». Вейнерт этого не вынес и ушел из жизни, я оказался более выносливым, что ли. Я реабилитирован при жизни, Юра — посмертно. А сонеты дю Вентре вот уже скоро 20 лет лежат себе в ящике письменного стола. Несмотря на многочисленные уговоры — после XX съезда — предать их гласности, теперь уж гласно и официально. Но Юры уже не было в живых, а у меня и без этих сонетов дел хватает. Я бы к ним вовек и не вернулся, если бы, как сказано, не накопело в душе моей возмущение неправдой — или, во всяком случае, не всей, неполной правдой — о лагере и, в частности и особенности, о роли и поведении нашей интеллигенции в тюрьме и лагере. Этому чувству возмущения я и решил дать волю — в виде своеобразного «прозаического комментария к поэтической биографии, которая могла быть»...

Не стану утверждать, будто мне удалось создать «гимн советской интеллигенции» — не о лаврах тут речь идет! Мне просто необходимо знать, что я что-то сделал для восстановления истины об интеллигентах в тех условиях. Интеллигенция для меня — это Маркс, Энгельс и Ленин. Не случайно Сталин лил помой на интеллигенцию, запрещал и обзывал «буржуазной лженаукой» всё то, что было ему не по интеллекту: кибернетику, математическую логику, генетику да и добрый десяток других — если не разделов науки, то, по меньшей мере, людей, занимавшихся чем-то таким «интеллигентским». Кинематограф, к примеру, он довел до той стадии деградации, которая сейчас — задним числом — именуется «прискорбным периодом малокартинья»...

В общем, если быть честным, то лично для меня полное освобождение настало в тот день и час, когда партия провозгласила необходимость строить общество на научной основе, — то есть на высших достижениях человеческого интеллекта.



Вот, собственно, и всё мое «кредо» — не знаю, мало это или много. Не знаю, достаточно ли ясно оно ощущается в рукописи, которую осмеливаюсь послать Вам с просьбой о ее прочтении. Не знаю, «нужно» или «не нужно» — то есть вредно — нашему обществу сейчас, сегодня подобное кредо и подобная рукопись.

Надо ли подчеркивать, что эта книжка, если ей суждено будет появиться на свет, по предсказанию моей жены, «отвратит от меня многих друзей»... Что ж, значит, кто-то из нас ошибается — либо я, либо друзья, воспитанные на «традиционной» уже литературе о лагере.

Я отдаю себе полный отчет в художественной неполноценности данной работы, прежде всего — ее прозаической части. Это — следствие, во-первых, ограниченности моего художественного дарования, во-вторых, невероятной спешки, в которой она создавалась. В то же время я без лишней скромности полагаю, что с помощью компетентного редактора без особого труда освобожу ее от излишеств, шероховатостей и, возможно, композиционных недостатков: не тот Шекспир, каждое слово которого следовало бы считать святыней, — тут можно перечеркнуть и переписать, если угодно, добрую половину. Если суть, зерно — правильны или по меньшей мере правомерны.

Вот только вопрос: правильно, правомерно ли?

Отдать в редакцию толстого журнала? Но там решат лишь литературную сторону, а идейно-философскую, попросту политическую — всё равно ведь будут согласовывать с вышестоящими партийными организациями. Тем временем рукопись будет «ходить по рукам», — а вот этого-то мне бы очень не хотелось. Сейчас — особенно: лавры «подпольного парадоксалиста» мне, ей-богу, ни к чему. Мне и без того интересно и радостно жить и работать, я не чувствую себя обездоленным.

Простите столь длинное послание. Прочтя рукопись, Вы, возможно, согласитесь, что короче написать было нельзя: в двух словах всего этого не скажешь.

Хочу надеяться, что Вы дадите мне один-единственный ответ и совет: выступать с этой рукописью — или, может статься, уничтожить ее и больше к ней не возвращаться.

С глубоким уважением  
Я. Харон

---

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

---

<i>А. Симонов. Третья биография Гийома дю Вентре</i>	3
ТЕТРАДЬ I. Накануне	26
Глава 1	37
ТЕТРАДЬ II. Набат	65
Глава 2	76
ТЕТРАДЬ III. Дуврские скалы	104
Глава 3	115
ТЕТРАДЬ IV. Четыре слова	141
Глава 4	152
ТЕТРАДЬ V. Здравствуй, мой Париж!	182
Глава 5	193
Комментарий к сонетам	200
Гийом дю Вентре и его сонеты	202
Я. А. Вейнерт. Книга для моих детей.	
Глава из воспоминаний	210
Ю. Вейнерт. Стихи	225
Я. Харон. Письмо П. Н. Демичеву	234

---

Яков Евгеньевич Харон

---

**ЗЛЫЕ ПЕСНИ**

---

**ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ**

---

Прозаический комментарий

---

к поэтической биографии

---

Редактор Э. Б. Кузьмина

Художественный редактор Е. А. Родионова

Технический редактор А. З. Коган

Корректор Э. В. Ежова

ИБ 1865

Сдано в набор 14.11.88. Подписано в печать 06.05.89. А 01566.

Формат 84 X 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. тип. № 2. Гарнитура Тип. Таймс.

Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6+0,11. Усл. кр.-отт. 12,71.

Уч.-изд. л. 13,93+0,05. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4790. Заказ

№ 8—3365. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

## Харон Я. Е.

**X21** Злые песни Гийома дю Вентре: Прозаический комментарий к поэтической биографии. — М.: Книга, 1989. — 240 с., и л. — (Время и судьбы).

Книга эта необычная. В ней два слоя. Автор вспоминает о годах, проведенных в заключении. Но это не просто рассказ о тяготах и лишениях, выпавших на долю несправедливо репрессированных. В труднейших условиях этот разносторонне одаренный человек нашел выход своим творческим силам. Во время войны он стал рационализатором, изобретателем. И — поэтом. Вместе со своим товарищем Ю. Вейнертом он сочинил образ некоего французского поэта XVI века Гийома дю Вентре, современника Варфоломеевской ночи. Сочинили за него сто сонетов Его биографию. Комментарии к сонетам. На фоне реальной судьбы авторов мистификации сонеты вымышленного поэта обретают особую драматичность и глубину.

Для широкого круга читателей.

X 4702010000-059 Без объявл.  
002(01)-89

ББК84Р7